

**ВРЕМЯ  
И МЫ** 129  
1995

**MOSCOW - NEW YORK**



**РИЧАРД ХЭЗЛЕТТ**  
**ПРОЩАНИЕ С ХРИСТИАНСТВОМ**  
*(Исповедь вероотступника)*

# **ВРЕМЯ И МЫ**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ*

**Выходит один раз  
в три месяца**

---

**129  
1995**

**МОСКВА — НЬЮ-ЙОРК**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1995**

# ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

**ЛЕВ АННИНСКИЙ**                    **ГРИГОРИЙ ПОЛЯК**  
**ВАГРИЧ БАХЧАНЫАН**            **ЛЕВ НАВРОЗОВ**  
**ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ**                    **ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН**  
**ДЖОН ГЛЭД**                        **ИЛЬЯ СУСЛОВ**  
**ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ**            **МОРИС ФРИДБЕРГ**  
**ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ**        **ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ**  
**ЕФИМ ПИЩАНСКИЙ**        **ЕФИМ ЭТКИНД** (зам. гл. редактора)  
**ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ**

Главная редакция журнала "Время и мы"  
409 High wood Ave, Leonia,  
New Jersey 07605, USA  
Тел.: (201) 592-61-55  
Факс: (201)592-69-58

Московский центр журнала "Время и мы"  
Заведующий центром Лев Аннинский  
Адрес центра: 117415 Москва,  
ул. Удальцова, 16/19.  
Тел.: 131-62-45

Израильское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующий отделением Ефим Пищанский  
Адрес отдления: Neve-Yakov Reuven  
Gamson Str., 32/3, JERUSALEM, 97350

Французское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующий отделением Ефим Эткинд  
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu,  
92800 PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Берлине  
Manama Shmargon, Shlosstr 30/30  
1000 Berlin 19

OCR и вычитка — Давид Титиевский, октябрь 2011 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |     |
|--|-----|
| ПРОЗА  |     |
| <i>Зиновий ЗИНИК</i>                                       |     |
| Бал-маскарад .....   | 5   |
| <i>Татьяна МУШАТ</i>                                       |     |
| Маленькие рассказы.....                                    | 44  |
| ПОЭЗИЯ   |     |
| <i>Лариса МИЛЛЕР</i>                                       |     |
| Все точки — горячие и болевые.....                         | 81  |
| <i>Альберт ЛЕИН</i>  |     |
| Электрички надежд.....                                     | 87  |
| РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ  |     |
| <i>Лев АННИНСКИЙ</i>                                       |     |
| Меняется твоя таинственная карта.....                      | 93  |
| МОМЕНТ ИСТИНЫ  |     |
| <i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>                                    |     |
| Черные присяжные судят Америку.....                        | 103 |
| ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ — ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ                         |     |
| <i>Иосиф КОСИНСКИЙ</i>                                     |     |
| Что нам несет «С-период».....                              | 120 |
| ЛИТЕРАТУРА, КРИТИКА  |     |
| <i>Андрей ГРИЦМАН</i>                                      |     |
| Иосиф Бродский. Двумикий памятник<br>на фоне заката.....   | 132 |
| ЧЕЛОВЕК И РЕЛИГИЯ  |     |
| <i>Ричард ХЭЗЛЕП</i>                                       |     |
| Прощание с христианством.....                              | 150 |
| ИНТЕРВЬЮ «ВРЕМЯ И МЫ»                                      |     |
| <i>Слава ЦУКЕРМАН</i>                                      |     |
| Кино на пороге третьего тысячелетия.....                   | 171 |
| ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО                                   |     |
| <i>Ефим ЭТКИНД</i>   |     |
| Давно уж ветреная лета.....                                | 187 |
| НАШИ ПУБЛИКАЦИИ  |     |
| <i>Зинаида ГИППИУС</i>                                     |     |
| Contes d'amour.....  | 233 |
| ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»                                      |     |
| Хочу, чтоб мои скульптуры<br>взрастали в пространство..... | 286 |



Зиновий ЗИНИК

## БАЛ-МАСКАРАД

Прибытие в Лондон перед Новым годом бывшей жены Алека совпало с ежегодным балом русской эмиграции в знаменитом «Кафе Рояль» на Пикадилли. Ресторан «Кафе Рояль» назывался кафе лишь по эксцентрической прихоти английского ума — принижать все показное-шикарное до убожества, и заодно поиздеваться над французами: этот гигантский трактир с барами, с отдельными кабинетами и банкетными залами имел такое же отношение к французскому кафе, как российская дума к парламентской демократии. Кроме того, в антураже этого фешенебельного паласа уже давно не было прежней старорежимности: на первых этажах в гриль-зале и брассери не фланировали между столиками хрестоматийно напудренные до мертвенной бледности *femmes fatales* и гротескно напомаженные богемные джентльмены с зеленой гвоздикой в петлице, цитирующие Оскара Уайльда; их вытеснила толпа американских

---

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

туристов в клетчатых штанах и японцев с фотоаппаратами. Но наверху, в Наполеоновском зале, где гремел благотворительный (сбор средств на строительство новой православной церкви близ Лондона) бал «Война и мир», и время и место были как будто вывернуты наизнанку. До звона в барабанных перепонках духовой оркестр валлийских драгун наярывал белоэмигрантские вальсы. Все вокруг напоминало дореволюционную оперу, точнее, оперетку из ресторана «Славянский базар» где-нибудь в Стамбуле, под названием «Побег белых из Крыма». На сияющем паркете, как на пристани перед отбывающим пароходом, под прощальные ритмы вальса толклись, разодетые под дореволюционную эпоху во фраках, мундирах и бальных платьях с декольте и треном, в орденах и лентах, потомки российской катастрофы начала века и их попутчики.

Жертва иных исторических катастроф, Алек, вместе со своей бывшей женой Полиной, отстаивал длинную очередь, как в иностранном посольстве за эмигрантской визой, на поклон к главному распорядителю в парадном белом кителе с золотыми эполетами. Алек искоса наблюдал, как носится деловито по залу его бывшая боевая подруга по эмиграции Лена. Зная, насколько сильна в Лене помесь детского цинизма с наивностью человека, воспитанного вне России, трудно было без улыбки наблюдать, с каким рвением она принимала участие в организации этого белоэмигрантского православно-аристократического бала-маскарада.

В этот вечер она, без сомнения, ощущала себя чуть ли не душой всего этого сборища. Несомненно тут в Алеко говорила зависть обделенного: бывшая жена, бывшая любовница — не записан ли сам Алек в бывшие, но не в бывшем советском, а в буквальном смысле? Помутневшим блоковским взором он оглядел помещение, все еще хранившее имперский стиль: зеркала в стенных проемах и нишах, с позолоченными рамами, и лепные потолки с кариатидами, богемское стекло, канделябры и бордовый плюш обивки на креслах и скамейках, где сгрудились кучками гости, жужжащие роем мух. В зеркалах отражались физиономии, искаженные то ли смехом, то ли усталостью, то ли презрением;

иногда он перехватывал в зеркале взгляд, брошенный на него тайно, по секрету, явно недоумевающий, что тут может делать этот диссидентского вида московский еврей? В то время как в руках дородных мужчин в кирасирских мундирах мелькали лошадиные хлыстики и стеки, а у дам покачивались веера из страусиных перьев, Алек мял в потных руках портативный магнитофон. Было, впрочем, нечто маскарадное, под стать okazji, и в радионаушниках на металлической дужке: он, в результате, напоминал марсианина — экзотическое нервное насекомое со стрекозиными антеннами.

В действительности же, Алек должен был изображать на этом благотворительном бале корреспондента Би-би-си. Дело в том, что кроме аристократических особ и родственников царской фамилии на балу должен был появиться ни больше ни меньше как праправнук Достоевского. Алек представлял собственной персоной русскоязычную лондонскую прессу, которая добивается «эксклюзивного» интервью с праправнуком Достоевского. Поскольку Русская служба Би-би-си отказалась послать Алека на этот бал в качестве официального корреспондента, магнитофон с надписью «Би-би-си» пришлось доставать Полу Павликовскому у своих бутафоров. Наш общий приятель Пол Павликовский, режиссер-документалист, и был инициатором всей этой затеи с появлением потомка великого писателя на белогвардейско-аристократическом балу. Точнее, Пол Павликовский раскопал этого Достоевского в Ленинграде (ныне снова Петербурге), а Лена обеспечила через свои неоправославные связи этот бал-маскарад в качестве съемочной площадки. С тех пор, как Лена стала шастать в Москву (откуда и был привезен ее любовник Сергей) и обратилась в православие, она оказалась незаменимым посредником в переоткрытии Западом кондово-сталинской России на малом экране. («Раньше эти британские телевизионщики, как советские бюрократы, делали вид, что никакого тоталитаризма, кроме татчеризма, на свете вообще не существует, а сейчас начинают разоблачать этот самый тоталитаризм, как будто на свете не было вообще советских диссидентов и Тэтчер», — бурчал Алек.)

Полина же направлялась на бал со своим собственным партийным заданием. Алек не знал, куда девать портативный магнитофон, а Полина мучилась в толпе со свертком. Она везла из Москвы коллекцию вятских игрушек некому барону Фиргофу для передачи в подарок члену императорской фамилии князю Вронскому от группы московских монархистов (передачу эту организовала, естественно, Лена). Этот тяжелый сверток «хрупкой тары» был единственным предметом, явно нарушавшим весь праздничный антураж и атмосферу первого выхода Полины в лондонский свет. Сколько было треволений на этот счет: упаковка, рискованная транспортировка в ручном багаже из Москвы в Лондон, как не потерять, не разбить, не перепутать! Да и сами сборы на бал проходили мучительно, колготно, путано и долго, как перевозка вятских игрушек за границу.

\* \* \*

«Ноги, шея, уши были уже особенно тщательно, побальному вымыты, надушены и напудрены», — цитировал случайно выхваченные страницы Алек, устроившись с «Войной и миром» в кресле, пока Полина примеряла одно за другим платье из кучи бутафорских нарядов: их притащил в мешке Сергей из репетиционных залов своего театра-студии в Нью Кроссе специально по случаю бала-маскарада. «Ты вымыла ноги, шею и уши? Тщательно? Интересно, что они делали с ногами, шеей и ушами по обычным дням — мыли не особенно тщательно или вообще не мыли», — и Алек захлопнул том. Полина была слишком занята примеркой маскарадного платья, чтобы дать отпор профессионального советского литературоведа этим антипатриотическим выпадам. Алек ходил взад и вперед по комнате, нервничая непонятно по какому поводу, но торопил то и дело Полину, считая, что они опоздают.

«А ты сам-то готов?» — спросила Полина, оглядывая его потертый твидовый пиджак. Но Алек ответил, что твидовый пиджак и есть его маскарад: он и так переодет в англичанина, чтобы изображать кого-то еще. Не потому ли, когда они наконец добрались до дверей «Кафе Рояль», швейцар в алой ливрее с галунами и в цилиндре, распахнул дверь

перед Полиной в пелеринке, но проигнорировал Алека: он проскочил за ней в дверь, как проскакивает комнатная собачонка за шлейфом своей хозяйки. Может быть, сравнение с болонкой — некоторое преувеличение, но, болонка или дворняжка, для швейцара Алек явно был не человек, а сопровождающее лицо. В то время как Полина, бывшая жена, еще недавно лишь призрак прошлого из готического романа ужасов эмиграции, оживала на глазах, обретала плоть и кровь, то самое, когда-то заученное Алеком наизусть тело, которое шевелилось под платьем, как трепещущая душа толстовской героини на первом балу.

Всем нам, уже давно взрослым людям, периодически снится кошмарный сон о том, что мы провалили школьный экзамен по какой-нибудь химии или литературе на аттестат зрелости, и нас вот-вот призовут к ответу. Всем тем, кто однажды отбыл на тот свет (где нет России, родных и близких) по ту сторону когда-то непроницаемого Железного занавеса, периодически снится страшный суд, когда тебя призывают к ответу: «А что ты делал все эти годы на свободе, пока мы томились в советском застенке?» Появление Полины в Лондоне было именно этим кошмаром наяву: явно, что экзамена на эмиграцию он не выдержал. Алек без особого труда мог игнорировать скептический взгляд отца, во время его лондонского визита, воспринимая этот отцовский скептицизм как идеологическую предвзятость бывшего партийца или как фатализм родителя в отношении бездарного потомка — Полина была своим человеком, ее взгляд был и взглядом Алека, его собственным взглядом — из московского прошлого на самого себя со стороны в лондонском настоящем. И взгляд этот говорил ему, что он провалился раз и навсегда, бесповоротно, и можно лишь наводить тень на плетень, заговаривать зубы, морочить голову. Про свободу выбора, внутреннюю свободу, относительность того и другого. В присутствии Полины ему, Алеку, как гоголевскому ревизору, хотелось поспешно замазать, замарафетить все недостатки лондонской жизни: от мусора на улицах и бродяг на тротуарах до очередей перед кассами в супермаркетах. Он прокручивал, как заученную наизусть пленку, все курьезы лондонской жизни.

Полина успела по несколько раз выслушать о разнице эля, лагера и стаута. Про то, что евреи не едят мясное с молочным, а у англичан кошерность во-первых по времени (в учрежденческой столовке тебе не дадут пирожное раньше полудня) и, главное, от страха перед смешиванием горячей и холодной воды в одной трубе: краны отдельные, как у евреев посуда. Когда они добрались до Пикадилли, перед входом в «Кафе Рояль», он обратил ее внимание на памятник крылатому Эросу в центре площади и пустился в разъяснения о том, что хотя легендарное Сохо это, конечно, не только порнухи, однако наличие Эроса в центре площади делает неслучайной толпу проституток под сводами и аркадами Пикадилли.

«Только не цитируй мне, умоляю тебя, лондонских путеводителей. Я это все сама изучала», — с обидной фривольностью отмахнулась от его экскурсоводческих попыток Полина. И тут же указала Алеку, что у знаменитого купидона с натянутым луком в руке нет стрелы: лук есть, а стрелы нет. Алек воспринял это как намек на собственную эротическую неполноценность. Бывшая жена. Бывшая любовница. Его Эрос остался без стрел, с пустым колчаном. В ее сердце явно застряла не его стрела. А чья?

Полина действительно в туристских указаниях не нуждалась: она, литературоведка и англофилка, ходила по лондонским маршрутам, как по цитатам из английской классики. Она знала не только дома, пивные, монументы и рестораны, но и деревья в парках, и лавочки в скверах: она помнила какой персонаж из какого переулка пошел на встречу другому персонажу. Для нее это были ожившие слова, встреча с оригиналом, о котором она столько слышала и так много читала, но никогда не видела воочию. Все это так. Но стоило реальной лондонской географии на сантиметр отклониться от хрестоматийного сюжета, и она тут же становилась совершенно беспомощной советской гражданкой. Она приходила в тихое бешенство от электроники автоматов в метро, от этих компьютерных нововведений (она чуть не проехала остановку в метро, потому что не знала, что в некоторых поездах нужно самой нажимать кнопку дверей), где изучение инструкций по пользованию

билетным автоматом в метро напоминало экзамен по роману Джеймса Джойса. В такие моменты Алек становился прежним московским: раздраженным, обучающим, наставляющим, нетерпимым и раздражительным. «Ну куда ты суешь монету?!» — орал он, когда она возилась перед билетным автоматом; остолбеневшая публика отводила глаза. Впрочем, на бал они ехали в такси. По дороге они прихватили Сергея.

В такси пахло декабрьской сыростью и невыветрившимся дымком от сигареты предыдущего пассажира, и от этого ощущения убожества вдвойне блистательным и недоступным казался мир за окном. Они пресекли Темзу по мосту Ватерлоо, откуда видны были и открыточный Биг Бен и св. Павел и вокзал Чаринг Кросс, и все это со специальной подсветкой, как будто здания одели в светящиеся хитоны с геометрическими складками. Как всегда под Рождество, Уэст Энд сиял всеми мыслимыми и немыслимыми елочными огнями. Иллюминация менялась с маниакальной изобретательностью каждый год и от нее все мертвее и мертвее становился свет уличных фонарей. Свет был натуральный: местный совет восстановил вдоль улицы антикварные газовые фонари. Натуральный газовый свет бледнел на фоне неоновой иллюминации.

«Непременно нужен второй свет», — сказал Сергей. Полина оторвалась от гипнотической пляски огней, лиц, витрин за окном такси:

«Вы, Сережа, быстро заразились эмигрантской привычкой разговаривать, обращаясь к самому себе исключительно».

«Я говорю не про эмигрантский тот свет, а про иллюминацию. И про подсветку витрин. Дополнительные огни, второе освещение. Божественное, так сказать. Взгляните на эти витрины, на этих механических кукол-манекенов. Это тоже некое подобие вертепов. Любовь к куклам, к театру, к подсветкам: подражание творцу, богу, божественному свету. Но в конечном счете ощущение вторичности. Это убожество искусственного света, искусственного мира. Английское рождество».

«Вы же, Сережа — театрал. Вы должны обожать все

искусственное». Сергей хмыкнул. Полина улыбалась бессознательно, глядя на сияющий праздник за окном такси, ослепленном снежинками. Такси медленно передвигалось сквозь заторы через Трафальгарскую площадь и Хэймаркет (Гэй-Маркет, как называли его русские путешественники в прошлом веке) к Пикадилли, и везде, как будто в ожидании чуда или визы в вечность, кружила, под фокстрот снежинок, праздничная толпа, глазела на витрины, где высвечивались те самые «живые» механические манекены, глазевшие, в свою очередь, на толпу, и те и другие с праздничными свертками и пакетами, под музыку, вылетающую из дверей кафе и пабов, шопов и бутиков. На перекрестке с Пикадилли эта толпа подсвечивалась карамельными колерами классической рекламы «Кока-Колы». Алек молчал, забившись в угол такси. Они рассуждали про Лондон, про его Лондон, как будто это они, а не он мучился и страдал все эти долгие годы так, что этот город стал ему родным, и у него есть моральное право про этот город рассуждать и жаловаться, но рассуждают и жалуются они, а он отмалчивается. «Сашка, ну а ты, воплощение искусственности, чего ты-то молчишь?» — игриво и запанибратски потрепала Алека по плечу Полина. По старой привычке московско-супружеских лет она называла Алека Сашкой.

«Точно бал устраивается для этих белых негров», — пробормотал задумчиво Алек.

«Бал устраивают не для белых негров, а для белых эмигрантов», — напомнила ему Полина.

«Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в единое стадо? Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? При такой колоссальности замирает голодная душа, смиряется, подчиняется, ищет спасения в джине и развроте и начинает веровать, что так всему тому и следует быть. Факт давит, масса деревенеет и прихватывает китайщины...»

«Секундочку, — Полина потеряла свой литературоведческий лоб рукой в белой бальной перчатке, — послушай: ведь это цитата из Достоевского? Зимние записки о летних впечатлениях или не помню, летние записки о зимних?... В тебе сидит прирожденный постмодернист».

«Post? Modernist? Я модернизацией почты не интересуюсь. Я, вообще, за почтовую цензуру: она формирует эпистолярный стиль. Советские цензоры — были самыми главными читателями моих писем к тебе в Россию. Одних уж нет, а те далеке. Сама Россия тоже, впрочем, исчезла». Он помолчал, чувствуя, как напряглась рука Полины у него на плече: значит упоминание писем подействовало. «А Достоевского я цитирую просто продемонстрировать эту вашу российскую привычку: без году неделя в чужом городе и уже делаете философско-исторические выводы о судьбах другого народа».

Но Алека, в действительности, задело не рассуждения Сергея об искусственности английского Рождества, а та флиртующая задиристость, с которой Полина стала реагировать на всякую белиберду из уст этого переростка. Сергей открыл было рот, но Полина уже забыла про них обоих. Выпрыгнув из такси, она полной грудью вдохнула сырой, декабрьский воздух, но он показался ей не сырым и промозглым, как Алеку, а освежающим и будоражающим, как румяной гимназистке из белоэмигрантского романа, пьяной от мороза, со снежинками, танцующими перед носом, как будто это мотыльки, шныряющие под светом огней иллюминации. У освещенного подъезда, с флагами всех держав и народов, с красным ковром от кромки тротуара, портье-швейцар в ливрее и в цилиндре открывал двери у подъезжавших такси. Поодаль маячил полицейский-бобби в каске с кокардой. Из черных разлапистых такси, как из карет, выходили дамы с перьями в шляпах, в атласе и горностае (в обычные дни меха одевать опасаются: обрызгают краской фанатики из лиги защиты животных), мужчины в мундирах, звездах и лентах. Вокруг толпа любопытных перешептывалась, пытаясь угадать знаменитостей: все были уверены, что снимается фильм про бал-маскарад.

Проскочив сквозь сияющее фойе, Алек с Полиной проплутали среди мраморных лестниц, кабинетов и баров на нескольких этажах в поисках Наполеоновского банкетного зала, и Алек, пытаясь скрыть ощущение собственной некомпетентности и вообще неуместности среди этого мрамора, плюша и позолоты, стал в который раз пересказыва-



вать, что до Наполеона движение во всей Европе, а не только на Альбионе, было левосторонним, поскольку рыцарь должен держать копье в правой руке, то есть защищаясь от встречного рыцаря на поединке, должен двигаться по левой стороне. Он даже показал поршневым движением руки с невидимым копьем, каково пришлось бы рыцарю, если бы он ехал по правой стороне, как сейчас в Европе или России. Наконец они добрались до нужного этажа и правильного поворота коридора, откуда доносился нарастающий гул толпы и уханье духового оркестра. Когда Алек шагнул в залу, он понял, что остался и без рыцарского копья и без амуровой стрелы.

Но Полина не замечала грусти и замешательства Алека. Она еле сдерживалась, чтобы не заскакать от восторга, как маленькая девочка при виде коробки конфет. Про такое она только читала в романах. Она не знала, какая манера и осанка лучше всего подходили бы к этой okazji. Она хотела бы выглядеть элегантно и величественно и всеми силами старалась скрыть собственное возбуждение и одновременно не выглядеть смешной и нелепой, дурой-москвичкой за границей, и это было неправильно, но именно эта неправильность и была той самой манерой, которая наиболее шла к ней. Эти слегка напряженные приподнятые плечи придавали удивительную подростковую обаятельность ее фигуре, из-за которой при других обстоятельствах многие назвали бы ее дылдой стоеросовой (с вымытой шеей). Глаза ее больше всего походили на черные зеркала, и они, в свою очередь, маячили отражениями отовсюду, поскольку Наполеоновский банкетный зал был отделан зеркалами. От этого возникало впечатление, что белогвардейской шушеры раза в четыре больше, чем было на самом деле.

При входе в зал, в предбаннике, их встретила Лена, оглядела их взглядом режиссера-балетмейстера, проверяющего последние штрихи перед выходом на сцену, и Алек еще раз убедился, насколько нелепо было одевать на бал твидовый пиджак. Сама Лена была одета в черную балетную пачку, а под ней велосипедные блестящие колготки-рейтузы «ликра» туго обтягивали ее икры: они разрезали пространство бала вдоль и поперек, как быстро

мелькающие ножницы. За ней, как бы сквозь этот разрезанный Леной театральный занавес выступал, с элегантно-индифферентностью, слегка поддатый Сергей. Лена прокроила своими ногами-ножницами проход сквозь толпу Полине и Алеку, выделив им место в невидимой очереди на поклон к седоватому, с бачками и жидковатым пробормом, человеку в белом с золотом кителе и кавалерийских рейтузах в обтяжку.

\* \* \*

«Charme de vous voir»\*, — сказал этот господин генеральского вида, в ответ на невнятно произнесенные фамилии Полины и Алека. Себя он при этом не назвал, но с благородной выправкой склонил свой торс и жидкий проборм, звякнув при этом шпорами и тряхнув то ли ментиками, то ли лампасами, а может быть, всеми своими галунами и аксельбантами — Алек весьма смутно представлял себе название и предназначение всех причиндалов на его мундире.

«Не пропустите нашу литературную кадрили, — сказал тот напутственно по-английски, — будут показаны любопытнейшие сцены: советский писатель-бюрократ и русский диссидент-эмигрант, разные другие курьезные фигуры современной действительности». Алек хотел заметить, что «литературная кадрили» — это из репертуара совсем иного бала, из совсем другого романа, другого писателя, но потом вспомнил, что эта пародия на толстовский бал устраивается на этот раз отчасти в честь потомка Достоевского, так что сцена из «Бесов» — вполне к месту. Он, впрочем, ничего не сказал, и, отойдя, лишь поинтересовался у Лены:

«А сам он кто, этот генерал?»

«Как кто? Это учредитель-распорядитель бала. Граф Толстой-Тод».

— «Тот? А какой еще Толстой ожидается?»

«Никакой другой не ожидается. Все тот же. Тотт. У него двойная фамилия: Tolstoy-Todd. Но не Лев. — зашептала скороговоркой Лена на ухо Алеку. — Он автор трактата про то, как британские генералы после войны продали хорватов

\* Рад вас видеть.

коммунистам-титовцам, а русских-власовцев — гебистам. британские генералы обвиняют его в очернительности».

«Не очернительности, а очернительстве: чернила, собственно говоря, могут быть и голубыми», — поправил ее эмигрантские неологизмы педант Алек. Шепот Лены услышал Сергей:

«Но хорваты с власовцами союзничали с нацистами! Ты хочешь сказать, что этот Толстой защищает гитлеровцев? С кем ты мне предложила сотрудничать?» (Сергей, как выяснилось, был приглашен в качестве режиссера этой самой «Литературной кадрили».)

«Дело не в том, кого он защищает. Главное в том, что он против коллаборационизма с советской властью», — сказал демонстративно громко Алек. Он хотел ясно дать понять с самого начала (после диалога в такси), по какую сторону баррикад он находится.

Их то и дело разделяли фланирующие группы разряженных гостей, официанты, распорядители.

«Почему если против Сталина, нужно непременно за Гитлера? Вы что, не понимаете, что они, эти власовцы, носили нацистскую форму?» — Сергей запнулся.

«Какой вы, Сережа, формалист!» — с той же, как и в такси, флиртующей иронией заметила Полина. Алек заметил флирт. Сергей не заметил иронии:

«Форма — душа вещей, как сказал Аристотель», — сказал он.

«Насчет униформы: чего это наш граф Толстой сегодня в белом по-кавалерийски, мундире?» — задребезжал голос сбоку. Рядом с Леной оказался пожилой низкорослый джентльмен с бакенбардами и животиком, в черном бальном фраке с фалдами и в бабочке. Бульдожье личико с отвислыми щеками в кружевах лопнувших сосудов и с бородавками могло принадлежать завучу советской школы сталинской эпохи; но, как успела шепнуть всем на ухо Лена, барону Фиргофу принадлежали генетические лаборатории и фабрики фармацевтического оборудования в Швейцарии. Он держал под руку дородную породистую даму в чепце пушкинской няни. Лена назвала ее просто по фамилии, без титула: фон Шнитке. Полина потянула за рукав Алека и затараторила

светским полупшепотом (все почему-то в конце концов переходили на шепот в этом шумном собрании), что это Фиргоф и есть тот барон, кому и предназначались вятские игрушки из свертка в руках Полины.

«Господин барон...» Краснея, Полина, чуть ли не сделав книксен, попробовала заговорить про монархический подарок из Вятки, как только ее представили барону. Но тот был слишком увлечен кавалерийским нарядом графа Толстого-учредителя:

«Толстой, если мне не изменяет память, в артиллерии служил? При чем тут кавалерия?» — спросил барон Фиргоф, развернув пенсне в сторону толстовского белого мундира с эполетами и звездами.

«Это тот, другой Толстой, который Лев, в артиллерии служил», — подсказала Полина.

«Лев? В артиллерии? Кого в царские времена не брали на армейскую службу?» — глупо сострил Сергей.

«Граф Алексис Толстой-Тод — историк. Он разоблачает чужие военные преступления», — сказала Лена громко и отчетливо, как разговаривают с глухими, толкнув при этом Сергея в бок, чтобы тот заткнулся.

«Разоблачает? Военные преступления? — Неясно было, ерничает ли этот барон или действительно не слышал о толстовских хождениях по мукам в связи с власовцами и хорватами. Вот не ожидал от нашего Толстого! Не пацифист ли он, чего доброго? Государь наш, царствие ему небесное, тоже, впрочем, вместо большевиков предпочитал стрелять ворон. Артиллерист-пацифист, в своем роде. Известно, чем кончилось. Как вальдшнепы в этом сезоне?» — сказал он, неожиданно повернувшись к микрофону Алека. Тот опешил:

«Какие вальдшнепы?»

«Так ведь вы, батенька мой, явились на наш бал-маскарад в костюме егеря: в твидовом пиджаке. Вот я и спрашиваю: как в этом сезоне вальдшнепы?» Барон Фиргоф поднял свое бульдожье личико с клочками седых волос из ушей и на залысинах, и поправил слуховой аппарат, как будто это из микрофона Алека доносились звуки. «Что это у вас в руках за берданка такая?»

«Это микрофон. Я корреспондент Би-би-си на этом балу».

«Ворона — это летательная птица?» — спросила Лена.

«Лена, летательным бывает аппарат, а ворона — просто птица», — снова по старой привычке откорректировал ее Алек.

«А вот, кстати и Вронский — птица высокого полета, — и барон подхватил под руку проплывающую мимо чопорную фигуру. — Прошу жаловать. Князь Вронский. Наследник Александра Второго». Им оказался человек затянутый в тройку, с золотистой челкой и неподвижными, как и все в нем, прозрачными, голубыми глазами. Вронский вежливо раскланялся, поворачивая не голову, а все туловище и не сгибаясь.

«Вы помните, как зовут его лошадь?» — Полина готова была прыснуть со смеху. Но барон не понял литературной аллюзии.

«Ты имеешь в виду его гоночную лошадь?» — влезла Лена со своей осведомленностью.

«Уж во всяком случае не летательную, — съязвил Алек.

«Мой молодой друг, князь Вронский не понимает по-русски. Он воспитывался в немецкой Швейцарии, — сказал барон Фиргоф. — Откуда вы знаете, как зовут лошадь Вронского?»

«Фру-Фру, — сказала Полина. — Мы это в школе проходили. По классу кавалерии».

«Что? — он склонился со слуховым аппаратом в сторону Полины. — В советской школе?! Значит не забыла матушка Россия своих престолонаследников». — Полина решила, что как раз тут-то и надо вручить вятские игрушки от российских монархистов, но барон Фиргоф был слишком увлечен своими лошадиными эмоциями. — Кто бы мог, батенька мой, подумать? Не забыли лошадь Вронского! А это что еще за переодетый ковбой? — сказал он, нацепляя очки и пялясь на Сергея в джинсовом костюме. Лена, не моргнув глазом, представила его как своего мужа из Москвы. — Будем бить краснокожих, а? Краснокожих коммунистов, я имею в виду, что-с? Перестройка, пиф-паф, эй? что-с? — Он пожевал губами. — Одеты, нужно сказать, все весьма странно на нынешнем балу, как я

погляжу. — Он подозрительно оглядел белый наряд Полины. — А вы, матушка, с бала — прямо на свадьбу? Или со свадьбы прямо на наш бал?»

«Какая свадьба? — покраснела от замешательства Полина.

«Вы же в свадебном наряде, ну прямо-таки вылитая миссис Хавишэм». Он стал увлеченно пересказывать диккенсовские «Большие ожидания», про мисс Хавишэм, которую бросил жених в ночь свадьбы, и она так и заперлась на всю жизнь в комнате со свадебным тортом наедине, в свадебном платье. Алек почему-то тоже покраснел, встретившись глазами с Полиной. Не по его ли милости, когда он отбыл в эмиграцию, Полина пробыла с десяток лет соломенной вдовой? — Не смущайтесь, моя милая, — продолжал барон. — Еще нелепее выглядели кремлевские супруги в немецких ночных рубашках: их мужья-мародеры навезли их из Берлина, думая, что это бальные платья». И он захохотал тонким визгливым смешком психопатического подростка.

«Свадебный наряд ничем не хуже всякого другого если это бал-маскарад?» — попытался разрядить обстановку Алек. Ему показалось, что у Полины в глазах стояли слезы. Он ошибался: у нее блестели глаза — от возбуждения.

«Но на нашем балу толстовские мотивы», — заметила Алеку дама фон Шнитке, презрительно оглядев твидовый пиджак Алека и джинсовую куртку Сергея. Интересно, вымыла ли она тщательно уши и шею?» — подумал Алек.

«Мотивы, может быть, и толстовские, но Толстой не тот», — сказал Сергей.

«Этот граф Толстой-Тод, он случайно не родственник писательницы Татьяны Толстой?» — спросила Полина.

«Вообще-то было три Толстых в русской истории. И все они видимо знамениты лишь тем, что недавно стали родственниками Татьяны Толстой», — сказал Сергей.

«Полина познакомилась с Татьяной Толстой на международной литературной конференции в Лиссабоне. Она собирается на литературную конференцию в Швейцарию, где тоже ожидается Татьяна Толстая», — сказала Лена барону Фиргофу. Она гордилась своей осведомленностью и новы-

ми российскими связями. «Полина, кстати, из Тургеневых. Ее назвали Полиной в честь Виардо».

«У нас тут тоже литературная конференция: Толстые с Тургеневыми в сборе, не хватает только Достоевского», — сказал Сергей.

Вдруг все зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел праправнук Достоевского. Он был одет во фрак с белоснежной манишкой, и в бородке его, аккуратно причесанной, поблескивала седина. Он шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь поскорей избавиться от этой докучливой светской обязанности. Его вел под руку Пол Павликовский. Достоевский прошел в небольшую комнату, вроде театральной уборной при банкетном зале, толпа хлынула к дверям. Несколько персон с изменившимся выражением на лице поспешно прошли туда, потом оттуда, и снова назад, и наконец вбок. Какой-то молодой человек, видимо помреж Павликовского, с растерянным видом наступал на дам, прося их отойти в сторону. Некоторые дамы с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, портя свои туалеты, теснились вперед. Алека оттеснили назад, и в одно мгновение все они, стоявшие кругом, до этого момента как будто сцепившиеся в странной невыговоренной ссоре, оказались разбросанными по разным концам зала.

«Это какое-то издевательство над русским народом», — брюзжал Алек в ухо оказавшейся рядом Полине. Мимо сновали официанты-батлеры, лавируя в толпе с подносами, уставленными искристым (вместо шампанского) сухим вином, соком и минералкой в качестве аперитива. Алек явно увлекся аперитивами, и, не глядя, поглощал уже чуть ли не десятый стакан искристого. Под издевательством над русским народом Алек имел в виду не сам бал-маскарад, с матронами, переодетыми во фрейлин, и эмигрантскими барышнями, переодетыми в гусаров, а в связи с появлением на этом аристократическом балу праправнука Достоевского. Алеку было совершенно очевидно, что этого потомка великого писателя телевизионщик Пол Павликовский использует

для создания очередной кино-клеветы на русский народ. Павликовский причислял свой будущий фильм к жанру параболы. «Парабола про праправнука — это даже невозможно выговорить. Откуда Павликовский его выкопал? Где он вообще выкапывает этих омерзительных типов?»

(Алек подозревал, что Пол пригласил именно его, Алека, на этот бал-маскарад неслучайно. Пол, англичанин из поляков и, само собой, католик, не мог не быть русофобом, но, как всякий британец и либерал по убеждениям, он бессознательно подавлял свои инстинкты декларативным русофильством. Поскольку Алек, по всем английским понятиям, был не московским интеллигентом, а просто-напросто российским евреем, со всеми вытекающими отсюда интригующими духовными противоречиями, Пол в общении с ним чувствовал себя свободно: он полагал, что в вопросах всей этой русофобии и фунгофилии он с Алеком — два сапога пара в одной грибной корзинке. Он глубоко ошибался. Как у всякого эмигранта, его, Алека, личное прошлое за продырявленным железным занавесом разрослось, в ходе эмигрантских споров, до географии всей страны, и поэтому, наоборот, когда речь заходила о России и русском народе, все события государственного или общенационального масштаба Алек воспринимал сугубо лично, на свой счет; вместе с резидентами Пале-Рояля он без зазрения совести готов был повторить: «La Russie, se moi!» Этим, впрочем, и ограничивалось, насколько я могу судить, сходство не только с французскими королями, но и между Алеком и Достоевским.)

«Хорошего же ты мнения о русском народе, если считаешь этого праправнука его, народа, олицетворением», — сказала Полина.

Как им тут же сообщила Лена, на этого праправнука Павликовский вышел через общество немецких теток-антропософок, поклонников «руссише фольк» и великой совести русского народа. Потомок великого писателя был водителем трамвая в Ленинграде. По сведениям Лены, в Ленинграде ходили слухи, что он вообще не праправнук Достоевского, потому что отец от него отрекся, заявив, что ребенок не от него, но теток-антропософок интересовало

не тело, а дух Достоевского. Потомок читал им лекции о предке, точнее, о его духе. Он их читал, но не писал: он нарезал их и склеивал по секрету, заперевшись в сортире, из разных трудов о Достоевском по-немецки. На вырученные деньги он надеялся купить себе Мерседес. «Как всякий водитель общественного трамвая, он всю жизнь мечтал о личном Мерседесе. Поношенном, конечно, Мерседесе», — добавила Лена. Мерседесы у нее были, конечно, «поношенные», а лошади, естественно, «гоночными». Денег, вырученных за лекции, естественно, не хватало даже на совсем «поношенный» Мерседес или любую другую, «беговую», по словам Лены, машину. Тут-то на него и вышел Пол Павликовский. Он предложил ему главную роль в фильме про него, потомка Достоевского, передвигающегося по европейскому маршруту своего предка. От казино Баден-Бадена до борделей Лондона. На бал-маскарад «Война и мир» потомок великого писателя прибыл, согласно плану Пола Павликовского, для встречи с членом царской фамилии, наследником престола, побочной, впрочем, линии. За все это праправнук должен был получить достаточно денег, чтобы осуществить свою мечту о Мерседесе. Все эти «случайные» встречи подстраивал Пол — с ведома или без ведома самого праправнука.

«Если вокруг этого праправнука такой шурум-бурум, если такое количество идиотов с таким благоговением внимает этому водителю трамвая, еще неясно, над кем твой Пол Павликовский издевается, — сказала Полина. — Я только не понимаю, куда мне девать эти вятские сувениры. Уже полвечера прошло, а я никак не могу подойти к вашему барону Фиргофу».

«Почему это нашему? — возмутился Алек. — Он такой же ваш, как и наш. Смотри, сколько вокруг него увивается совков». И действительно, барон стоял поодаль с Леной и фон Шнитке, окруженный кучкой посольских, а при них — советские бизнесмены, а кроме того — нынешние или бывшие супруги обоого пола, попавшие в Англию в результате брака, но в душе оставшиеся соломенными вдовами российского государства. «Сейчас как раз наоборот: именно перестроечные большевики и подались в монархисты. И

вятские эти игрушки — тому доказательство. Так что барон этот — скорее твой, чем мой».

«Мой?! Он от меня шарахается при этом как от чекистки из Совдепии», — сказала Полина.

«Глупости. Он просто увлечен другими собеседниками, — возразил Алек. Неужели ты не чувствуешь в нем то самое потерянное колено русской интеллигенции, то самое бунинское, кузьминское, все запрещенное, вычеркнутое из советских книг по истории? И сейчас ты можешь восстановить все эти цензурные купюры, познакомившись с бароном. С помощью этих вот вятских игрушек». Алек неожиданно почувствовал себя лично ответственным за трагические катаклизмы русской истории. Собственно, если бы не эти монархические подарки из России, его бы на выстрел не подпустили к этим князьям и баронам.

«Ну вот и дари эти подарки, если ты так переживаешь. А мне танцевать хочется. Я больше к этому барону со своим кувшинным рылом соваться не собираюсь. Пропади они пропадом эти вятские-блядские сувениры», — неожиданно выругалась Полина чисто по-московски, и сунув Алеку сверток, присоединилась к толпе. Магнитофон, микрофон, и вот, ко всему прочему, сверток с сувенирами — Алек стоял, как дед-мороз, перепутавший адрес новогодней елки.

«Вы думаете, милочка, мы дома себе мебелью обставляли, как нынешнее поколение? Нет, мой друг, — зажав Лену в угол у зеркальной ниши втолковывала ей мадам фон Шнитке в чепце. Алек стоял к ним спиной и голос фон Шнитке как будто теребил ему затылок. — Не успели мы сгрузить чемоданы на пристани в Маракеше, как сразу взялись за сооружение церкви. Денег нет. Рабочих рук нет. Вы думаете, мой друг, это нас остановило? Ни в коем разе: женщины, дети и старики, все кто мог, натаскали деревянных ящиков из-под пива вместо кирпичей, вот тебе и стены, вот тебе и купол: в два дня уже служили обедню. Вот какой породы русская эмиграция в Марокко, душа моя, и никакой мороки. Барон подтвердит. Не так ли, Фиргоф?» Алек проследил из-за плеча за направлением ее голоса, и заметил барона поодаль. Тот говорил, нетерпеливо постукивая в ритм собственной речи тростью.

«Как говорил покойный философ Смердяев, наш соотечественник, царство ему небесное, коню первое дело надо поддать овса, а русскому народу — православную церковь. Вот и вся тут кавалерия, с лошастью Вронского, да-с. Иначе не можем, да-с, что-с?» — и барон Фиргоф поправлял слуховой аппарат у виска. Но Лена ничего не сказала. Она слушала барона, сооротив проникновенную физиономию. Было нечто елейное, как у всех новообращенных, в ее приподнятых бровях и раскрытых, в готовности удивляться, губах. Лестно, когда с тобой делятся историческим опытом отцы России, попечители русской общины, столпы первой, белой, послереволюционной эмиграции. Так, по крайней мере, ей казалось. «А этот-то, толстый, в очках, что это за фармазон всемирный? — спросил Лену громко барон Фиргоф, снова поправляя свой слуховой аппарат, как будто прочищая ухо. Как всякий глухой, он полагал, что его никто не слышит. — Вот тот, в поддельном твиде», — вращал глазами, барон, сдерживаясь, чтобы не указать на Алека пальцем. Щеки Алека вспыхнули и он отошел за колонну.

Кто такой, собственно, этот барон? Владелец фармацевтики в Швейцарии? Дед Алека тоже занимался фармацевтикой; точнее, дед был просто-напросто аптекарем, но суть все та же. И тем не менее, Алек чувствовал себя марокканским бедуином в пустыне, чего там бедуином — первостатейным иудейским верблюдом чувствовал себя Алек в этой зале. До этого он пробовал циркулировать среди толпы, фланирующей вокруг оркестра между баром и накрытыми (для торжественного ужина) столиками. Он пробирался сквозь круговорот плеч и затылков, раскланиваясь заранее налево и направо, как провинциальный губернатор на базаре, потому что лица вокруг были полужнакомые — он уже сталкивался с ними на своих эмигрантских маршрутах между Русской службой Би-би-си, заседаниями в Пушкинском клубе, на премьерных и вернисажах российских гастролеров. Но он не знал, куда приткнуться, с кем и где, в каком кружке задержаться, пробовал кивать головой в подходящих местах чужого разговора и подхихикивать, когда того ожидалось, но на эти гримасы никто не обращал внимания.

В конце концов он приостановил кружение, прислонясь, как форменный Чацкий, к колонне, наблюдая из угла с презрительным прищуром (на самом деле от близорукости) за всей этой толкучкой парвеню и нуворишей, нескладных умников, лукавых простаков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над современным вздором. Неужели никто из этой толпы не догадывается, как ему хотелось бы, чтобы его обняли, представили, обласкали. Он мог бы стать замечательным собеседником, другом, советчиком.

«Правда как весело?» — сказала Лена, столкнувшись с Алеком. Тот рассеянно улыбнулся, явно не понимая, чего она его спрашивает.

«Да, я очень рад», — сказал он угрюмо. Поперек его лба шла широкая складка; он не понимал, откуда она взялась, как будто он впервые ее заметил: он смотрел на себя в зеркало и не видел целиком своего лица из-за отблеска слепящих огней в очках.

«Почему ты ни с кем не общаешься. Тут масса интереснейших личностей», — сказала Лена.

«А почему со мной никто не общается? — спросил Алек. Даже если я и сделаю, как ты меня призываешь, первый шаг к общению, и на этот шаг кто-нибудь откликнется, то откликнется не потому, что изначально хотел сделать шаг мне навстречу, а ради сердобольной вежливости: потому что я сам поставил этого человека в неудобное положение своим первым шагом». И демонстративным жестом он сдвинул магнитофонные наушники с затылка на уши: чтобы не слышать ни единого звука. Лена хотела что-то сказать, но так и осталась стоять с открытым ртом. В этот момент перед ними возник из толпы Пол Павликовский. При нем, как оруженосец, неизменно крутился подручный оператор с кинокамерой через плечо:

«Вам не нужно делать шаг, Вам нужно делать звук», — сказал Пол Павликовский Алеку на своем восточно-европейском русском, и пояснил, что пригласили Алека сюда не как кинозвезду, а в качестве корреспондента Би-би-си: он должен интервьюировать (или, по крайней мере, делать вид, что интервьюирует) потомка Достоевского. Алек должен, короче, не маячить у стены в гордом одиночестве, а

создавать видимость общественного напора вокруг потомка великого писателя. Алек послушно достал микрофон. Павликовский взял его под локоть и повел к гигантскому овальному столу в центре обеденной части зала. На одном из концов стола Алек заметил потомка все того же «не того» графа Толстого, а на другом — потомка «того самого» Достоевского.

\* \* \*

Ужин подходил к концу и духовой оркестр валлийских драгун вновь всей своей медью выталкивал участников бала из-за столиков к танцу. От всеобщего гвалта и выпивки глаза участников этого благотворительного шабаша становились плоскими, как затертые разговорные клише у них на устах. Дым стоял коромыслом. Нет, не так: кольца сигарного дыма сложились плотно, как сельди в бочке. Ужин стоял колом в горле. Кое-кто из гостей уже решил заворачивать оглобли и поэтому кучки народа шастали между столиками, вешалкой в фойе и вальсирующими парочками. Во всем этом было нечто вокзальное. Перед оркестровой эстрадой на затоптанном паркете отплясывали польку с котильонами вперемежку с гопаком вприсядку (казалось, вот-вот лопнут гусарские рейтузы на задах) нетрезвые пары всех эмигрантских возрастов. Дребезжащий голосок барона Фиргофа пытался прорваться сквозь медные трубы валлийских драгун. Потомок Достоевского молча доливал в его бокал, не спрашивая, кларет.

«Поднимем тост за наших, так сказать, волхвов-добровольцев из далекой восточной страны Россия, — тянулся с бокалом барон к Алеку и Полине, — и за их экзотические дары в честь той эпохальной ночи, когда свет кремлевских звезд на нашей многострадальной родине наконец-то сменился светом рождественской звезды». Алек с Полиной в конце концов умудрились всучить барону российские сувениры, и весь ужин барон Фиргоф пытался докопаться, кто они и откуда, но в конце концов стал называть их волхвами. Алек попробовал было возразить: насчет того, что он, мол, британец по паспорту и лондонский, можно сказать, старожил по месту жительства, но его не слушали. Вятские

игрушки, человеческие фигуры из раскрашенной глины, валялись перед носом у барона Фиргофа на столе — как застывшие трупы посреди поля брани, как деревенские кулаки, расстрелянные большевиками — меж костей и мусора обеденного стола. Хотя ужин уже давно кончился, остатки блюд и грязные тарелки все еще были разбросаны на столах, заляпанных вином и пятнами соуса, где остаток торта или огрызок мяса украшался воткнутым окурком. Потомок Федора Михайловича пил водку и скромно молчал, ковыряя вилкой подсохший плод киви.

«Пьете, батюшка, и не закусываете? Ваш прапрадед, должна вам, милейший, сказать, тоже был привередлив насчет ресторанного сервиса, — перешибая валлийских драгун своим напористым баском, тянулась через стол к Достоевскому фон Шнитке. — Помню со слов моей прабабки, слышавшей, в свою очередь эту историю от вдовы Федора Михайловича, Анны Григорьевны, в девичестве Сниткиной, как однажды, в одной германской таверне, за столиком под дубом, в большую кружку с пивом Федора Михайловича свалилась веточка, а с нею громадный черный жук. Федор Михайлович был, как известно, брезглив и из кружки с жуком пить не стал, а отдал ее кельнеру, чтоб тот другую принес. Когда тот ушел, Федора Михайловича стали одолевать сомнения: как же это не догадался потребовать сначала новую кружку, а теперь, пожалуй, кельнер своими грязными пальцами вытащит оттуда жука, а все ту же кружку принесет обратно! Является кельнер с новой кружкой, а Федор Михайлович спрашивает подозрительно: а с той кружкой что сделали? вылили? Кельнер даже опешил: как вылил?! Я ее выпил! — и по его довольному виду ясно было, что тот не упустил случая лишний раз хватануть пивца задарма. Однако Федор Михайлович из этой новой кружки все равно пить не стал: немцы врут не хуже русских».

«Значит кельнеру досталось две кружки бесплатно? — выслушав внимательно историю про Достоевского, спросил его потомок. — Вообще здесь народ иначе пьет, чем у нас. Говорили мне, например, что ночью по субботам полмиллиона работников и работниц, с их детьми, разливаются как море по всему городу, группируясь в иных кварталах, и

всю ночь до пяти часов празднуют шабаш, то есть наедаются и напиваются, скоты, за всю неделю».

«Бред какой-то», — пробурчала фон Шнитке как бы себе под нос, но чтобы все слышали.

«Голодная душа смиряется, подчиняется, ищет спасения в джине и разврате... В Гей-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей, — как будто не слыша фон Шнитке, меланхолически продолжал потомок Достоевского. — Маленькие девочки, лет по двенадцати, хватают вас за руку и просят, чтобы вы шли с ними. Вообще предметы игривые... Факт давит, масса деревенеет и прихватывает китайщины».

«Это вы про китайские рестораны? Я эту этническую требуху, дружочек мой, на дух не выношу. И прапрадед ваш, тоже был человек привередливый в кулинарных вопросах. Помню, прабабка моя рассказывала, со слов вдовы покойного, как Федору Михайловичу жук однажды свалился с дуба в пивную кружку», — начала было увлеченно фон Шнитке.

«Вместе с веточкой, ну да? Вы это, матушка, уже один раз рассказывали. И даже уже не один раз», — прервал барон свою компаньонку.

«Насчет того, что народ прихватывает китайщины: ведь это цитата из Достоевского», — сказал Алек, выставив микрофон, как берданку, наперевес под нос потомку великого писателя.

(«Чего это ты, Сашка, придираешься? Ты же сам в такси то же самое цитировал?» — зашептала ему на ухо Полина. Алек процедил ей в ответ:

«Дело не в самой цитате, а кто и где ее цитирует. Я цитировал как лондонец, иронизируя над Достоевским, а он цитирует Достоевского, чтобы иронизировать надо мной».

«Ты все время разыгрываешь из себя Тургенева, но своей мнительностью больше всего напоминаешь именно Достоевского за рубежом», — сказала Полина.)

«А чего новые слова-то придумывать, когда старые хороши? — пожал плечами потомок Достоевского в ответ на обвинение в плагиате. — Я всегда поношенные туфли предпочитаю, они не жмут».

«Поношенные туфли, поношенный мерседес, поношенные мысли», — почти пропел под нос самому себе Сергей.

«Поношенные туфли — они уже форму твоей ноги обрели, а от новых только мозоли да шишки на мозгах», — продолжил свою мысль Достоевский.

«Форма ног может быть и своя, но туфли-то чужие, и шишки на не своих мозгах», — сказал Алек.

«Может быть. Это однако ж, не чьи-нибудь слова, а самого Федора Михайловича. Опять же прапрадед мой, то есть семейная собственность, не у чужих же краду».

«Нога своя, и туфля не чужая. Пожалуй. Но туфля не на ту ногу. Говорят, ваш отец собирался от вас отречься?» — не удержался и неожиданно для самого себя брякнул Алек. В этот момент оркестр прекратил свое рыканье и уханье, и шарканье ног по паркету слышалось несколько мгновений, как шипенье по инерции доигранной старой пластинки. Но и эти звуки стихли вместе со случайными обрывками смеха; лишь тут и там слышалось позвякивание вилок с ножами и тарелок в руках официантов — звуки эти лишь подчеркивали возникшую паузу. Хотя длилась эта пауза всего несколько мгновений, Алек успел почувствовать на себе взгляды всего стола, точнее, когда глаза всех окружающих становятся единым взглядом: ощущение, знакомое всякому, кто хоть раз оказывался один на один с враждебной шоблой. Впрочем, барон Фиргоф тут же спрятал свои колючие глазки в куче вятских игрушек: он продолжал вынимать их из картонной коробки, где они были завернуты в газету и переложены ватой с соломой, и расставлял их полукругом перед собой, как почетный караул. Это была советская версия фольклорного китча: раскрашенный тракторист в фуражке, доярка с ведрами, красноармеец на коне. Они стояли в куче бумаги и соломы, превратив стол в подобие конюшни.

«Главное, это поддать коню овса», — повторил барон, поцокав ногтем по глиняной морде раскрашенной лошади.

«А вы откуда про моего папашу знаете?» — повернул к Алеку свой немигающий взгляд потомок Достоевского. И потом, не моргнув: «Папаша мою мать считал блядью. И перед смертью стал утверждать, что ребенок — то есть я —



не от него. Но я заставил его сделать анализ крови. Чтоб потом не распускали слухов, что я не из Достоевских».

«У пасынка Федора Михайловича, как говорила моя прабабка со слов Сниткиной, тоже были непростые отношения с отчимом», — сказала фон Шнитке. — Однажды, отправляя Федор Михалыча на поезде из Петербурга в Москву, зашли попрощаться в вагон, а пасынок ему и говорит на весь коридор громким голосом: «Вы, говорит, папаша, не вздумайте на верхнюю полку забираться, а то хватит вас падучая, с полки сверзитесь, потом костей ваших не соберешь!»

«Я не пасынок. Я родной праправнук», — кашлянул в кулак потомок Достоевского.

«Но это значит: вы сын своего отца, — пробормотал Алек разочарованно. И заметив непонимающий взгляд Достоевского, сказал: «Ведь была же возможность отказаться. Увильнуть, так сказать, от судьбы».

«В каком смысле?» — Достоевский-младший произнес эту ничего не значащую фразу так, что прозвучала она действительно как вопрос. В каком смысле? Его брови приподнялись по-детски и под взглядом, как будто выглаженным советским утюгом, неожиданно промелькнуло искреннее любопытство: вместо абсурдной белиберды между этими двумя людьми вдруг действительно возникло подобие некоего истинного диалога. Алек еще раз глянул на Достоевского исподлобья:

«Ко мне в прошлом году приезжал отец, — осторожно начал он. — И я впервые заметил — нет, открыл в себе те ужасные черты, которые я сам в себе до этого не замечал. Это как зеркало, где видишь только все свои недостатки. Ты как бы в собственном предке, в собственном прошлом прочитываешь свое будущее. И все его поступки, вся эта грязь и бред его жизни, его измены, его бесконечные жены и любовницы, все это — со мной и во мне. От этого никуда не денешься. Это и значит быть сыном своего отца. Понимаете? А у вас была возможность от отца увильнуть, уйти от судьбы».

«В Петербурге проспекты прямые, как трамвайные рельсы», — сказал Достоевский, подняв на Алека тяжелый

взгляд. — С рельс не свернешь. От судьбы не уйдешь. Говорю это вам как водитель трамвая в Петербурге».

«В Ленинграде, а не в Петербурге, — сказал Сергей. — Давайте не будем делать вид, что советской власти никогда на свете не было».

«Достоевский вообще родился не в Ленинграде и не в Петербурге, — вмешался Алек. — Достоевский родился в Москве. Там же, где и я. В Марьиной роще. Знаете: и вещи тещи в Марьиной роще». Они не знали. Он принялся было разъяснять про уголовный фольклор Марьиной рощи. Про театр Советской Армии с его колоннами размером в дом, и то, что все здание сверху гляделось, как пятиконечная звезда, и какое это было идеальное место — лабиринт гигантских колонн — для сведения счетов между уличными бандами, и как убивали коньками ударом в живот на катке в соседнем парке. Чем больше он говорил, тем больше понимал неуместность своих слов. Оркестр валлийских драгун глушил его слова эмигрантским танго «Здесь под небом чужим». Застывшие, перекошенные лица с белоснежными салфетками, в нелепых нарядах — весь Наполеоновский зал предстал перед ним как банда подростков, загнавших его в угол между колонн нелепого советского здания-монстра, монументального кошмара детских лет. «А через дорогу был дом-музей Достоевского. Напротив него — вендиспансер. В те годы советская власть совершенно не скрывала наличие венерических заболеваний. После войны вообще было много случайных связей».

«Как у вашего папаши?» — спросил Достоевский.

«Или у вашей мамыши», — кивнул Алек.

«Не знаю как насчет судьбы, фортуны и тому подобной греческой физкультуры, — переставляя вятские игрушки на скатерти барон Фиргоф, — но спешу вас заверить, что жеребенок, рожденный у кобылы после случки с воронным конем, может походить на коня в яблоках от предыдущей случки. Тот же феномен, между прочим, и на крысах проверен. Говорю вам как фармацевт», — засопел барон Фиргоф профессиональной одышкой: возражений на этот счет он явно выслушивать не собирался.

«Вы хотите сказать, барон, что гены одной мужской

особи как бы фотографируются женской маткой и передаются ребенку от совсем другой мужской особи? То есть, ребенок от второго мужа может походить на первого супруга?» — спросил Алек.

«Почему обязательно супруга? Почему не любовника? Интересно, не действует ли этот закон в обратном направлении?» — спросила Лена.

«В каком обратном?» — переспросил Алек.

«Муж и жена с годами становятся похожи друг на друга. То есть гены отпечатываются друг в друге через утробу. Не значит ли это, что два любовника одной и той же женщины тоже в конце концов становятся двойняшками?» — сказала Лена.

«Двойниками», — поправил ее Алек автоматически. Хотя «двойняшки» тоже своего рода концепция: два любовника одной и той же женщины — у нее в утробе одновременно. Алека заметил, как голова Полины вздрогнула и склонилась, как бы вслушиваясь в едва различимое эхо, точнее намек на мысль, существенную, но еще неосознанную.

«Как мне надоел этот генетический марксизм!» — сказала она.

«Вы предпочитаете генетический царизм?» — сказал Сергей. Он, как отметил про себя Алек, не упускал случая сказать что-нибудь Полине супротив. Барон Фиргоф ожил:

«Возьмем князя Вронского. Наследник Александра Второго. Он, конечно, младшая ветвь. Он, может быть, не прямой Романов, но ведь кровь Романова? — Князь Вронский снова повернул свой аполлонов профиль в сторону Достоевского, как будто демонстрируя, что он хоть и младшая ветвь, но кровь Романова. — Он готов принять престол. Это, князь, вятские игрушки от твоих сторонников-монархистов в новой России, — сообщил он Вронскому и стал объяснять по-немецки, как ребенку, что Вятка находится ближе к Уралу, а на Урале много драгоценных металлов и камней, и все это будет под его, Вронского, императорским началом, когда он взойдет на престол. «Коню, первое дело надо подать овса, а русскому народу — подавай царя на белом коне».

«На лошади по имени Фру-Фру», — сказал Полина. Она была явно нетрезва.

«В нашей истории русской монархии были случаи, когда народ сам решал, кого посадить на трон, — сказал Достоевский. — Я народ».

«Вы не народ, — сказал Сергей. — Вы водитель трамвая. То есть руководитель».

«Ну, кого посадить на трон решал, положим, не народ, а бояре», — пресек барон популистские тенденции будущего царского правительства.

«Решали, кого посадить. Вот чего все всегда решали в русской истории», — вставил Алек.

«А вы чего тут решали? На своем Альбионе?» — снова глянул на него из-под сонных век Достоевский.

«Что до меня, то я сижу вот уже пятнадцатый год в Люишэме, на юге Лондона», — с расстановкой ответил Алек. — И когда прошлым годом наш райсовет решал, ставить ли на главной улице мусорные урны, то я почувствовал, что этот люишэмский вопрос милее моему сердцу всех проблем моего далекого отечества... за все время так называемых реформ».

«Не знаю, батенька, насчет судьбы мусора на Альбионе, но если б не российские реформы, семейство великого писателя не встретилось бы сегодня с семейством государя императора. — Барон соединил руки Достоевского и Вронского за столом. — Ваши предки были друзьями, а теперь друзья и вы. В одном, так сказать, историческом романе».

«Интересные они были друзья, — хмыкнул Алек. Ваш предок, — сказал он, повернувшись к князю Вронскому, — как известно приговорил вашего предка, — и он повернулся к праправнуку Достоевского, — к смертной казни. Через повешенье».

«Но ведь приговор, мои милые, не был приведен в исполнение. Это была гражданская казнь. И с тех пор они были друзьями», — сказал барон, подымая бокал с шампанским.

«Федор Михайлович, между прочим, на эшафоте пришел в состояние необыкновенной восторженности. Вспоминал «Последний День Осужденного на Смерть», сочинение

Виктора Гюго», — сообщила громогласно фон Шнитке, до этого, вроде бы задремавшая. «Подошел, говорят, к Спешневу и сказал: «*Nous serons avec le Christ\**». Я эту замечательную историю знаю со слов моей прабабки...»

«... которая слышала ее от Анны Григорьевны, вдовы Федора Михайловича, в девичестве Сниткиной», — сказала Полина.

«*Aves le Christ*, — повторил барон. — Мда-с. это у нас знаете, как коню овса».

«Ваша прабабка, наверное, не помнит, — повернулась Полина к фон Шнитке, — что Спешнев сказал Федору Михайловичу в ответ». Все за столом повернулись к Полине. «Спешнев ему ответил: *Aves Crist — un peu de poussiere*».

«С Христом — пригорошню пепла», — машинально перевел с французского барон, подняв удивленно брови. «Этой какой такой Спешнев? Не генерал ли Спешнев?»

«У молодого Достоевского, по словам моей прабабки, всегда были проблемы с генералами, — сказала фон Шнитке. — Однажды он одного генерала вызвал на дуэль. Тот, пожилой человек, с ним чуть ли не инфаркт, готовился стреляться целую неделю, а накануне дуэли Достоевский является к нему и говорит: извините, я передумал». Все ждали продолжения истории, но ее не последовало. Барон Фиргоф сказал:

«Мой предок, генерал Епанчин попал, между прочим, в роман Достоевского «Идиот». — Барон пожевал грустно губами. — Не слишком лестный для генерала адресок, мда-с».

«Спешнев попал в другой роман», — сказала Полина академическим тоном. — Он стал прототипом того самого Свидригайлова, который говорит городовому, перед тем, как пустить себе пулю в лоб: «Так всем передайте: в Америку уехал».

«Вы через Израиль эмигрировали?» — повернулся к Алеку барон Фиргоф.

«Вы хотите спросить: не из жидов ли я?» — посмотрел на него внимательно Алек. Но Барону Фиргофу ответить не удалось. Во всяком случае, его ответ утонул в неожиданных

\* С нами Бог.

аплодисментах. Но рукоплескали не Алеку, не Фиргофу и даже не Достоевскому. В конце банкетного стола поднялся граф Алексис Толстой-Тод в своем белом кавалерийском кителе с золотыми эполетами. В руках у него был бокал шампанского. На устах торжественный тост. Алек был настолько захвачен предыдущим диалогом, что совершенно прослушал начало, с витиеватыми комплиментами в адрес присутствующим именитым гостям. Он снова «надел наушники» (то есть, стал вслушиваться в окружающую речь), когда граф Толстой-Тод успел вскочить на своего любимого конька (которому явно не забыли поддать овса):

«Где все те, кто готов был закрывать глаза, смотреть сквозь пальцы и плевать через левое плечо на самые чудовищные сталинские преступления во имя мира и социализма на земле? Где все те, кто видел в Совдепии то самое пресловутое будущее, которое якобы работает?» Глаза графа Толстого были устремлены в зал, где они зорко пытались высмотреть просталинских коллаборационистов и крипто-большевиков, всех этих либеральных интеллигентов, кто в эпоху детанта старался замазать ужасы советской власти ради торжества мира и социализма на всем земном шаре. «Где они?» — спрашивал граф и сам же отвечал: «Все эти прекраснодушные марионетки советских демагогов повержены в прах событиями в России, их фальшивые идеалы разоблачены как монструозные затеи кремлевских тоталитаристов; их светлое будущее предстало перед глазами всего мира как разбитое корыто, где копошатся черви прогнившей советской системы». Граф Алексис Толстой-Тод произносил свой торжественный тост с энтузиазмом: эполеты его как будто приподымались, утягивая его вверх, к люстрам, которые отражались мириадами огней в его очках так, что очи его светились нездешним светом. Все, внимавшие речи графа, оглядывались друг на друга, всматриваясь по-толстовски пристальным взглядом на соседа: не подлизывался ли он к советской власти? не писал ли что-нибудь примирительно-соглашательское?

Среди них был и ищущий взгляд Алека. Не из-за происков ли этих просоветских крипто-коммунистов он, Алек, выпихнутый из России советской принудителкой, оказался здесь

парией, черной овечкой, духовным сиротой? Волна праведного гнева подступала к горлу сладким комком, вот-вот готовая подняться выше, к векам и затопить глаза слезой единения, чувством солидарности с кучкой праведников-антисоветчиков на этом эмигрантском балу в этом грандиозном чужом городе, где масса деревенеет и прихватывает китайщины... Это было чисто российское забытое чувство: быть одним из кучки избранных, а вокруг толпа врагов. Снова грянул вальс.

«Ну вы, наконец поели? — Из-за спины нависало озабоченное лицо Пола Павликовского. — Мне нужен еще один ракурс вальса. Танцуйте, танцуйте. Вы сюда что — разговаривать пришли? Чего же вы не танцуете?»

«С кем?» — искренне удивился Алек, обведя глазами стол. Этого как будто ждал Сергей. Он мигом подхватил Полину под руку и они вприпрыжку унеслись вглубь зала. Алек следил за мельканьем ее белого платья, и как Сергей, в своем ковбойском облики, подхватывает Полину, как белую лошадь под уздцы. И наклонясь, он ей шептал какой-то пошлый мадригал. Он никак не мог сообразить, почему она танцует не с ним, а Сергей не с Леной. Лену, тем временем, использовал, как лошадь Фру-Фру, князь Вронский. Каждый на своем коньке. Достоевский стоял на подхвате. В висках стучало, в глазах саднило, хотя не так уж он много выпил — он был в перевозбужденном состоянии: он все еще чувствовал себя в стане врага, но уже непонятно из какого лагеря. Пока он тут в кучке белых эмигрантов разоблачал крипто-коммунистов, его затолкала в угол молодая гвардия «перестройщиков», эти совки, прихлебатели и приживальщики его героического прошлого: это он шел с выездной визой в нагрудном кармане на гебистскую амбразуру, это он бежал через минное поле эмиграции со знаменем русской интеллигенции в изгнании. — Нет, не в изгнании, в послании, конечно, пока они отсиживались в застолье советской кухни. Вот они, красуются теперь на лондонском балу; особенно выделялась кучка бывших советских в импровизированном баре-буфете за накрытым столом у стены: все как один одетые в цветные пиджаки; все как один бизнесмены. Оттуда доносились все эти новые

словечки, вроде «прикид», «оттянуться» и «наехать». Среди них толпился и потомок Достоевского: выяснял, так сказать, «народные» настроения в отношении будущей монархии? Алек случайно встретился с его хитровато тяжелым взглядом, и тот усмехнулся. Оркестр тем временем перешел с вальса на краковяк, с краковяка на цирковую музыку, где Интернационал незаметно переходил в собачий вальс. Небольшая площадка перед оркестровой эстрадой расчищалась, и распорядители объявили, что начинается мимическое представление «Кадриль литературы».

На паркетную плешку вышли два джентльмена и встали друг против друга. Один изображал советского бюрократа с серпом и молотом на причинном месте. Другой был явно диссидентом, лысый и в очках, с томом «Архипелага Гулаг» под мышкой. На спине у одного была надпись «Россия в страдании», у другого — «Россия в послании». Между ними была протянута цепь, с наручниками на руке у каждого. Пантомима заключалась в том, что советский тоталитарист все время пытался встать на руки вверх ногами, символизируя перевернутый, кромешный мир советской действительности. Но скованный одной цепью с диссидентом на карачках, он снова вставал на ноги, когда диссидент тянул его к свободе, в эмиграцию. Россия в страдании не могла отделиться от России в послании, эмиграция — от метрополии. Алек вдруг решил, что диссидент в эмиграции явно похож на еврея и усмотрел в лысине намек на себя самого. Он при этом совершенно упустил из виду, что эту пантомиму по просьбе Лены сварганил для бала Сергей, и смысл ее, если и показался Алеку выпадом на его счет, оставался невразумительным для большинства присутствующих из числа белой эмиграции, а тем более для барона Фиргофа: тот слабо понимал разницу между диссидентом и диксилендом.

Но вопрос графа Фиргофа насчет израильских зигзагов в его эмигрантских маршрутах продолжал сверлить в уме, и Алек вдруг ощутил себя так же, как, наверное, в его компании в последние годы чувствовали себя приезжие новой, «перестроечной» волны. Потому что он, Алек, в конечном счете, был, как и они, «перестроечники», советский, в то

время как вокруг толпились те, кто причислял себя к русским, и не просто русским, а с намеком на православно-аристократические связи, на то благородное прошлое, которого у него, у Алека, и у его бывших соотечественников не было.

«И по каким таким признакам, интересно, вы отличаете тех, у кого эмигрантский профиль с израильским изгибом», — без перехода обратился Алек с барону Фиргофу. В голосе его звучали задиристые нотки. Барон повернул к нему свои рыбы глазки, и губы под отвислыми бульдожьими щечками скривились в подобие улыбки. Но и она тут же исчезла.

«В Берлине, душа моя, после войны, толпами ходили бывшие советские, из военнопленных, — начал он, казалось бы без особой связи с вопросом Алека. — В глазах паника: их, милейший, союзники готовы были выдать в Совдепию. Определяли, душа моя, не по паспорту, а чуть ли не нюхом: кто советский, то есть беглый, а кто эмигрант белый, то есть не по кремлевскому ведомству. Заседали два смершника в присутствии британского наблюдателя. Проводили допрос: откуда родом? кто родители? какой губернии? когда и как покинул Россию? Надо было так подать свою биографию и описать географию родных мест, чтобы получалось: ты не как советский гражданин попал в Германию, а покинул Россию бог знает когда, еще, скажем, до революции. Перед вызовом на эту комиссию бывшие советские ходили друг к другу консультироваться, ночи напролет изучали и заучивали карту якобы дореволюционной географии. Сколько ни вдавливал я им в голову топографию родных поместий, на ерунде, мой друг, срывались. «Вы, стало быть, из губернии такой-то? — подкатывался смершник, — и сказали, что плавать не умеете? Как же вы в соседнюю деревню к поезду на том берегу перебрались, если плавать не умеете?» А бедолага и отвечает по наивности: «Как? Да меня лодочник перевез». Тут смершник и улыбается ехидно: «Лодочник? Так ведь там, товарищ, реки никакой нет, в вашей якобы родной губернии. А ваши предки из какой, кстати, губернии?» Алек не сразу понял, что вопрос обращен к нему.

«Мой прадед был лесопромышленником», — пробормотал Алек, хотя знал, что спрашивают его совершенно о другом.

«Вы хотите сказать: ваш прадед был арендатором. Арендатором поместье у русского помещика», — несколько нетерпеливо побарабанил пальцами по столу барон.

«Мои предки были все с высшим образованием. Поэтому на них не распространялась черта оседлости».

«То есть они с полной, так сказать, свободой уничтожали русский лес. И где, позвольте спросить?»

«Поместье было в районе губернского города Бобрик-Донской».

«Под Тулой?»

«Под Тулой». Алек вдруг занервничал: а может, Бобрик-Донской не под Тулой? Может быть, он все это придумал? Ведь он так ни разу в жизни и не удосужился взглянуть на карту и узнать, где, собственно, находится этот мистический Бобрик-Донской его детства — от какого-то священного страха не нарушить детскую легенду о доме деда, где он провел самые счастливые годы. Бобрик-Донской, впрочем, с тех пор заведомо переименовали во что-нибудь патристическое, и уже следов не отыщешь. Он пытался отыскать глазами Полину, но та продолжала кружиться с Сергеем. Лена вальсировала, склонившись на плечо Достоевскому. Фон Шнитке посапывала, задремав прямо в кресле за столом. Алек был оставлен на произвол судьбы, с этим бароном, чье лицо все больше и больше становилось похожим на раскрашенную глину вятской игрушки.

«Под Тулой, стало быть? Так сказать, в землях Льва Николаевича Толстого? — Барон как будто сверялся с протоколом допроса накануне. — Там было поместье и моих, между прочим, предков. Они, кстати, сдавали поместье в аренду. Лесопромышленнику. Как простите, фамилия Ваша?»

«Нович», — автоматически назвался Алек.

«Из раввинов?»

«Почему вы спрашиваете?»

«Ну как же. Нович из раввинов. Раввин Нович. По-еврейски раби. Раби Нович. Вы просто-напросто Алек Рабинович,

вот вы кто!» Барон стал радостно потирать руки, как будто сделал великое открытие в фармацевтике.

«Чего вы так обрадовались?» — Алек не мог скрыть неприязни.

«Ну как же: еврей Рабинович в начале века и арендовал наше поместье в Бобрик-Донском», — сообщил барон.

«Вашему поместью повезло», — сказал Алек.

«В каком смысле? — спросил барон. — Еврейское счастье?»

«Мой прадед был лесопромышленником, но мой дед был уже большевиком. То есть, он был в первую очередь доктором, но при этом активистом в партии». Рыбы глаза барона наконец раскрылись, брови приподнялись в ожидании, и Алек увидел, что глаза у него вовсе не рыбы, а смотрят зорко и цепко прицельными точками зрачков. «Благодаря ему ваше поместье не сожгли, как все остальные поблизости. Там устроили местную больницу. Я там подолгу жил, когда мои родители сплавляли меня туда, чтобы отделаться на время от крикливого дитяти. Дед был там начальником местной больницы. К нему относились, насколько я понимаю, как к помещику: носили фрукты и овощи, сахарные головы, как гоголевскому губернатору. — Алек улыбнулся самому себе, забыв про тему разговора. — Мое главное детское воспоминание того места: запах яблок — они созревали в комнатах под кроватью. И вкус зеленоватой корочки полуспелого помидора. В сенях стояли две бочки: одна с солеными помидорами, другая с маринованными, нет, с тремя бочками, потому что была еще бочка с солеными огурцами: там плавал лавровый лист и головки чеснока. Нет, что я говорю: была еще четвертая бочка! С мочеными яблоками. Антоновка. Знаете ли вы вкус моченых яблок? Не знаете вы вкуса моченых яблок и уже никогда не узнаете. Потому что никого, ни бабушки, ни деда нет в живых».

«Жаль», — сказал барон.

«Жаль?» — повторил за ним Алек.

«Потому что любопытно было бы поговорить с вашим дедом».

«На какую тему? О моченых яблоках?»

«О том, — барон кашлянул, как будто в горле у него

скопился астматический ком, — о том, как ваш дед в 1920 году расстрелял моего отца». Барон повертел в руках глиняную фигурку.

Алек вскочил. Красные пятна, вспыхнувшие на щеках, стали, казалось, переползать на лысый лоб, а щеки, наоборот, смертельно бледнеть. Алек хотел крикнуть что-нибудь такое Достоевское, насчет ложных наветов и опозоренном достоинстве. Но в голове звенела лишь одна навязчивая мысль о том, что надо срочно послать телеграмму отцу, сообщить о катастрофическом известии (как будто отец Алека не знал о прошлом своего папаши) — с самыми неожиданными последствиями для нынешних и будущих поколений. Алек не мог оторвать глаз от руки барона, все быстрее и быстрее переставлявшего на столе вятские игрушки, как будто это был неудачный карточный пасьянс.

«Ваш дед, милейший, не своими, конечно, руками расстреливал. Как я понимаю, вы внук того Рабиновича, кто подписывал ордер на арест моего отца. И расстрел. Мне недавно переслали из России архивные копии документов и протоколов. Вот такие вот вятские игрушки». Пальцы его сжались и рука дернулась. Одна из главных фигурок, красноармеец на коне, слетела со стола и разбилась о вощеный паркет. И тут же как будто сдвинулось нечто и в облике графа: за мгновение до этого он был похож на скрюченный манекен, куклу с отвисшими ватными щечками и проволочными бакенбардами; но тут он выпрямился, выпил залпом рюмку водки, откинулся в кресле, закурил сигару и повторил: «Такие вот вятские игрушки».

Лицо барона просветлело, как это бывает с сумасшедшим, осознавшим в одно мгновение долгие годы мучительного безумия. С выражением этой просветленной задумчивости на лице, он взял в руки еще одну глиняную статуэтку, повертел ее перед глазами, и вдруг к ужасу всех, запустил ее прямо в мраморную колонну. Раздались испуганные вопли, Алеку пришлось пригнуться, как во время обстрела. За одним шедевром вятских промыслов последовал другой, за ним третий. Они разлетались мелкими осколками, как новогоднее конфетти. Кто-то звал распорядителей, слышалось русское «боже мой!», английское «dear me» и

возгласы: «Да он рехнулся». Размозжив последнего глиняного идола, барон вынул сигару изо рта и погасил ее, с шипением, в бокале минеральной воды в руках фон Шнитке. У той на лице был написан немой ужас; бокал выскользнул из ее пальцев и тоже разбился вдребезги. Барон, удовлетворив свой разрушительный инстинкт, оглядел всех победно и, улыбнувшись Алеку перекошенным ртом, вдруг стал сползать со стула.

Зал ахнул, и от этого аха, под глухой звук удара головы о паркет, вдруг стих оркестр; и тут же стал слышен панический шепот гренадеров, гусаров и кавалергардов, нелепо толкущихся поодаль. Граф Толстой-Тод старался выстроить любопытных в подобие торжественной линейки, как на параде. Сквозь этот патриотический маскарад протиснулись Полина, Лена, Сергей. На заднем плане, как бы в исторической перспективе, маячили Достоевский с князем Вронским. Все они окружили Алека, пытаясь выяснить, что произошло. Но Алек отмалчивался: эта сцена была из его, и только его, бала-маскарада. Забегали распорядители, захлопали двери, в фойе, и на лестнице послышались перекрикивания служебного персонала. Так бывает за кулисами театра. Или в больнице. И действительно, в воздухе повеяло медикаментами: это над бароном, распростертым на паркете, склонилась фон Шнитке с пузырьком нашатырного спирта из сумочки — еще, видно, со времен марокканской эмиграции. От нашатыря голова барона дернулась и он приоткрыл глаза:

«А где этот егерь?» — вдруг четко сказал он, обводя глазами толпу; голова его при этом оставалась совершенно неподвижной. Так косят лошади. Особенно у Толстого. Или старые вороны. Все обернулись, следя за взглядом графа, не понимая, кого он хочет увидеть. «Ну этот, охотник за вальдшнепами», — проявила неожиданную догадливость фон Шнитке. Нетерпеливо, как всякий раздражительный больной, барон попытался поднять руку с оттопыренным указательным пальцем. Только Алек понимал, куда указывает этот палец: палец указывал на него. Он стал проталкиваться сквозь кольцо любопытных. Барон лежал на паркете, с диванной подушкой подложенной под голову. Он поманил

Алека к себе. Когда Алек нагнулся, барон резко выпростал вперед руку. Алек дернулся и отстранился: ему показалось, что барон собирается дать ему пощечину. Но барон сжал в своих пальцах локоть Алека железной хваткой утопающего — в реке забвения. Его пересохшие губы прошептали что-то невнятное, Алек разобрал нечто похожее на слово «голубчик», но не поверил своим ушам. Глаза барона снова закрылись.

В зал влетели санитары скорой помощи с носилками. Алека пытались отцепить от барона, но тот еще крепче сжимал пальцы. Алек зашагал рядом с носилками через весь зал до лифтов сквозь толпу любопытных, похожих на статистов из декадентского фарса или готического кошмара. Лишь когда носилки с бароном втиснулись в лифт, наступило мгновение тишины. Лицо барона осунулось, исчезли бульдожьих щечки, а бакенбарды обрамляли лицо траурной каймой, как на фотографии покойного родственника. Его веки задрожали, он открыл глаза, и пальцы его поползли к ладони Алека.

«Вы извините меня, голубчик, — хриплым шепотом заговорил он, — извините старика за нелепые жесты. Разбездобрился на старости лет. Вы знаете, мы должны непременно с вами еще раз встретиться. Буду крайне благодарен. Вы знаете, дружочек мой, ведь у меня на свете никого не осталось. Это ведь все оборотни: что Достоевский, что Вронский. Сплошное фру-фру. Просто некому рассказать обо всем, знаете ли, обо всем, что случилось со мной, с моим отцом. С Россией. Вы ведь, голубчик мой, единственный, получается, свидетель и связь с моим прошлым. Кто еще до конца меня поймет? До конца, вы понимаете? Обещайте мне дозвониться. Нам непременно нужно, голубчик, еще раз встретиться. Хоть на том свете, но встретиться надо непременно. Обещаете?»



Татьяна МУШАТ

## МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

### Жила была девочка

*Вы спрашиваете, как случилось, что я стала писать?*

*Сначала случилась довольно долгая жизнь, потом — эмиграция, а потом уж эти рассказы. Именно такая обусловленная последовательность. Эмиграция — очень сложная вещь в любом случае — остаешься ты со своим прошлым или отсекаешь его. Я знаю людей, которым надо отстроиться от прошлого, от русского, даже от русского языка. Мне не удастся, или не хочется отстраиваться от него. Это моя жизнь.*

*Эти короткие рассказы — только ключики, только настройка к вашему «я». Каждому из нас есть что сказать. Хотите — пишите собственные толстые романы. Может быть, так мы сможем поговорить со своими внуками.*

### Красная гвоздика

Вздыбленные машины послушно ждали, пока дети переходили дорогу. Цветной ручеек неспешно перетекал через улицу и шел дальше, дальше, до ворот парка и дальше, вдоль по аллее, до статуи Вождя.

Все дети несли по большому красному цветку. Каждый был сосредоточен и острожен, потому что мама и учительница сказали, что это очень важно — донести свой цветок и положить его на камень, где стоит дедушка Ленин.

Цветов было много. Они лежали на постаменте и на земле. Свежих цветов было так много, что дежурный милиционер не успевал собирать и выбрасывать в помойку вчерашние.

### Мифы

В моем дворе в детстве было около десяти семей. Только в одной семье был мужчина, без жены. Он был очень болен. Врачи считали болезнь неизлечимой, и он лечился самостоятельно. Он избегал людей, потому что стеснялся не только болезни, но и лечения — он готовил и пил собачий жир.

Жилье пахло ужасно, и его сын никого не приглашал домой. Почти каждый вечер мы сидели с ним на скамеечке у ворот и, чаще всего, говорили о древних греках. Ему особенно нравился миф о Геракле.

Потом с войны вернулся еще один мужчина. Он вернулся без обеих ног. Ног не было совсем, до основания. Жена иногда приносила его посидеть с нами на скамеечке, но он почему-то не любил мифов.

### Вечерняя линейка

Кончается длинный-длинный летний день. Четыре пионерских отряда стоят на плацу каждый на своем месте.

Я знаю, когда скроется самый последний розовый луч и загорится первая звезда, пойдет рапортовать председатель нашего отряда. Я сегодня очень боюсь — вдруг он скажет на этой вечерней линейке, что я дралась с мальчишкой. Я совсем не виновата. Он сам все время задирается. Вожатая говорит, что это он меня любит.



Все... Звезда загорелась... Наш председатель пошел... Ух! Про меня не сказал. Да и то, разве говорят про такие глупости в таком месте...

## Фашисты

Вдоль по улице вели пленных. Голова колонны давно скрылась за углом, а они все шли и шли, и конца не было видно. Все, кто оказались к тому часу дома, высыпали на улицу. Мы с бабушкой стояли на самом краю тротуара. Они шли прямо перед нами. Серые, усталые, обросшие, в драной униформе, замотанные засаленными шарфами и тряпками, хотя стояло жаркое лето, в стоптанных башмаках, перевязанных веревками. Смотреть на них было бы жалко, если бы это были не фашисты. Бабушке тоже было жалко, я видела, — то ли их, то ли нас, то ли жизнь вообще. Но нас зачем жалеть? Мы победили! А жизнь зачем? Значит, их? Но их нельзя жалеть! Они фашисты! Учительница говорила, что это не солдаты, это — убийцы. Их так воспитали — убивать чужих.

Не догадывалась старая учительница — еврейка, последним поездом уехавшая из осажденного Ленинграда, что еще более страшная наука — убивать своих, прежде всего, своих. За идею. Под лозунгами.

## Меня берегут

Девочка прыгала через скакалку. Она была в том возрасте, когда в тело девочки, никого не спросив, приходит взрослая женщина. Девочка прыгала внутри шара — так быстро крутилась скакалка, а взрослая женщина в ней давно уже заметила мужчину на другой стороне улицы. Он неотрывно смотрел на нее. И скакалка крутилась все сильнее. Прыгали тощие длинные ноги под короткой юбкой, прыгали высоки груди под короткой майкой, над раскосыми глазами прыгала черная челка.

Он подошел, пригласил пройтись. Они пошли. Девочка не боялась, женщина в ней не успела предупредить. Девочка не очень удивилась, когда через граненый стакан с пузырящимся шампанским увидела перед собой милиционера. В это вечер все было удивительным.

— Мать моя! Откуда взялась здесь эта целочка? Откуда бы ни взялась, — быстро соображал милиционер, — вот-вот будет драка за нее. Надо скорей увести с моего участка. А там уж дело майора...

## Чапаевцы

Устали сыщики. Угомонились разбойники. Барыня медлила посылать в очередной раз «галик, да веник, да сто рублей денег...» Теперь все играли в Чапаева и фашистов. Только мне не хотелось играть. Мне хотелось опять и опять смотреть на настоящего Чапаева. Он такой красивый и храбрый, всех победил и устал, наконец, и лег спать, и караул уснул, а фашисты подкрались темной ночью, их и не видно было совсем за высоким забором, убили часовых и ворвались в дом. Чапаев выпрыгнул в окно и побежал к реке.

Вот откос, река, вот он уже плывет, плывет, плывет так долго, что уж и рассвет начался, и теперь в него еще легче попасть, но пули летят мимо, мимо, а потом одна попала в него, и ему стало тяжело плыть, а потом еще одна в него, и он тонет, тонет, тонет... Не-е-т! Не умирай! Не-е-ет!

И снова кино сначала. Опять Чапаев на коне, опять живой и красивый, и опять фашисты за досчатым забором, и опять река, и белая рубашка пузырем, и злые пули.

Перестроенная под кинотеатр маленькая старая церквушка на городской окраине, как и любая другая, даже самая огромная, могла лишь мечтать о такой власти над сердцами и о таком мастерстве, с каким кино лепило бронзовых героев из человеческой плоти и крови.

## Лишние

Сука рожала седьмого, последнего. Женщина опустила его в ведро, где барахтались остальные, поменяла под собакой мокрую, липкую подстилку, отнесла ведро в уличный туалет и выплеснула щенков. Они сучили лапками и медленно погружались в дерьмо, тараша еще не раскрывшиеся глазки.

И тени сомнения не было в ее действиях. Так или почти так поступали со всеми и всегда. Ее в четырнадцать лет из

отчего дома выгнала революция. Родители умерли, братьев отказались кормить, и пошла она по белу свету, самаодна. Была и поваром на большой стройке — «стояла на супах», и кассиром — считала на счетах, потом вышла замуж за капитана речной баржи-самоходки и несколько лет «ходила по реке» с ним. Она готовила на всю команду, очень уставала и спала, когда муж вставал ночью по своим капитанским делам. В эту ночь она проснулась, когда он вышел. Встала, пошла за ним и услышала любовную возню прямо здесь же, за дверью своей каютки, на бухте с чалом. Муж ласкал поломойку. В ближайшем порту она ушла с баржи навсегда.

Она твердо знала, что жизнь сбрасывает со счета лишних. Для нее это было так естественно, что она и не подумала о девочке, внимательно и молчаливо наблюдавшей за ней и за собакой. А если бы и подумала, то сделала бы так же.

## Сочувствие

Ее звали Мопса. Она была добрая, добрая, всегда старалась всем угодить, все сделать — лишь бы не гнали, лишь бы приняли в игру. Длинная зеленая сопля всегда свисала с ее носа. Может, эта сопля да услужливость только и говорили об ее отклонении от нормы, если нормой считать переполнявшую остальных безразличную агрессивность. Она была Мопса, просто Мопса. И вдруг однажды я увидела, как мать была ее головой об стенку только за то, что та заигралась и запачкала и так грязное платье.

В комнате с деревянным скошенным потолком было холодно, грязно, полутемно, два окна, наполовину вросшие в землю, глядели на жухлую осеннюю траву. Девочке было больно, а еще больше — обидно, а еще больше — стыдно, что я здесь, хотя и хорошо, что я здесь и вижу, как ей больно, значит, и мне перепадает, и от этого ей немного легче. С тех пор я звала ее Галькой.

## ...Откуда дети берутся

Сиреневый вечер запутался в кустах сирени и картошки. Было самое время играть в прятки.

Мы с девочками, втроем, спрятавшись в большом развесистом кусте, напоенном за день одуряющим ароматом цветов, видели, как голящий, отбубнив свою считалку, открыл глаза и начал мотаться туда-сюда около дерева, где была чикалка. Мы сидели в полной безопасности.

— А я анекдот знаю. Рассказать? У матери родилась дочка, гости пришли поздравлять, стали пить, и первый тост за директора резиновой фабрики. Смешно, правда?

Они засмеялись.

— Нисколько не смешно, — сказала я.

— Ты что, не понимаешь? Ты, может, не знаешь, откуда дети берутся?

— Да нет, знаю...

— Ты, наверно, не видела, как люди е... ся?

— .....

— А что, твоя мамка не приводит в дом?

— Кого не приводит?

— Ну... мужиков...

— Нет...

— ... хорошо тебе...

Взрослая жизнь коснулась нас своим крылом. Играть расхотелось.

## Базар

Место сбора было назначено у забора, где кончается огород и растет высокая толстая конопля. Там так тепло, укромно и так хорошо пахнет, что можно сидеть часами. Но сегодня у нас нет времени. Мы договорились идти на базар за мороженым. Собранных денег должно хватить на одно мороженое, одно на всех, такое круглое, с вафлями сверху и снизу, почти воздушное. Лизать разрешалось по очереди.

Вдруг на базаре что-то случилось. Все куда-то побежали. Сгрудилась толпа. Мы оказались в ней. Кого-то били кулаками, ногами, костылями. Он уже не корчился, только едва вздрагивал. Неспеша круг раздвинулся — парень, в разорванной одежде, со скрюченными пальцами, прикрывавшими кровавое месиво там, где должно быть лицо, лежал на

утрамбованной земле. Втоптанная, раскрошенная буханка хлеба, наверно, украденная, валялась рядом.

Была моя очередь лизать мороженое, но я забыла. Растаянная сладкая жижа текла из кулака к локтю. Все молчали. Только один, самый толстый из наших, зло сказал: «Ну и дура!»

## Сила искусства

Громадная елка в громадном фойе громадного театра сверкала новогодними огнями. Сегодня театр был отдан старшеклассникам. Между белыми мраморными колоннами и греческими богами сидел военный духовой оркестр и играл вальсы и марши. Две-три самых смелых пары танцевали под марш «фокстрот. У всех входов в громадный зал стояли служители в строгой форме, как будто берегли искусство.

Занавес раздвинулся, на сцене оказался лес, очень похожий на настоящий, и Иван Сусанин, очень похожий на обыкновенного партизана в пимах и тулупе, только вместо ружья — палка. Он завел врагов в непроходимые дебри, и теперь должен был умереть, хотел умереть за Родину. Да, это счастье — умереть за Родину. Я бы тоже хотела так умереть, и чтобы об этом узнал один мальчик, который мне очень нравится, но об этом никто-никто, даже он сам, не догадывается.

## Первомай

Ветер играл знаменами, надувал пузырями транспаранты, бросался лепестками бумажных цветов, вырывал из рук воздушные шары и уносил их в небо, чтобы весь Мир знал, что у нас сегодня Праздник Первого Мая — Международный День трудящихся.

Наша школа — самая лучшая в районе и поэтому сегодня она правофланговая на демонстрации. Мы идем так близко, почти совсем рядом с трибуной и так волнуемся, что не можем разобрать ни одного призыва, которые все время выкрикивает в микрофон один и тот же товарищ. Но кто-то, наверно, понимает, потому что вовремя отвечает: «Ура!» А мы все подхватываем: «Ур-а-а!»

Торжество кончилось за углом. На грузовик свалили все транспаранты, флаги и портреты. Мальчики собрались в кружочек, и по рукам пошла бутылка с вином. Все еще яркое солнце светило на опустевшие сразу улицы, густо посыпанные порванными воздушными шарами.

## Надежда

«Вот погоди, поедем с тобой в теплые края», — говорила мне моя бабка, когда заворачивала меня в нагретое у печки одеяло, а я все равно никак не могла согреться. Ветер свистел в трубе и выдувал из дома последнее тепло. «Вот погоди, поедем с тобой в теплые края», — говорила моя бабка, когда терла подмороженную картошку на драники. Картошка сразу синела и исходила водой и только мне казалась вкусной. «Вот погоди, поедем в теплые края», — говорила она, когда я таскала из водокачки воду на нашу единственную грядку, на которой бабка умудрялась выращивать огурцы и помидоры. Я старалась и приносила за раз три ведра — два на коромысле, а одно в руке.

И вот я в теплых краях. Не нужна печка, даже простыня давит на разгоряченное тело. Вместо картошки — удивительные самаркандские лепешки и бухарские персики. И воду не надо таскать, она сама течет в арыках — коричневая живительная жижа. Горы арбузов и дынь лежат на базаре круглый год, днем и ночью. Ночью не торгуют, но если перелезть через чугунные литые ворота базара и найти торговца, который никогда не спит, а все время пьет чай и который всегда рад ночному собеседнику, то арбуз тебе обеспечен.

Так, значит, это и есть рай? Где же? За тем высоким дувалом? Или в конце той узкой улочки со сточной канавой посередине? О, нет... Если где и есть рай для тебя, так только в душе близкого человека, которого протащила жизнь по ухабам и кочкам, и теперь он стелет соломку на твоём пути. Может, только там и есть...

## Крещенский вечерок

«А еще в Крещение гадают», — полушепотом сказала бабушка, шамкая губами и загадочно прищуривая глаза.

«Всяко можно гадать. Вот, например, снимешь с ноги башмачок, бросишь за ворота, кто поднимет, тот и суженый». Все это никак не вязалось с нашей жизнью — что, снять валенок, стоять босиком на снегу и ждать? Да и не ходит никто вечерами по нашим глухим улицам. А если вдруг кто подберет и уйдет, как же я буду жить всю зиму? Других-то валенок нет. Но разбуженное воображение уже рисовало чем-то привлекательные картинки, и сердце, замирая, проваливалось куда-то к пупку.

«Или вот. Возьмешь зеркало, пойдешь в баню, поставишь по бокам от него две свечки и смотри, смотри, долго смотри в зеркало. Оттуда суженый и выйдет». А вот это даже слушать было страшно.

«А ты гадала?»

«А то как же...»

«И что, приходил кто?»

«Из зеркала ни разу, все больше живьем». Бабушка медленно покачивалась из стороны в сторону и тихо напевала. Похоже, что проходящие не пугали ее. Сме-ла-я...

«Бабушка, с суженым потом. Погадай, что я завтра за контрольную получу, а?»

## Неотплаченные долги

— Держите, держите их! Шапку украли!

— Ох, как холодно, да и темень, да и опасно. Пусть его кричит...

Но парня поймали, судили за воровство, и поломалась жизнь, которая только-только началась так интересно — старший класс, уроки литературы, симпатичная девчонка.

— Да выдумки все это, мираж. Вокруг только зло, зло и деньги. Нет денег — достань, правда, если не повезет — тюрьма. Есть деньги — шагай, шагай, куда хочешь... Были бы деньги, пошел бы, разве, кто на воровство, чтобы купить девчонке подарок?

Пролетела жизнь. С девчонкой они не виделись. И вдруг он позвонил, пригласил прийти. Она пришла.

— Ты знаешь, я всю жизнь тебя помню... А теперь я хочу знать, стоило ли думать о тебе всегда... Раздевайся! Раздевайся, мать твою!..

Пролетела жизнь, а он так и не понял, должен ли он кому-то мстить за то, что поманили его в юности красивой жизнью, а он все равно шлепнулся мордой в грязь, опять в грязь, всю жизнь в грязь. А может... может он должен благодарить за то, что поманили?

## Память

Было жарко на солнце. И в тени было жарко. Даже в воде было жарко, но очень приятно, особенно, ногам. Жара раскалила улицу — и песок, и даже занозистые доски тротуара были горячие.

Зато теперь так приятно на берегу. Так хорошо пахнет мокрыми соснами и кедрами. Прямо от берега чуть не до середины реки тянутся сотни, сотни, может, тысячи бревен, сцепленных в бесконечные плоты. Кто-то придумал игру — добежать по бревнам, кто дальше, а потом вернуться на берег. Многие бревна скреплены, но попадают и свободные, они могут крутануться под ногой так быстро, что не успеешь опомниться, как нырнешь.

Однажды я нырнула. Выныриваю, а там плот, в другом месте выныриваю — плот. Мне видно солнце сквозь воду и сквозь щели плота, вот он — воздух, но поверх головы — плот, и опять плот, и опять он мешает... Я, все-таки, вынырнула, но, наверное, что-то осталось во мне от того страха. Через много лет моя маленькая дочка, едва научившись ходить, пошла в реку и села под водой. Я выхватила ее из-под воды, и мой детский страх свалился на меня, будто не она, а я опять нырнула, и солнце вместе с матовой водой заливается в мой кричащий рот.

## Убежденная

Волны тихо-тихо шептались. Потом какая-нибудь одна громко всхлипывала, и все наперебой начинали ее увещевать. А потом опять тихо шептались. Костер догорал, только несколько головешек тлело в песке, вдруг запоздало разгораясь маленькими язычками. Стало прохладно. Перед рассветом всегда холодает, будто у поднимающегося солнца не хватает силы греть наш лагерь. Все, кроме нас троих, спали.

Один строгий кудрявый мальчик с голубыми глазами никак не мог выбрать между нами, двумя девочками, кого рекомендовать в председатели пионерского отряда. Обе были достойны. Одна была заводила, а другая — очень убежденная пионерка. Ее дедушка походил на разночинца-шестидесятника. Да он и был им, только жил попозже. Он много говорил о добре и всяких таких вещах, а его внучка как-то очень умело связывала все это с текущими пионерскими делами.

Кто знает, что имел в виду старенький, добрый дедушка, когда говорил о добре и зле? Кто его знает, что шепчут волны... в бессонную ночь...

### **Береженого Бог бережет**

Мою бабушку отдали замуж, когда ей было полных пятнадцать. А ему — тридцать. И не то, что с голоду отдали, просто жених попался хороший. Брал без приданого. Из отчего дома ей досталась только одна картина, уж теперь неизвестно как и попавшая в дом. Она долго, почитай, всю жизнь, хоронила ее от злого глаза в коробке с бельем.

Потом пошли дети. А потом уж пришла любовь, к другому. Тот, другой, был всегда тайной и, скорее, не из-за любви, а из-за своего белогвардейского прошлого в далекой молодости. Моя красавица-бабка всегда казалась молодой, хотя бабкой стала в тридцать семь лет. Теперь еще и это ей хотелось скрыть. Внуки не звали ее бабушкой, вставные зубы она прятала, никто и не знал, что они вставные, пока однажды поздним вечером не накинули ее кофту на абажур, а там, в кармане, оказалась ее челюсть. Утром эту челюсть искали все вместе. Бабушка, с провалившимся ртом, сразу стала старенькая и жалкая. А длинная жизнь за ее плечами окрасилась всегдашним страхом — страхом в девках, страхом в женах, страхом в бабках. И силой воли. А еще желанием быть красивой. И все это ей одной.

### **Эвакуированные**

Материнское сердце сказала ей: «Беги!», и она бежала всю дорогу от работы до дома, километров десять, увязая

в снегу на нечищенных и неосвященных городских улицах. Сил хватило выбить маленькое оконце в комнату, где были дети, — дверь оказалась подпертой изнутри, каким-то чудом влезть в него, схватить полумертвых детей, вытащить их на улицу, выбросить в снег и только тут передохнуть. Старшая девочка отошла быстро, мальчик долго болел.

Худая, жилистая бабка, перевязанная крест-накрест на плоской груди огромным платком, концы которого сходились сзади в толстый узел, сидела в темном углу и зло косилась на происходящее.

«Принесла вас нелегкая, сучье отродье... Ужо, погоди...» Вот когда настало ее время отомстить за все — за разоренное родовое хозяйство, за неприкаемую старость, за разор этого дома, куда Власть поселила вот этих самых детей с матерью, бежавших из-под немца с Украины. Вот когда, наконец, ее время расквитаться. С детьми-то она совладеет...

### **Глаголом жги...**

Город тонул в снегу и мраке. Освящены были только заводы и театры. Заводы, не останавливаясь ни на минуту, ковали победу. Театры, имея в распоряжении всего несколько вечерних часов, пытались ковать стоиков — они заставляли людей поверить в любовь и счастье, которые ждут их вот-вот... или чуть позже. Языком классики лучшие театры страны, схоронившись в этом сибирском городе, говорили, что и раньше бывало немало горя, но оно преходяще, всегда преходяще. Правда, вместе с жизнью. Но зачем об этом сейчас? Человек пришел в театр отдохнуть, отвлечься от голода, холода, страха, пришел на свет и тепло, пришел на свидание с прекрасным.

«Уберите девочку! Где родители? Разве можно водить такого впечатлительного ребенка в театр?!» Я не сидела, а стояла, чтобы лучше видеть сцену, где происходило что-то нестерпимое. Расставались Тристан и Изольда, и мои горькие слезы неудержимо катились за отглаженный воротник впереди сидящей тети.

## Цветная картинка

Иногда не только мама, но и старшая сестра куда-то уходили, и он оставался один стеречь семейный багаж — подстилку, байковое одеяло, кружку и две ложки. И место. Место тоже надо было стеречь, потому что много желающих занять его — оно такое теплое и покойное, на полу в углу, под отопительной батареей. Оно самое лучшее, уже обжитое в этом громадном людном железнодорожном вокзале незнакомого сибирского города.

Мальчика не обременяли его обязанности. Он ложился, подтягивал ноги к подбородку — так легче было терпеть голод — закрывал глаза, и прямо перед глазами, изнутри, выплывала одна и та же картинка: он стоит в раздвинутых дверях товарного вагона, составив движется, все люди из всех вагонов повыскакивали и разбежались. В их вагоне остались только он, сестра и больная мама. Мама не встает, у нее забинтован живот, и сестра все время стирает и сушит бинты. Вот и сейчас она стирает в тазике, который им подарили в вагоне. А за дверью все очень ярко и интересно. Все небо перечеркнуто разноцветными трассирующими пулями. Взрывов почти не слышно, только огонь. Это значит далеко стреляют, не по их поезду. Значит, все вернутся в вагон, когда дадут отбой. Лишь бы не опоздать. Лишь бы не опоздать. Может, и не все вернутся, конечно...

## Обещанная награда

— Ах ты, моя доченька, ах ты, наша кормилица. — причитала надо мной бабушка, принимая из моих рук сумку с хлебом и откалывая булавку на кармане с хлебными карточками. Ходить за хлебом было моей обязанностью. Иногда пара часов в очереди пролетала незаметно — женщины рассказывали что-нибудь интересное, или они так увлекались разговором, что разрешали выйти из очереди и поиграть, ну, хоть в классики... Но чаще надо было просто стоять и стоять в затылок и терпеливо ждать, когда тебя с очередным десятком запустят в маленький хлебный магазинчик.

— Да я тебе скоро блинчиков напеку, — источала ласку бабка.

— Каких блинчиков? А как их едят?

— А то не знаешь? Неужто, нет? — останавливается на бегу, как подстрелянная бабка, и слезы, никогда не виданные у нее слезы, безмолвно катятся из распахнутых добрых глаз.

— Напеку, моя красавица, напеку. Даст Бог, скоро уже...

## История

Я летала. Я то падала-падала-падала, то возносились куда-то, а оттуда опять падала, и тогда меня тошнило. Я открывала глаза, и начиналось что-то непонятное с ногами. Они удлинились чуть ли не до стенки, а у стенки стояла мама и еще кто-то. Этот кто-то вдруг очень громко сказал: «Дифтерия — это не шуточки!» Я опять улетела.

Наверное с тех пор прошел не один день, и снова я услышала знакомый голос: «Ну вот, мы и дома!» Я открыла глаза. Знакомо-незнакомый дядя сидел рядом и держал меня за руку.

— Вот и хорошо. А теперь поговорим. Историю любишь? Любишь? Отлично. А когда царствовала Екатерина Вторая? Так, отлично... А когда Екатерина Первая? Как не было? Раз была вторая, значит, и первая была? Так не было, говоришь... Ну хорошо, вам молодым лучше знать...

## ...как свободу любить

Коза была совсем не дура. Она выбирала самую сочную и самую чистую траву и поэтому не паслась, где попало, у палисадников, например, а вела меня за веревку к железнодорожному откосу, где все лето стояла хорошая трава. Туда — она меня, а обратно — я ее. Часто я носила с собой колышек, втыкала его, как могла, привязывала козу, и мы обе получали свободу — я заваливалась в траву и смотрела в небо, она — раздумчиво жевала. Иногда, в погоне за лакомством, она выдирала кол из земли и таскала его за собой на веревке. Больше всего мы любили утренние часы, пока не разгорелась жара и не поднялась пыль.

Однажды, именно в такое утро, еще пахнущее в тени свежестью, коза спустилась к железной дороге и заблелая. На железнодорожном полотне лежала женщина. Яркое красивое платье на ней было целое и чистое, руки-ноги на месте, только голова лежала отдельно, и красная полоса тянулась от головы к телу.

До дома мы с козой бежали рядом, и кол, привязанный к веревке, волочился по пыли сзади, замечая наши путаные следы. А через несколько дней, когда я уже была в пионерском лагере, коза удавилась прямо перед домом на своей веревке, крепко-накрепко привязанной к крепко-накрепко вбитому колу.

## Партийная

В неполных семнадцать, еще только мечтая выучиться на врача, она по зову революции и сердца пошла работать в лепрозорий, наверно, последний на земле. Потом, по зову Партии и сердца спасала сотни детей, каждый раз умея схватить тот самый, единственный шанс во спасение. Она дарила жизнь сотням раненых, ничего не желая для себя лично, кроме одного — отомстить врагу! Зов, повседневный зов вел ее вперед и вперед, не позволяя оглянуться и передохнуть.

Дома она казалась не на месте, как океанский корабль в речке. Бабушка торопливо прятала за печку свою иконку: «Свят, свят, свят». Рыжая собачонка забивалась в угол, и только дочка оставалась на передовой, без прикрытия.

— Так, читать ленишься. Карты... Откуда в доме игральные карты? Выбросить немедленно. К следующему моему приходу прочтешь «Кому на Руси жить хорошо». Потом мне перескажешь. Так, с друзьями-подружками сидеть здесь, чтобы бабушка видела, домой не позже восьми. Все. Я побежала. Пока.

И она действительно убегала, подгоняемая мыслью о потерянных нескольких часах, искренне веря, что не подставь она вовремя руки — рухнет нерушимое дело Партии.

## Двое как в танке

Он держал ее под руку своей беспалой рукой, и они шли, рассекая пространство перед собой, которое затем смыкалось, взвихренное жгучими предположениями, догадками, жалостью и просто пустым интересом.

У него было обезображенное, обожженное в танке лицо, на глазах, подтянутых шрамами к щекам, постоянно висела слеза. Она была высокая, стройная брюнетка с гладко зачесанными в косу волосами и с черной повязкой на глазах.

Говорили, что глаза ей из ревности выколол любовник. Говорили, что ее порезал парень, которому она отказала, потому что ждала кого-то с фронта. Говорили, что... Да что бы ни говорили, теперь она знала, кого любить, не глядя, а он нашел, кого защищать всеми своими мужскими силами, которые еще оставила ему война.

## Черные кошки

— Возьми хоть пестик от ступки! Какое-никакое, все — оружие.

Это бабушка говорит маме каждый раз, когда мама бежит на ночной вызов.

— Ну что ты, мама! Он тяжелый. Я его выроню себе же на ноги!

Это мама отвечает ей и стремительно убегает, а нам надо быстро-быстро закинуть на крючок наружную дверь, просунуть пешню в дверную ручку и повернуть ее так, чтобы она упиралась в дверной косяк и не давала открыть дверь с улицы. Ставни на окнах закрыты на засов, и мы в безопасности.

А мама в это время бежит по ночным, не освещенным, не мощеным, улицам, просто не думая об опасности нападения, а думая только об опасности не успеть к больному.

Бандиты из «Черной кошки», да и безымянные бандиты не трогали ее. Наверно, знали, что она врач. Говорили, что среди Черных кошек есть люди, вполне приличные при дневном свете. Днем они, вроде бы, честно живут, а ночью разбойничают. Почти как Дубровский у Пушкина.

## Судьба-злодейка

Безногий инвалид на дощечке с колесиками катался туда-сюда около раскинутого прямо на земле старого детского одеяльца и кипятился азартом. «Ну, что, синенькое или красненькое? Синенькое? Красненькое?» Ставка — рубль. Послевоенный мир тосковал по любому, хоть какому-нибудь везенью. Чужое богатство резало глаза. Взывало к дележке. Чтоб по совести. За что воевали? А?!

А рубли складывались в стопочки. «Синенькое-красненькое» мало-помалу претерпело несколько трансформаций. Выросла дочка — помощница, пошла работать в ресторан подавальщицей. Через двадцать лет инвалид, всем на зависть, купил Москвича, еще через десять, пьяный, разбился в нем вместе.

## Детские страхи

Самое страшное место по дороге из школы домой было у столба с фонарем. Даже дорожка вдоль старой церковной ограды, почти спрятанная в разросшихся тополях, была не такая страшная. И вдоль железнодорожного откоса тоже. Сердце замирало сразу, как только я заворачивала за угол и открывался кусок пути, освещенный раскачивающимся скрипящим фонарем. Однажды, вот таким вечером, от столба отделилась фигура и пошла мне навстречу. Я так испугалась, что просто встала. Подошел знакомый парень.

— Ну что, будешь ходить со мной? Не будешь, смотри, пожалеешь... Я тебя ото всех могу защитить, понимаешь, ото всех! Верешь?! У меня смотри, что есть! Смотри... и..., захлебываясь словами, шептал он и торопливо вытаскивал из оттопыренного кармана громадный пистолет, который выкрал у отца — подполковника милиции. Точно, выкрал. Откуда же еще взяться пистолету?

Сквозь страх я все-таки поняла, что мне ничего не грозит, даже если я скажу нет. А ему отец, если узнает, так врежет за пистолет, что... что только держись!

На следующий учебный год парня отправили в лучшую в Сибири школу КГБ.

## Мы едем в Ленинград!

— В Ленинград! В Ленинград! Мы едем в Ленинград.

Идея, подкинутаая нам учителями, обростала деньгами и постепенно приобретала реальные очертания. У бедной послевоенной женской школы не было своих денег на поездку. Что-то дал шефствующий военный завод, потечески выделив из своего громадного бюджета на относительно недорогие детские развлечения. Основные деньги заработали мы сами. Даже не столько заработали, сколько собрали, устраивая что-то вроде благотворительных концертов с участием настоящих артистов.

Все! Теперь — в Ленинград! Неделя в поезде, и вот он, Город Герой! Герой стоял обшарпанный, обстрелянный, со следами от снарядов и пуль на стенах домов, с указателями, ведущими в бомбоубежище, с предупреждениями: «Эта сторона улицы обстреливается». Он так сильно и долго страдал, что теперь отъедался белым хлебом с колбасой и с маслом — чего мы у себя, в необстрелянной Сибири, еще, отродясь, не видывали. Таких дворцов и такого богатства мы тоже не видывали, и таких фонтанов, хотя Самсон в Петергофе стоял еще совсем сухой. Мы даже таких трамваев еще не видели, где почти каждый мужчина норовил подойти к тебе, как можно ближе, и потереться о твою попку. Большой город ошеломил нас. И когда в полупустом вечернем трамвае двое парней сказали: «Эй, девчонки, не хотите подработать моделью?» — это было уже слишком. Не совсем разобрав, о чем идет речь, мы выскочили из трамвая не на своей остановке, и ночной, чужой, холодный, серо-черный, наполненный кошачьими голосами и запахами город окутал нас строгими классическими улицами.

К ночи мы нашли тот барский особняк, в котором нас поселили на несколько дней в комнатке на самом верхнем этаже. Там, перегораживая пустую комнату, стоял стол, полный яств, — белый хлеб, искусно нарезанный тоненькими кусочками так, что батон казался целым, и истекающие нежностью прозрачно розовые ломтики колбасы. За столом, как баба на чайнике, одиноко сидела учительница и провинциально беспомощно ожидала нас.



## Семнадцатилетие

В эту чудесную ночь за две недели до открытия заводской пионерский лагерь был отдан нам в распоряжение. Отец мальчика из нашей школьной компании, директор крупного военного завода, сделал подарок к окончанию школы и к моему семнадцатилетию. Так совпало. Две бутылки сухого вина на двенадцать человек, ночь, пустой, мысленно звенящий привычными голосами лагерь, опьянили нас. И свобода! Свобода...

Ведерная кастрюля плова и ведерная корзина пирожков, настряпанных моей бабушкой, проскочили незаметно вместе с июньской короткой ночью. Первый солнечный луч-иглолка навечно вколочил в мою память следующий день.

Он начался с озера. Пожалуй, это было, скорее, озеро, чем болото, но все его берега заросли пружинящими кочками, ряской, длинные, бесконечные стебли желтых лилий перевили все это, и только в середине стояло зеркало чистой родниковой воды. Маленький мостик висел над озером. Все купались. Грелись на мостике и снова ныряли. И снова грелись. И вот, в воде, нечаянно, впервые я коснулась ногой ноги парня, который считался моим. Мир вспыхнул вместе со мной. А никто ничего не заметил. Нет, он заметил... немножко.

## Выпускной бал

Она была как с картинки. Белое шелковое платье-шестиклинка с вышитой пелериной, беленькие туфельки на маленьком каблукке — все сидело на ней, как влитое. Не зря старалась старая полуслепая портниха — удалось ей платье, хоть и пришлось его шить украдкой, тайком от соседей, чтобы не донесли фининспектору. Зато теперь вот девочка стоит, как принцесса.

— Ну, иди... Дай Бог тебе счастья... Иди...

И она пошла, ступая так аккуратно, как по стеклу, почти не дыша и даже спиной чувствуя, что все на нее смотрят. Та же дорожка, тротуар, мост. Все так и не так сегодня. Платье мешает шагать. Туфли жмут ноги. Жарко-о... Ну, наконец, школа... улыбающиеся учителя... приглашенные

мальчики... А где... где он? А, он просто отошел, чтобы лучше меня видеть. Так начинался выпускной бал. Выпускной из детства.

## ЗЕМЛЯ И СУДЬБЫ

### Деревенская

Трудно было представить себе, что эта маленькая, сухонькая, очень пожилая женщина воевала, таскала раненых. Правда, ей и сейчас приходится таскать мешки с картошкой, а тогда она была молодая, но все равно трудно представить себе женщину на войне.

Трудно не потому, что так не было, а потому, что так не должно быть. Хотя для нее лично война оказалась не самым плохим временем в жизни. На фронте она забеременела, вернулась в деревню. Не приобретя мужа, родила сына, и вот когда началась мука — обязательная работа в колхозе не за хлеб и не за деньги, а за страх, да еще работа в своем огороде, чтобы прокормиться. Очень хотелось иметь помощника, и он нашелся, правда, всего на несколько месяцев. Потом он ушел, родился второй сын. Дети подросли. Старший пошел работать в совхоз. Там за работу платили. Пьяный, он попал под машину. Младший и не начинал работать, сразу пошел воровать. И пропал где-то в городе. Прибили где-нибудь. Если бы судили, наверно, ее бы вызвали на суд. Не вызывали. И вот живет эта маленькая женщина одна в доме, который бы рухнул, если бы не держался за громадную русскую печку с широкой трубой. Разводит огород, он ее кормит и поит. Да, поит ее. А то как же без этого в долгие зимние вечера, когда только ветер в печной трубе разговаривает с ней о прожитом?

### Родина

Это было не просто красивое место. Это была ее земная пуповина. Правда, родилась она не в этой деревне, в соседней, но на гулянья в девках приезжала сюда, и муж привез ее сюда, в этот дом, на это место. Дом стоял на

околице, на взгорье. Внизу стлалась полноводная Обь. Неоглядная даль щемила сердце. Закаты полыхали в полнеба, раскрашивая окна красным. За домом начиналась тайга и тянулась нескитанными верстами. Потом решили сделать на Оби море, деревню пришлось перенести с берега в лес. Расчистили лес, поставили новую деревню. А эта крайняя улица старого села осталась — море не затопило ее. Когда закаты раскрашивали полнеба, одинокая старая женщина садилась у окна и глядела куда-то в середину рукотворного моря. Примерно туда, где когда-то была церковь и ее свадьба, и она шла об руку с молодым мужем, полная страха и надежды.

## Паром

Две деревни стояли по обеим сторонам сибирской реки. Между ними сновали лодки, задерживаясь на светлых островах, грибных и ягодных. Рукотворное море разорвало связи. Потом пришел паром. Пришел сам, с Волги, через Северный Ледовитый Океан. Он был большой и сильный и если хотел, то мог забрать сразу восемьдесят машин. А если не хотел — никого не брал. А шел гулять один по морю — безо всякого расписания и с песнями. Это значило — душа капитана просит отдыха. Однажды паром с людьми и машинами заблудился в тумане. Он куда-то шел, кричал в молочную мглу, приставал к каким-то берегам, мотался, как проклятый, и только к вечеру пристал к берегу, откуда вышел. После этого случая капитана сменили. Все изменилось на пароме. Теперь по нему сверяли часы. И только песни с парома по-старому разносились по всему морю и по двум берегам, и водители, заслышав их, в радостном ожидании затаптывали недокуренные сигаретки, а лошади нетерпеливо прями ушами.

## Сестры

Сестры жили через улицу. Особой любви не было, но и ненависти тоже. Родные, все-таки. Им обеим было под восемьдесят, но они хорошо помнили свое деревенское зажиточное детство — запах домашнего хлеба, вкус све-

жевзбитого масла, сладость только что накаченного меда. И юность помнили. Она совпала с революцией. Стреляли здесь же, прямо в деревне, неподалеку от дома. До сих пор этот ров, где расстреливали то белые красных, то красные белых, никак не зарастет. Потом была война. У одной муж так и не вернулся. У другой пришел. Пожил, пожил да и сошел с ума.

На праздник собирались вместе — на рождество, на пасху, на первое мая, на седьмое ноября, да мало ли праздников, если душа просит... Уж не знаю, кто из них гнал самогон, может, покупали у соседей, но каждый праздник самогон стоял на столе и еще печеные пироги с грибами и с брусникой. Им очень хотелось веселья. Но водка вытаскивала какие-то воспоминания, обиды, слезы. Одна-то была совсем маленькая, сухонькая, горбатенькая и согнутая так, что ее добрые глаза смотрели на тебя только снизу, по-собачьи. А другая — прямая и злая. Она все надеялась, что дочь возьмет ее к себе в город. Кичилась дочерью. А дочь медлила. Зачем ей эти вековые деревенские страсти в мебелированной малогабаритной квартире?

## Правдоискатель

В Сибири революция была не в семнадцатом году. Она началась в восемнадцатом — девятнадцатом, будто люди никак не могли поверить, что надо ее делать. А уж эта мельница на глухой таежной реке стояла вплоть до тридцатого года. До той поры не было в зажиточных сибирских деревнях голытьбы, которая рвалась бы к власти. Но вот и мельнице пришел конец — ее разрушили зачем-то до последних венцов, будто она не имела права молоть пролетарский хлеб, и мельника забрали. Кулаков согнали на большую баржу, вывели ее на середину реки и всех расстреляли. Там и дети были.

Сына мельника спрятали в лесу. Он выжил. Воевал. Стал партийным. Боролся с недостатками этой власти. И никогда, даже в самом крамольном своем сне, он не подумал, что надо бороться с ее достоинствами.

## Лес

Реликтовый бор тянулся по берегам сибирской реки тысячами километров от Алтая до Ледовитого океана и тысячами лет от ледникового периода до наших дней. На вечных полянах токовали тетерева, олени купались в тайных, поросших травами, озерах, копылухи играли на песчаных, неизвестно кем хоженных, дорогах — все это еще хранил лес. Но две опасности грозили ему — леспромхоз и рукотворное море. В самой, казалось бы, непролазной чаще вдруг вспыхивали наготой березы, сваленные в неряшливые штабеля. Их светящаяся красота кричала о помощи. Будто можно помочь умирающей красоте.

А море делало свою работу — лизало и лизало берег, и лес откупался от него целыми пластами земли, поросшей красной, нагретой солнцем земляникой. А морю все было мало, и оно подбиралось к вековым соснам, валило и лизало их до полированного блеска, а потом вышвыривало на берег, как голых утопленников, и тянулось к следующим, еще зеленым, еще живым.

## Дары леса

В сибирской лесной деревне говорят: пошел по воду или пошел по грибы или по ягоды. Наверно, это стоит понимать таким образом — пошел и взял ровно столько, сколько тебе надо, а там, где ты это брал, было так много, что и незаметно, взял ты сколько-нибудь или нет. Лето в Сибири короткое, но оно успевает вырастить так много вкусных грибов и ягод, что непонятно, зачем в других местах лето тянется так долго.

Первой в лесу поспевают земляника. Это особая ягода. Самая сладкая и самая томительно ароматная она на лесных вырубках. Будто кровоточит земля живительным и душистым земляничным бальзамом. Потом поспевают черника. Это спокойная ягода. Она поспевают рано, но может стоять до осени и ждать своей очереди, как будто знает, что нет у человека времени на нее в июле — пора идти по грибы. Вот теперь время оставить все другие заботы. Иди в лес и ты его увидишь. Белый гриб сам идет на тебя. Не один, не

парой, а строем, по шесть — семь в ряд. Для своего строя он выбирает самые красивые поляны, покрытые ласковой невысокой травой. Грибы эти такие видные да пахучие, что в грибной год их можно собирать, сидя на телеге. Нет, конечно, нужно слезть с телеги, сорвать грибы и не спеша ехать дальше. А лошадь и сама остановится в грибных местах.

Следом придет пора идти по грузди, по опята. Опята — это к осени. Они пахнут прелым листом, заморозком, увяданием. Конец, почти конец летнего сибирского буйства. Еще обсыпет брусника холмистые сосновые пролески — и конец, освобожден лес от мирских забот. Теперь пора и о душе позаботиться. Успокоиться. Подготовиться к зиме. Отрешиться от всего, закутавшись в снег. Лишь бы не повалили да не порубили наспех в сумеречный морозный день. А там, глядишь, и опять лето.

## Цыганская любовь

Это старинное сибирское село, красивое, как Швейцария, было не просто место жизни, а, скорее, местом отдыха между тюремными сроками для большинства местных парней. В основном, их жизненные пути прокладывались так: школа — год, два самостоятельной жизни — тюрьма — родная деревня — тюрьма и дальше по этому циклу. Часто в деревню вливались свежие силы со стороны, потому что она стояла на сто втором километре от большого города, в зоне разрешенного проживания людей с судимостью. Они селились здесь, в этой Сибирской Швейцарии, и отдыхали до следующего тюремного срока, заражая местных парней любовью к приключениям и тюремной романтикой.

Это красавец — цыган с бездонными голубыми глазами как-то умудрился пропустить первый отправной пункт обычного пути — он никогда не ходил в школу, но в тюрьме уже побывал и теперь, вернувшись оттуда, работал на конюшне. У него не было матери, жены, детей, вся его любовь ушла на лошадей. Их он лелеял и нежил. На этот раз, судьба подарила ему только два года свободной любви. Значит, любовь к лошадям не спасает от тюрьмы? А любовь к кому

спасает? Может, вообще любовь не спасает? Может, совсем не любовь спасает? Скорей всего, нет средства от тюрьмы для поселенца на сто втором километре.

## Дождь

Мелкий, теплый, летний дождь второй день висел в воздухе. Он окутал лес, дом влажной, глухой пеленой. Спрятал дальние звуки и обострил запахи. И прикрыл, смыл остальной мир, как смывают краску мягким, влажным тампоном. Везде только капало, булькало, текло и лилось на разные лады. Басил ручей из водосточной трубы, выливаясь в давно переполненные бочки. Отбивали дробь капли с крыши. Хлопотунья-осина все перешептывалась с дождем, дрожа каждым листочком. Мокрые птицы под стрехой вдруг начинали возню, не поделив сухое местечко.

К вечеру второго дня дождь затих и почти сразу же у ворот затарахтел мотоцикл. Появился посланец того, отрезанного мира. Он был пьян так, как можно быть пьяным, если пить подряд день, ночь и еще полдня. Он мог держаться только в седле мотоцикла. На ногах он не держался совсем. Нужда выгнала его из дома в поисках водки. Но где ж ее найдешь в деревне в разгар лета, если в магазин ее привозят раз в месяц и раскупают в полчаса? Вот разве что у дачников, у горожан — баловней судьбы. Ах, как стыдно за этого парня, полного сил, убитых желанием выпить. Как стыдно за себя дающего и себя не дающего. Дождь, дождь, погоди, не уходи, охлади страсти...

## Капитан

С капитанского мостика все смотрится иначе. С капитанского мостика на пароме. Красота сибирской реки, безбрежные ласковые восходы, горящие буйные закаты, всполохи далеких гроз и громовые раскаты ближних — и все это из лета в лето, пока белые мухи не полетят из свинцовых набухших туч в свинцовую мутную воду. Не меньше страстей и в очереди на паром длиной в четыреста-пятьсот машин. Этот человеческий театр страстей разворачивался прямо здесь, вдоль длинной деревенской улицы и доходил

до апогея на небольшой площадке перед паромом. Любой, кто обладал хоть какими-нибудь знаками отличия, требовал права пройти на паром, минуя эту бесконечную очередь. Это могла быть деревенская скорая помощь с больными или за больными, или по другому неотложному делу, совсем не связанному с медициной. Это мог быть пассажирский автобус, возвращающийся с воскресной поездки шофера в свою родную деревню и груженный чем угодно, может быть, мешками с картошкой. Или лошадь с телегой, полной бидонов парного молока. Или, наконец, многотонные тяжеловозы с бревнами, сочащимися смолой. Все они образовывали свою очередь. Еще одну очередь образовывали машины, владельцы которых пользовались привилегиями, не опускаясь до разъяснений, — работники партаппарата от секретарш сельсовета до секретарей Обкома, включая их семьи, торговые работники всех масштабов, их родня и близкие знакомые, все эти представители той самой теневой экономики, существование которой нельзя было не заметить, но и заметить было нельзя в этой стихийной очереди на паром.

Здесь, как и в любой очереди за дефицитом, часто лопалось немое согласие окружающих с существованием неписаных привилегий. Но лопалось лишь до окрика капитана, который один, в конце концов, должен решать, кому ехать, а кому ждать. И каждый раз, по двадцать раз в сутки он решал это так искусно, весело и твердо, что казалось — все в порядке, нет никакого вопроса: оказался на пароме — счастливчик, нет — значит, нет. И только сам капитан знал, как трудно вписать в узкое горло паромного трапа восемьдесят машин, сохранив права привилегированных, наградив неожиданными правами непривилегированных и не обидев себя. С капитанского мостика все смотрится иначе.

## Старики

Так получилось, что в российских деревнях никто не слушает старых. Бабки-то хоть при печках с самого раннего предутра до ночи, а деды уж совсем неприкаянные. Поэтому, когда он решил записывать старые песни, частушки, байки и пошел от избы к избе с магнитофоном, старики

откликнулись на это неожиданно радостно. Бабки голосили и водили хороводы так старательно, что никакой умирающий не выдержал бы такого энергичного плача и никакая невеста не решилась бы выйти замуж при таких игрищах. Дедов было мало, их всех перебила судьба, а у оставшихся в живых она же перепутала все сюжеты, но что деды помнили хорошо и много, так это матерные частушки.

Эти частушки не укладывались ни в какую программу, их нельзя было пускать на ТВ и их нельзя было печатать. Но мой знакомый был журналистом — он вышел из положения. В ТВ-шоу участвовали только бабки. Оно получилось красочным и задорным, будто эти старые женщины играли с удовольствием и азартом все то, что они не доиграли и не допели за свою длинную, невеселую жизнь. А мужские частушки все-таки были напечатаны, в уважаемом журнале, с купюрами в виде многоточий. Иногда в четверостишии оставалось два-три печатных слова, остальные были непечатными. Эрудиции читателя не хватало на то, чтобы насладиться выразительностью русской речи. Только редакторы журнала могли насладиться этим вполне, при закрытых дверях.

## Странник

Жизнь вертела его, как хотела. Он успел побывать и в армии, и в тюрьме, и на великих стройках, и в Сочи пожил. В Сочи у него было свое, купленное рабочее место — около винного ларька. Бутылок, которые он там собирал и сдавал, хватало на то, чтобы безбедно жить и еще откладывать на черный день. Черный день не заставил себя ждать. Он смертельно подрался и ударился в бега. Дальше, чем в Сибирь, в России бежать некуда. Так он и появился в этой деревне, видный, шумный, загадочный. Он был начисто лишен понятия собственности, у него никогда не было ничего собственного — ни дома, ни семьи, ни зимнего пальто, даже зимней шапки не было. Это слегка отпугивало от него женщин, собственников по природе, но все-таки нашлась одна и для него.

В поисках работы он забрел на стройку нашего дома и остался. Неожиданно для себя он обнаружил, что ему

нравится работа с деревом, тишина, завершенка. Но столяр он был никудышный и чтобы компенсировать недостатки своей работы или, может быть, чтобы отблагодарить нас за доставленное ему удовольствие, однажды он притащил завернутую в мешковину старую прекрасную икону — доску редкого письма. Не было у него красного угла для иконы и он решил освятить ею чужой новый дом. Икона сменила хозяина равнодушно, устав смотреть на суетные дела людей. А парень, освободившись от святого бремени, неведомо как доставшегося ему, ударился снова в бега.

## Баня

Баня — это не действие, это священнодействие. С самого начала. Как только ты решил затопить печь. Огонь гудит и бьется, загодя начиная отгонять от тебя мирские заботы и подготавливая к блаженству.

Так уж повелось в нашей деревенской баньке, что первый пар доставался мужчинам. Дверь, взвизгнув, кое-как удерживалась в ржавых петлях, фиолетовые распаренные мужчины появлялись на пороге и, стараясь держаться прямо и потому боком, неверным спорым шагом устремлялись в реку. Это повторялось трижды. В последний раз дверь спокойно выпускала умиротворенных мужчин, которые не спеша переходили ко второй части священнодействия — к ужину с пирогами и водочкой.

Наступало мое время. Уже не было в бане обжигающего пара, закрывалась входная дверь — и этот черный, влажный, горячий, пахнущий березовыми вениками кусочек ночного пространства отрезался от всего остального мира и отдавался мне. Хоть до утра. Однажды моя старая мать, которая, как и все женщины, имела много поводов для беспокойства, вышла меня искать: «Доченька, ты где? еще в бане? ты там одна?»

## Дружеское участие

Промерзший за зиму деревенский нежилой дом оттаивал и плакал светлыми слезами. Влага выступала на потолке, сочилась по стенам, а печка гудела и гудела все веселее.

Мы метались, чтобы успеть все приготовить к Новому году, до которого оставалось не более двух часов. И только она сидела тихо, опираясь на посох, и глядя, вроде бы, в пол, видела все вокруг.

Она была в том возрасте, когда уже отгуляны все гулянья и пересидены все посиделки, и праздники стали походить на будни, а будни — на будни. Но жгучий интерес скрыто горел в ее слезящихся глазках-буравчиках. Назавтра, около шести утра, она снова появилась у дверей, уйдя двумя-тремя часами раньше. Стоило больших трудов встать и открыть дверь, но стук был такой настойчивый и громкий в немоте раннего утра, что пришлось встать. «Ну, слава Богу, живые. А то я лежу и мечтаю — такие молодые-красивые и все угорели», — и засеменила к своему дому, легко опираясь на посох.

## Стихия

Дом стоял над обрывом, от которого каждое лето рукотворное море слизывало кусок. Это воспринималось как стихия, да это и была стихия для хозяйки дома, бессильной что-либо изменить. Зеленые кусты картошки наполовину висели в воздухе, свисали над обрывом подсолнухи, послушно выворачивая за солнцем свои невинные желтые лики. Рушилось ее родовое хозяйство. Опустел дом хозяин по пьянке замерз в своем огороде, и только по весне она его откопала. Опустел коровник — корова сломала ногу и ее забили. Замолчал ткацкий станочек, на котором она, ее мать и ее бабка ткали половички. Зарос нетоптанной муравьей двор.

Дом стоял чистый и прибранный, готовый к своему последнему дню, и темные громадные руки женщины все чаще безработно успокаивались, сложенные на животе, под фартуком.

## Маски

Деревенские дома, занесенные по крыши снегом, курились трубами. Запах смолистых дров и сладких пирогов стлался по улицам. Всполохи электромузыки, гармони,

взвизги песен обещали праздник. Было светло от снега и радостно непонятно от чего, скорей всего, от смутного ожидания счастья в новом, наступающем году.

Когда уже пробило двенадцать и правительство от имени Бога пожелало всем долго жить, дверь распахнулась и вместе с клубами морозного воздуха в дом ввалились ряженые. В шубах, валенках и масках они были смешны до слез. Но смех оборвался, как только они сбросили маски. Под лубочными масками с надутыми щеками и глазами-дырками были такие же лица. Показалось, что это опять маски и их тоже нужно снять, и следующие, и опять послойно, до предполагаемого естества.

## Вор

От разгоряченной лошади валил пар. Она ровно бежала в облаке своего дыхания, и розвальни гладко катились по зимнику через море. Чьи-то фигуры, скрытые громадным тулупом, только угадывались в санях. Лошадь, сани, облако пара проскочили мимо. И он остался опять один в бескрайней снежной равнине. Где-то был берег, может быть, рядом, может, за километр — море сходилось с небом сразу за изгибом руки, приставленной к глазам. Он очень устал и был голоден, но обрадовался, что возница не остановился.

Дело, по которому он шел, было конфиденциальным. Он шел домой из больницы пешком через замершее море, а по пути собирался заглянуть в чужие, нежилые в зимнее время дома. На крыльце у одного стояла полная бутылка водки с запиской: «В доме водки нет». Он открыл парную тройку домов, взял кое-что, но азарта не было, наверное, болезнь давала себя знать. Пришел к себе, сбросил все награбленное в темный, грязный угол, напился, совсем ослаб, почти помер. А летом был суд, странный какой-то: все было налицо — и состав преступления, и преступник, и свидетели, и пострадавшие, не было только мотивов. Все вещи так и валялись в углу. Может, и были мотивы, наверное даже были, но развеялись в длинной зимней дороге через студеное море или в горячечном бреде в палате для туберкулезников, куда его вернули после недол-

гого отсутствия. Но суд есть суд, да и дело было плевое. Парню сменили палату на камеру.

## Хлеб

Горбушка хлеба из деревенской пекарни была вкуснее всего на свете. Донести хлеб до дома и не отломить кусочек было просто невозможно. На этом сходились все — и деревенские, и дачники. И в этом месте они сходились — в деревенском магазинчике, где продавали мыло, соль, бижутерию и по утрам хлеб. Хотя вопрос — кто имеет право покупать хлеб — только деревенские или и дачники тоже — всегда оставался открытым. Именно этот повисший вопрос заставлял дачную пацанву сплачиваться в ожидании хлеба до неразрываемого монолита. Таким клубком их и впихивали в магазинчик деревенские, когда повозка с хлебом появлялась из-за угла. Старая-престарая коняга-тяжеловоз с венозными ногами и лысой спиной так легко катила повозку, что казалось, в ней был лишь аромат только что выпеченного хлеба.

Наконец, хлеб появлялся под руками продавца и, о счастье, он доставался тебе. Две булки в руки. Самое главное, чтоб никто из привилегированных не перехватил твои две булки. О горе, если глядя прямо тебе в глаза и придерживая несколько оставшихся булок, продавец говорил:

«Все, хлеба нет, кончился». Значит, не повезло сегодня. Может, завтра повезет. Ты же не то, что голодный, нет, ты не голодный, в просто позарез хочешь эту теплую, хрустящую, такую вкусную хлебную корку.

## Мастерство

Хлеб в доме всегда пекла ее бабка. Оставалось загадкой, как она могла вымесить такую тяжелую квашню. Ее тонкие веснушчатые руки со скрюченными пальцами сновали над тестом, и оно благодарно вздыхало в ответ. Давно уж нет в живых ни бабки, ни матери, ни отчего дома. Теперь на всю деревню хлеб пекла эта маленькая усталая женщина. Что-то заставляло ее вставать в четыре утра, бежать в пекарню, вымешивать вручную чан с пузырящимся тестом, раскла-

дывать по формам, печь, а вечером закладывать новую квашню, и так изо дня в день, зимой и летом. У нее не было сменщиков, некому было передать искусство. Оно умирало за ненужностью. Ее хлеб любили, но зато городской продавали почти без ограничений и им можно было кормить скотину. Не зазорно было кормить скотину. Известно же, что лучшее не всегда хорошее.

Так и жила эта усталая маленькая женщина, не принадлежа себе ни днем, ни ночью, творя чудо, которым распоряжались другие. Хотя с чудесами всегда именно так и получается.

## Почтарша

— Дома есть кто?.. Ну, слава богу, а то вам телеграмма... Не поняли? Мы тоже не поняли. Всей почтой читали и не поняли.

— А как же приняли?

— Что нам продиктовали, то и приняли. На той почте тоже не поняли.

Почтарша терпеливо стоит за моим левым плечом и дышит мне в ухо, стараясь прочесть свою же запись. Она привыкла к тому, что должна знать все про всех — кто с кем воюет во внешнем мире, кто женится-расходится в ее деревне, все про всех. Это был тот счастливый случай, когда работа доставляла удовольствие. Как от кино, даже сильнее. Потому что то, что не передано ей словами по служебному телефону, она вольна додумывать и варьировать, складывая в уме многосерийный детектив. Этот детектив завлекал ее все дальше и дальше, пока она разносила тонны исписанной бумаги по длинным деревенским улицам, утопая в снегу зимой и плавясь под палящим солнцем летом.

## Телефон

Телефонная будка без единого окна, без единой лампочки, с дверью наперекосяк стояла рядом с почтой. Деревенская почта закрывалась в четыре. И только ниточка — телефон и привязанная к ней девушка из АТС соединяли с

миром. Стены будки были на много слоев исписаны телефонными номерами, а телефон АТС был чьим-то заботливым ножичком вырезан прямо на аппарате.

Крылечко почты блестело половицами, отполированными задами ожидающих. Ждать приходилось часами. На то и чудо, чтоб его ждать. Вот уж и коровье стадо проплыло мимо, обдавая запахом молока и леса. Отбрыкали подоюнками хозяйки. Нарядная молодежь, лузгая семечки, собралась в клубе. Село солнце. Упал ветер,

О, телефон ожил! Ожил и сказал бесцветным женским голосом: «Ждите...»

Конечно буду...

Понемногу загораются звезды, успешно борясь с по-лыхающим закатом. Конечно, жду. Что же еще остается делать?

## Ветеран

Батальон оказался отрезанным от своих. К своим был только один путь — по глубокой и узкой долине. Наверху — враг. Было принято решение идти ночью, тайно. Все, что могло скрипеть, греметь, скрежетать, было привязано, обвязано, приторочено. Лошадиные копыта были обмотаны портянками. Личные пайки табака были спрятаны в дальние карманы, чтобы ненароком не закурить. Ночь была черной. Строй медленно втягивался в долину. Висела жуткая тишина. И когда ухо уже стало привыкать к ней, взорвался выстрел, затем еще, еще — и шквал. Батальон расстреляли почти в упор, сверху. Он так и не принял боя. В живых осталось человек пятнадцать-двадцать. Тот, кого я знаю, прожил потом долгую жизнь и уже сильно пожилым человеком, через сорок лет, в День Победы решил поехать на эти места. Нашел свой камень, под который упал в самом начале боя, а нападавшие сверху тела защитили его. Камень..., рядом скелеты... И тут он увидел, что скелеты везде, на земле, на камнях, везде. Вот где смерть и воронье попиروвали. Никто за сорок лет ни разу не помешал им. И теперь уж не помешает.

## Преступление

Изуродованное тело лежало на железнодорожном полотне недалеко от виадука. Последний раз он вышел из дома вчера поздно вечером с парнями. Среди них были и его деревенские дружки. С точки зрения судей прямых улик убийства не было. Вся деревня знала, кто виновен, но никто их не спрашивал. Родители виновных явно откупились. Как только окончилось следствие, все замешанные в этой кровавой истории постарались разъехаться — разбежаться в разные уголки страны.

Анатолий уехал в маленький сибирский городок и поступил в звероводческий техникум. Учился он отлично и был большим общественником. Как отличника, его послали сопровождать партию мехов на международный аукцион в Москву. Он постарался сделать все, чтобы там остаться, предварительно заручившись различными рекомендациями. У него была прекрасная биография: родители — колхозники, он — комсомолец, и протезе появилось вовремя. Он познакомился с дочкой генерала. Она с удовольствием учила его светским манерам. Он ее тоже аккуратно чему-то учил. Папа порекомендовал его, где надо, как дельного парня. Анатолий должен был сначала поработать в Органах, а потом, если все будет в порядке, он может быть зачислен в институт международных отношений на отделение торговли пушниной. Все складывалось отлично для парня. Он научился и ему очень нравилось красиво и со вкусом одеваться, причесываться, делать маникюр. Больше всего, он уделял внимание рукам и ногтям. Больше всего — рукам и ногтям. Казалось, он отмывает их.

## Врач

Она изболелась и умерла дождливым августом. Кладбище было недалеко, но деревенский возница, в недавнем прошлом городской житель, не знал, где оно, и мы шли за гробом медленно и долго, по длинной дороге. Шли и шли, пока не пришли к свежевыкопанной могиле. Дождь слизывал слезы.

Поминки — обычай, который свято соблюдается, особен-



но, в деревнях, оказались совсем не лишними. И водка, и котлеты, и блины. При всей горечи события все ели много и с аппетитом, да и еда была вкусной и жирной. И мясо, и мука, и сахар по каким-то баснословно низким расценкам были куплены в совхозном распределителе, двери которого открылись для родственников покойной лишь однажды, как ворота в сезамову сокровищницу. И почему они открылись для них, пусть даже только однажды? А для кого, вообще, эти сокровища? Этого никто не знал наверняка.

Да и что спрашивать, хозяин — барин, кого хочет, того и отоварит. И никто ему не указ. Жалко стало ему старую женщину, проработавшую пятьдесят лет детским врачом и не заработавшую себе даже на приличные поминки, вот и дал мяса. Не пожалел бы — не дал. И никто не указ.

### **Бензозаправка**

Он был больше, чем царь, как больше, чем царь, вахтер на входе в женское общежитие. Он работал на ведомственной бензозаправке в леспромхозе, единственной бензозаправке на всю лесную округу в тысячи квадратных километров. Он мог менять бензин на деньги, на спирт, на услуги. Конечно, втихую, не всенародно, чем еще больше разжигал страсти и набивал себе цену. В конце концов, он исправлял государственный недогляд, как умел, проявляя личную инициативу, которая, естественно, чего-то да стоит. Как всякий «честный» на дефиците, он стоил дорого. Его можно было понять, ведь им тоже придется платить.

Да что деньги — вода, пришли — ушли, впрочем, как и бензин. Смотреть, как мучается личник, пытаюсь вытащить из кювета мертвую машину. Предвкушать его мольбы, заискивания, обещания. Чувствовать свою власть. Миг власти — вот истинное золото.

### **Афган**

У него было все, как надо — кроссовки, джинсы, кассетник, мотоцикл «Ява», машина у отца. Девчонка была, хотя он не очень-то и добивался ее. Больше всего ему жалко было оставлять «Яву». И когда он, уже побритый наголо, одетый

в тропическую солдатскую форму, сидел в поезде Ташкент-Термез, почему-то все время лезло в голову, что он забыл укрыть мотоцикл каким-нибудь теплым чехлом.

Пошли солдатские будни. Где свои — это было понятно. Где враги — совсем нет. Они могли быть за каждым камнем, и за каждый камень надо было сражаться насмерть. Сражаться за каждую деревню, где и мужчин-то не было, а только женщины и дети. Сначала было страшно, потом привык как-то. Даже «акции отмщения» перестали пугать.

Ему повезло. За два года он не был ранен, вернулся домой. Но тишина в доме пугала его. Особенно, ночами. Стоило заснуть, как лезло в голову, что он бежит, бежит за босоногой девчонкой в драной чадре, догоняет, валит, а она просит, плачет, целует ему сапоги, а он ничего не слышит, берет ее еще и еще и вдруг видит ее громадные полные слез ненавидящие глаза.

## КТО ЗВОНИЛ В КОЛОКОЛ

В Москве, в издательстве "Весть", под редакцией Наталии Белинковой-Яблоковой вышел литературно-публицистический сборник "Новый колокол". Первое его издание было выпущено в 1972 году

Идея создания "Нового колокола" родилась на международной конференции по цензуре в 1970 г. в Лондоне. "Колокол" в названии символизировал вольную русскую печать за пределами родной страны; "Лондон" на обложке как бы продолжал герценовскую традицию.

"Новый колокол" выдержал испытание временем. Важнейшими публикациями сборника являются статья Аркадия Белинкова "Страна рабов, страна господ". Литературная часть "Нового колокола" представлена писателями, занявшими свое видное место в истории современной литературы.

Мих. Демин напечатал в сборнике два рассказа, впоследствии вошедшие в нашумевший роман "Блатной".

Юрий Кротков в комедии "Наполеон и Акула" показал, как КГБ шантажировало иностранных дипломатов.

Анатолий Кузнецов поместил в "Новом колоколе" главу из неопубликованного романа "Тейч Файв", который можно поставить в один ряд с антиутопиями Оруэлла и Замятина.

Алла Кторовая, известная романами "Лицо Жар-птицы" и "Мелкий жемчуг", выступила с рассказом "Нежный гад".

Член редакции "Нового колокола" Эдуард Штейн написал интересные воспоминания о встрече в польской тюрьме с Эрихом Кохом.

Аркадий Белинков в сборнике представлен не только как выдающийся публицист, но и как прозаик, автор автобиографического рассказа "Побег", в котором реальные факты перемешаны с вымыслом.

Крупнейший политический деятель Милован Джилас, автор "Нового класса" подарил "Новому колоколу" уникальный по своим художественным качествам рассказ "Засада".

В разделе публицистики выступили известный журналист Леонид Владимиров, деятель пражской весны Иван Свитак, один из создателей Комитета освобождения русских евреев писатель Юлий Марголин и другие.

Сборник "Новый колокол" можно приобрести в магазине "Глобус" 332 Balboa street, San Francisco, Ca 94118.

ПОЭЗИЯ



Лариса МИЛЛЕР

## ВСЕ ТОЧКИ — ГОРЯЧИЕ И БОЛЕВЫЕ

Глаголом жгли сердца людей,  
Все жгли, да жгли, да прижигали.  
Черновики, что нынче в ЦГАЛИ,  
Хранят следы борьбы идей,  
Словес, что выдал на-гора  
Писатель: пламя в каждом слоге.  
Читатель получил ожоги  
От раскаленного пера.  
Армада слов, идей таран,  
Глагол ярился в сердце самом...  
Остынь, глагол, и стань бальзамом  
Сердца врачующим от ран.

Янв. 95

В краю, где цветы хороши полевые,  
 Все точки — горячие и болевые.  
 В краю, где светло среди светлых берез,  
 Все темы больные и каждый вопрос.  
 И вместо дороги, что выведет к храму, —  
 Дорога, ведущая в черную яму,  
 И нету ни мига такого, ни дня,  
 Чтоб в полымя ты не попал из огня.  
*Янв. 95*

Все дорого нынче, а жизнь дешева.  
 И трачусь, и трачусь, покуда жива.  
 Билет покупаю, в театр иду,  
 Сижу там в каком-то неблизком ряду,  
 В бинокль слежу за актерской игрой,  
 Гляжу, как пытается выжить герой.  
 А жить, что по минному полю идти —  
 Шагнул в неизвестность — и жизнью плати.  
*Янв. 95*

Прости, о Господи, о Господи, прости  
 За то, что хочется подальше уползти  
 Из края отчего, в котором вечный мрак.  
 И в нем немислимо, и врозь нельзя никак.  
 Прости, о Господи, что я при свете дня,  
 Который должен быть подарком для меня,  
 Как в темноте, как в полной темени кружу  
 И даже проблеска нигде не нахожу.  
*Янв. 95*

Когда мы будем глухи, немые,  
 И знать не будем кто мы, где мы,  
 И день какой бежит за днем, —  
 Тогда-то мы и отдохнем  
 И даже небеса в алмазах  
 Увидим. Впрочем, в этих фразах  
 Нужды не будет никакой,  
 Когда наступит ТОТ покой.  
*Янв. 95*

Года друг друга неустанно  
 Сменяют — анно, анно, анно,  
 А им во след — «куда, куда  
 Куда», — летит. «О да, о да,  
 О да», — насмешливое эхо  
 Твердит. А нам и не до смеха,  
 Когда летит всему во след  
 «О да», сходящее на нет.  
*Янв. 95*

Если память жива, если память жива,  
 То на мамином платье светлы кружева,  
 И магнолия в рыжих ее волосах,  
 И минувшее время на хрупких часах.  
 Меж холмами и морем летят поезда,  
 В южном небе вечернем пылает звезда,  
 Возле пенистой кромки под самой звездой  
 Я стою рядом с мамой моей молодой.  
*Июль 1994*

Стремится жизнь моя к нулю,  
 Велю ей подождать,  
 Пока потоком слов залью  
 Всю эту благодать.

Стремится жизнь моя к концу,  
 Стремится в никуда,  
 Пока стекает по лицу  
 Небесная вода.

На белый лист текут слова,  
 Туда же дождик льет,  
 Смывая все, чем я жива,  
 О чем душа поет.  
*Авг, 94*

И это кончится лишь тем...  
 А впрочем, не касаясь тем  
 Банальных и осточертевших,  
 Коснемся листьев пожелтевших,  
 Чей путь последний тих и нем.

А мой вседневный путь, а мой  
 Из дома путь или домой  
 Усыпан шелухой словесной,  
 Словесной грудой бестелесной,  
 Над коей кружит лист немой.

Давным-давно поняв тщету  
 Словесных игр, мне б «с'est tout»  
 Сказать, как говорят французы,  
 А я ловлю намеки музыки,  
 Как эти листья, на лету.  
*Сент. 94*

На дворе — метелица,  
 Снег под ноги стелется  
 Каждый Божий день.  
 На планете селятся  
 Все, кому не лень.  
 И шумят и движутся,  
 И все время пыжятся  
 Что-то доказать  
 Старое, как ижица  
 Или буква ять.

Все давно говорено,  
 Сказано, повторено,  
 Но бела земля,  
 И на ней позволено  
 Начинать с нуля.  
*Ноябрь, 1994*

Живем себе, не ведаем  
 В какую пропасть следуем,  
 И в середине дня  
 Сидим себе, обедаем,  
 Тарелками звеня.

И правильно, без паники,  
 Ведь мы не на «Титанике».  
 А значит, время есть  
 И чай допить и пряники  
 Медовые доесть.  
*Ноябрь, 1994*

Наливаю в вазу воду,  
 Опускаю три гвоздики  
 ...Забрела, не зная броду,  
 В мир чарующий и дикий.  
 И, прожив здесь полстолетья,  
 Убедилась — брода нету...  
 Дождь опутал частой сетью  
 Эту странную планету,  
 Где бесчисленны загадки  
 Силы Божьей и бесовской,  
 Где лежат мои закладки  
 В толстой книге философской.  
*Май, 1994*

О юность, утренний озноб,  
 Когда еще ничто не поздно,  
 Когда влюбляешься так грозно —  
 Навеки, по уши, по гроб,

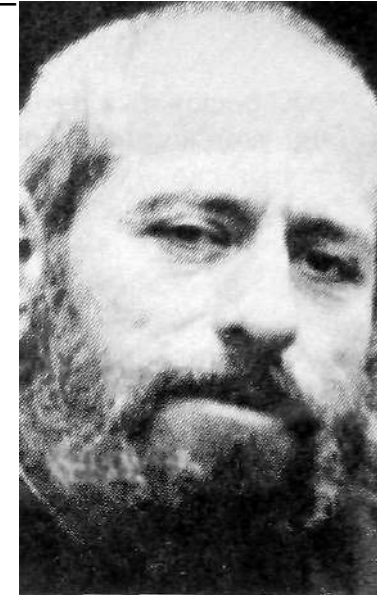
О юность, летняя гроза,  
 Твой пыл и ливнем не остудишь,  
 Ты обо всем так лихо судишь,  
 Не понимая ни аза.

О юность, ночь твоя бела,  
И твой восторг — почти мученье,  
И не кончается свеченье  
Сирени той, что отцвела.

*Янв. 1994*

Белый день за белым днем,  
Ночи черная копирка.  
Что ни слово, в тексте — дырка.  
Я прожгла ее огнем,  
Жаром собственной души,  
Говоря высокопарно.  
Перекрестно и попарно  
Все рифмуется в тиши.  
Отрешенность со тщетою,  
Строгость мысли с заморочкой  
Разделяются не точкой,  
А всего лишь запятой.  
И на что она годна —  
Ткань словесная, сквозная,  
Сквозь которую иная,  
Бессловесная видна?  
*Июнь 1994*

Зачем-то сна себя лишая,  
задачку вечную решаю:  
В мгновенье X из пункта A  
Мы отправляемся куда?  
Чего хотим? И кто мы, где мы?  
Никак не съеду с этой темы...  
Сияют звездочки во тьме.  
Словцо пишу, а два — в уме.  
Еще словцо, еще немного...  
Не отвлекайте, ради Бога.  
Луна огромная в лицо  
Мне глянула. Еще словцо.  
И так до самого рассвета,  
До лета, до зимы, до лета,  
Не хватит лета и зимы —  
Возьму у вечности займы.  
*Авг. 94*



*Альберт ЛЕЙН*

## ЭЛЕКТРИЧКИ НАДЕЖД

\* \* \*

Дня затихающий стон,  
Звездные в небе посевы,  
Черные свечи ворон  
Вечер клюют на деревьях.

Льется мороза вино  
В месяца ковш раскаленный.  
И тишина для влюбленных  
Тихо звенит за окном.

Падает медленно снег.  
И фонари, запорошась,  
Будто гуляют во сне  
По белолиственной роще.

Розы раскрытый бутон —  
 Год, уходящий в забвенье.  
 Черные свечи ворон  
 Гаснут на белых деревьях.  
 1994

\* \* \*

Уходит пора листопадова,  
 Озябли в тумане дожди,  
 Кукушка устала загадывать:  
 Какая судьба впереди.

Одетый в нахмуренность сумерек  
 Простор полинявший небес,  
 В последней агонии судорог  
 Листва обанкротила лес.

Деревья спешат расступиться,  
 Давая свободу ветрам,  
 Домишек заплаканы лица.  
 Разбредшиеся по холмам.

И вороны в траурных фраках,  
 Не пуганные на полях,  
 И где-то залает собака,  
 Глотая свой собственный страх.

За нею залает другая,  
 И жутью омоется слух.  
 Забытая всеми Богами,  
 Заплачет озябшая глушь.  
 1994

\* \* \*

Струится свет из крана фонарей  
 На белую задумчивость природы,  
 Луна лежит на сахаре сугробов,  
 Пристегнутая ветрами к горе.

Пылает одинокая звезда  
 Пугающе до жути и торжественна,  
 Божественная, яркая, рождественская,  
 Зажженная в заоблачности льдах.

Туманы, будто исповедь души  
 Холодного хрустящего заснежья,  
 Одеты горы в белые одежды,  
 Молчанием ущелья распушив.

И щеки обжигает зимний хмель,  
 Когда огне вихрастые метели,  
 Застывшие над крышами отелей,  
 Сугробами склоняются к земле.  
 1994

\* \* \*

Мы с тобой одиночеств семья  
 Под единою крышею дома,  
 Часто — будто мы в ссоре друзья,  
 Мир привычный вдруг стал незнакомым.

Мы не ждали подачек чудес,  
 Просто в смутном труде ожиданий  
 Мы к вокзалу совсем опоздали,  
 Где стоят электрички надежд.

И путями обиды и лжи,  
 Светофорами непониманья  
 Ходят ветры дыханий чужих  
 Над вагоном забытым вниманьем.

Не ударивший сильный замах,  
 От стены штукатурки обломок...  
 Видно что-то забыла зима  
 У застегнутой двери из дома.  
 1994

\* \* \*

Ночь за окном,  
Времени — ноль.  
Месяца моль  
Села на дом.

В россыпи крыш  
Звезды блестят,  
Сонная тишь,  
Будто в гостях.

Спит суета  
В грусти по грудь.  
И пустота  
Смотрит вокруг.  
1994

\* \* \*

Щелчок, опять осечка,  
Мгновенье унеслось,  
Лет оплывает свечка,  
В агонии тепло.

Воск тает, тает, тает  
В забвенье, в небытье,  
И нам напоминает —  
Кончается бытье.

Успехи, неудачи,  
Задумчивость любви —  
Уходят тихо плача  
В оконченность судьбы.

И в грусть одетый вечер,  
Как проводы надежд,  
Лет оплывает свечка,  
Воск разбросав одежд.  
1994

\* \* \*

Журавли улетели встреч,  
Журавли прилетели разлук...  
Мы сидим в умираньи свеч  
В самом темном земли углу.

Тусклый свет растирает мглу  
Незнакомую дрожью плеч,  
Не умел я тебя сберечь,  
Забегая дороги злу.

За окном тишина в снегу,  
Будто холод желанных губ.

И чужбины-зимы сугроб  
Под тревожным зрачком луны,  
Неисправленностью строк  
Ощущенье всегда вины.  
1994

\* \* \*

В сутках нету места передышке:  
Все спешим, бежим, бежим, бежим...  
Почему бессонницей Всевышний  
Исповедуешь мою ты жизнь?

Головастый месяц новой болью  
Прыгнул ослепительно в глаза,  
Вечер зимний, будто пьяный голый  
Звезды на снегу облобызал.

Снов коротких взрывчатые брызги  
Тяжестью поникнут головы,  
Мысли-крысы всю мечту обгрызли,  
Отдыха стрекоз переловив.

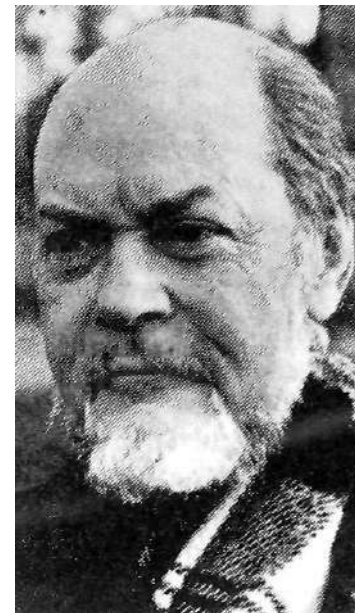
Я зову, но ты меня не слышишь  
Сквозь бетонность дальше, этажи...  
В сутках нету места передышке:  
Все спешим, бежим, бежим, бежим.  
1994

\* \* \*

В зелени моря листьев  
Тихих смиренных деревьев  
Пена сирени, как выстрел,  
В мая живой игре.

Как запоздавшие почести,  
Белый пожар аллеи,  
Там, где каштанам хочется  
Сдаться в весенний плен.

В разнообразии гомона  
Гостеприимный лес,  
Солнце веселым омутом  
Воду кружит небес.  
1994



Лев АННИНСКИЙ

## МЕНЯЕТСЯ ТВОЯ ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА

Недавно академик Дмитрий Лихачев напомнил нам всем завет академика Николая Вавилова: Россия — страна северная, и из этого надо исходить во всех самооценках.

Великий филолог вспомнил великого ботаника в связи с тем, что от нас отвалилась Средняя Азия, то есть «юг», и мы освободились от бремени его «опекать». Опекать «запад» нам тоже никак невозможно: мы без конца сами просим у него помощи. И «восток» не очень-то поопекаешь, уже хотя бы потому, что не вполне ясно, где он теперь: там, где Курилы? Или поближе: там, где татары и башкиры?

«Меняется твоя таинственная карта...»

Не рискну спорить с двумя академиками, а только брошу прощальный взгляд...

\* \* \*

### Споры о Чечне

«РОССИИ НУЖНА ТЕРРИТОРИЯ ЧЕЧНИ. НО... НЕ НУЖЕН ЧЕЧЕНСКИЙ НАРОД».



Этот крупно набранный заголовок расшифровывается так:  
*«... Нужна нефть, другие полезные ископаемые, горы, земля, но только не люди, которые живут на этой земле...»*

Невозможно отвлечься от страшных обстоятельств, в которых написаны эти строки: они появились в «Общей газете» под грохот штурма Грозного. В такой ситуации вообще ни о чем не думаешь, кроме как о том, как немедленно прекратить все это: кровь, бомбежки, пожары, взаимные обвинения, ложь с обеих сторон. Но рано или поздно о причинах все же думать придется. И вникать в доводы сторон.

Я хочу вникнуть в доводы Бориса Агапова, чье рассуждение процитировал выше. Интересны и вызывают к спору именно принципиальные доводы, потому что непосредственные его чувства я совершенно разделяю. И насчет нашей доли вины согласен. У «нас» в варварских средствах тонут любые цели. Побочный эффект начисто перешибает первоначальные намерения. В итоге получается то, чего никто не хотел.

Но о том, чего мы хотим, все-таки подумать надо. О цели.

Цель — целостность. Единство страны. Неделимость России. Нарочно беру самые одиозные формулировки: хочешь — не хочешь, в под ними есть реальность. Вопрос: какая? И как к ней относиться?

Борис Агапов пишет: «Руководство нашего государства воспринимает проблему целостности России исключительно в плане территориальном. А ведь на самом-то деле куда больше следовало бы печься о целостности иного плана — национальной».

Давайте представим себе это попечение практически. Что такое национальная целостность России? Каким образом вы ее достигнете? Вы знаете, как это делается? Что такое этническая чистка, пробовали? Вы это предлагаете России?

Борис Агапов — вице-президент Республики Ингушетия, генерал-лейтенант советской (так?) армии в отставке, — он себя к какой «национальной целостности» отнесет? К русской? К ингушской? К какой-нибудь смешанной? А то, что Россия — по составу, по количеству смешанного населения, да наконец «по замыслу божьему» и есть именно такое смешение — содружество — соединение национальностей,

— с этим как быть? Неужели миллионы людей, несколько столетий уже живущих в таком государстве, так легко позволят разрезать его на национальные целостности? — даже если руководство разных регионов и уровней продолжит об этом печься? Я понимаю, что безумства хватит с обеих сторон, но ведь и разум у людей за всеми этими безумствами существует, и он все равно скажется, хотим мы того или не хотим.

— А мы именно не хотим, — говорит Б. Агапов от имени ингушей. И дальше перечисляет: «якуты, тувинцы, татары, башкиры, евреи... все они прекрасно понимают, что не сегодня — завтра на месте чеченцев могут оказаться они».

Но почему «на этом месте» оказались чеченцы?

Ответ: потому что они не любят эту страну (то есть «нашу страну»).

Теперь вслушаемся в доводы.

«Почему они должны любить эту страну, которой нет ровным счетом никакого дела до их бед, до их печали, до их боли?..»

Они, чеченцы, рассуждают так: «Зачем нам идти к вам, в Россию? В нищую, голодную, забывшую о том, что такое — права человека, погрязшую в преступности? Наведите у себя порядок, постройте здоровое, правовое государство, и тогда никому не придется принуждать нас вернуться в Россию. Мы вернемся сами».

Выделяю главное: вы наведите у себя порядок, тогда мы к вам вернемся. То есть, Россия — не общий дом, который должны строить все вместе, не союз, в который вкладывают и от которого получают все создающие его народы, а раздельная кормушка, в которую можно прийти, если «вы» ее «нам» обустроите.

Значит, если мы ее не обустроим, вы не придете? А может, все-таки придете? И даже без приглашения? Если приспичит подкормиться?

Я отвлекусь ненадолго от статьи Бориса Агапова и обращусь к другой статье — Ирины Дементьевой, в «Известиях» от 17-го того же злополучного января, и озаглавленной так же рельефно: «Хотят ли русские Чечни».

Я хочу связать следующие два рассуждения.

Первое: да отпустите их на все четыре стороны! Не хотят с нами жить — не надо! *«Вот уже три года ему (рядовому чеченцу Л.А.) говорят, что он бандит, что его родина — скопище бандформирований и отстойник всяческой преступности. С какой надеждой и благодарностью, верно, он прислушивается сегодня к словам Солженицына, предлагающего России отречься от Чечни: правильно, оставьте, оставьте, оставьте нас в нашем «отстойнике», живите сами в своей Москве...»*

Второе рассуждение И. Дементьевой:

*«Трудоизбыточность региона (Чечни — Л. А) всегда побуждала его жителей рассчитывать не столько на государство, сколько на самих себя, и едва ли не каждая чеченская семья, чтобы достойно прокормиться, одеться, построить дом, ежегодно отправляла кормильца и старших сыновей в Россию на заработки...»*

Я не прошу вас, уважаемый читатель, оценивать верность каждого из этих утверждений, я прошу только одного: свяжите одно с другим.

Если мы окажемся в своих «отстойниках»: мы «в своей Москве, они — в своей Чечне — означает ли это, что каждая чеченская семья будет и впредь отправлять сыновей в Россию на заработки? И что такое в данном контексте — «заработки»?

Как-то на Би-би-си был Круглый стол, посвященный северо-кавказским проблемам; там эксперты-историки употребляли другое слово: «набег». Причем, без всякого осуждения: мол, условия жизни горцев таковы, что они экономически никогда и не могли замкнуться в своих горах, и потому, естественно, «бегали» к жителям долин. Природа!

Хочется спросить: а «жители долин», к которым «бегают» такие гости, имеют ли естественное право как-то к этому относиться? Или, из уважения к естественности таких набегов надо благословлять их как сезонные дожди?

Если (вопрос к И. Дементьевой) Россия оставит Чечню в покое, а Чечня, соответственно, оставит в покое Россию, —

куда отправятся «на заработки» кормильцы и старшие сыновья из чеченских семей? В Анкару? В Тегеран? В Тбилиси, в Баку, в Ереван? И жители этих долин успеют обустроить свои «отстойники», чтобы бегающим на заработки гостям там понравилось? Наведут у себя порядок, чтобы те охотнее приходили сами?

О, я отдаю себе отчет в том, что у нас в России «наведение порядка» по интеллигентской традиции давно уже воспринимается только в пришибеевском духе. Между тем, и дух ведь дышит, где хочет. Гордый горец ходит с оружием. Это — ментальность. Но и негодный русский терпеливец, доведенный до края, берется за топор, и это тоже ментальность, извините.

Лучше обойтись без топора? Конечно. И без кинжала? Кто спорит! Но как это «обеспечить»? Может, все-таки общий порядок лучше, чем порядок явочный, кончающийся снайперскими засадами и «точечными» бомбежками? Может быть, все-таки это порядок, и нормальный порядок, когда выходец из горского селения становится спикером Российского парламента, а если перестает им быть, то не потому, что он горец, а по другим причинам. И этот же горец волен потом выбрать: возвращаться ли ему в родной юрт или продолжить профессорскую работу в московском институте. Это все-таки порядок: когда горец может стать генералом советской (то есть российской армии). Может стать генералом, может — президентом или вице-президентом, — он может все, если останется в пределах общего порядка.

Может, конечно, и вооружиться против этого порядка. Но тогда и порядок вооружится: вызов на вызов. И дальше — слезы горькие. А вы, что же, не знали, что мы — страна варварская? Господа генералы и господа президенты, уважаемые силовые начальники, вы не знали, что на всякую демонстрацию силы находится другая сила, и конца этому не будет, пока не сойдутся разум с разумом? А если делать по разуму, то тогда это уже не «наша территория — ваша территория», тогда это уже «общая территория», на которой учитывается все. В том числе и менталитет народов, где каждый мужчина носит кинжал. Но не установку «Град». И

ездит верхом. Но не в танке. Танк — это уже средство передвижения на все четыре стороны.

Четыре — не так уж много, чтобы не рассчитать последствий. От одной, северной, отгораживаемся — остаются три. И ведь нигде не ждут, нигде не спешат навести порядок, в который надо вписываться.

Впрочем, все это действительно общие материи, от рассудка, а по-человечески-то: через себя не переступишь... Что в статье Бориса Агапова действительно сильно, — так это представление о России как о нищей, голодной, погрязшей в преступности стране.

Я не хочу сейчас спорить, таковы или не таковы мы в реальности. Даже если не таковы, — п р е д с т а в л е н и е о русских, здесь выраженное, — тоже реальность. Надо признать: мы даем к тому некоторые основания, даже если характеристики и усугублены. Есть только один путь россиянам решать неразрешимые проблемы: меняться к лучшему. Не для того, чтобы понравиться «якутам, тувинцам, башкирам и евреям». А чтобы понравиться самим себе. Это неизмеримо труднее.

Может быть, еще и потому, что дело-то вовсе не только в тех гримасах русского менталитета, о которых кричим и мы, и весь мир (пьем, врем, не даем друг другу работать и т.д.). Дело еще и в фатальной исторической усталости, накопившейся в центральных структурах за века напряжения. Аналогии невеселые. Пока Рим был в силе, окружающие его народы (то есть люди) охотно почитали себя его гражданами; когда движение к центру и через центр на мировой форум застопорилось, — граждане, особенно в провинциях империи, обнаружили, что они — «народы». Ответить на это нечего: имперская власть никогда по определению не бывает национальной, она всегда — мировая, вселенская, универсальная. Теряет она это качество — и распадаются граждане на «народы», на языки, племена, нации.

Вот и мы сейчас ощущаем что-то вроде закупорки центральных сосудов. «Мы» — не в том смысле, что русские, а в том, что это может сказать о себе любой российский (еще недавно советский) гражданин, привыкший через «центр»

чувствовать себя в контексте мировой культуры. Горько, что потеряно это ощущение.

Однако не здесь, так в другом месте «центр» все равно определится. Такие центры неизбежно возникают в ходе решения объединяющих задач, усилиями м н о г и х народов, на территории какой-нибудь общей «единой-неделимой» долины, в которую с гор сначала «бегают», а потом на полном законном основании «спускаются» граждане, считающие, что это — «наше государство».

«Наше государство» — слова Бориса Агапова. Оговорился он, что ли? Господин вице-президент, товарищ генерал-лейтенант в отставке! Если оно «наше», то порядок надо наводить вместе. Разумеется, России территория Чечни нужна. В такой же степени, в какой Чечне нужна территория России, с ее городами, университетами, институтами, академиями, консерваториями и прочими «отстойниками» культуры. И народы друг другу нужны. Хотя бы затем, чтобы воин, охранявший общую территорию (Борис Агапов был генералом погранвойск) имел бы право и возможность возглавить на этой общей территории ту республику, которая его на эту роль изберет.

Только не садитесь в танк и не объявляйте суверенитет явочным порядком. Это самый долгий путь, и, боюсь, не в разумно избранную сторону, а именно — на все четыре стороны, то есть куда придется.

## Восток

Конечно, я не охвачу объема события, и возможно, не ухвачу главного его элемента. Потому что замысел всеобъемлющ, а в пестром наборе элементов главным кажется все. Фестиваль — Б а ж о в с к и й . Бажов — имя для Урала эмблематическое, Урал же мыслится в данном случае не только как «опорный край Державы», но и как Центр грядущего возрождения России: недаром же к челябинцам, начавшим это дело, присоединились свердловчане, и над праздником простер свое покровительство Всероссийский Фонд Культуры. Затем, фестиваль — м е ж д у н а р о д н ы й (Бажов, между прочим, работал и в Казахстане); естественно, сопокровителями праздника, помимо казахов, выступили с востока баш-

киры и узбеки. Включились и немцы, правда, не заграничные, а местные, но лиха беда начало. Ибо фестиваль этот — тот, на который я был приглашен в качестве гостя, — третий. Начало имеет продолжение.

«Третий Международный Бажовский Фестиваль» — это уже традиция. И так, в семидесяти пяти километрах от Челябинска, близ Миасса, на берегу озера Чебаркуль (что по-башкирски означает «пестрое») в окрестностях Базы отдыха завода «Станкомаш» (что это означает, я интересоваться не стал), нашли большое поле. Соорудили эстраду под синим небом. Возвели статую Хозяйки Медной Горы. Поставили камень с Рериховским знаком.

Россыпь туристских палаток, занявших окружающее пространство, засвидетельствовала генетическую связь бажовцев со знаменитыми Грушинскими праздниками самодетельной песни. Развешанные там и сям плакаты напомнили о другом преемстве: бажовцы возводят свое родословие к Всемирному Фестивалю молодежи и студентов в Москве 1957 года: именно тогда «пали первые преграды». Но самым потрясающим элементом генеалогии бажовцев показалось мне то, что было запечатлено в полной юмора надписи над дверями одного из павильонов: «Уральский Римский Клуб».

Смех смехом, а замысел серьезный: подхватить глобальную проблематику Римского Клуба. Так что пока на эстраде идет безостановочный «гала-концерт национальных фольклорных коллективов стран СНГ», а в Городе мастеров — выставка-продажа самоцветов, кружев, свистков, шалей, книг и бутылок с кумысом, а в небе — десант парашютистов с флагами, а на лужайках — состязания лучников и батыров, а в кинозале — ретроспектива фильмов об Урале, — в это самое время в Клубе проясняется грядущая судьба Евразии: под эгидой Бажовской Академии Сокровенных Знаний обсуждаются пути России.

Я, конечно, остановился бы на этом подробнее. Мне очень интересно: может или не может Велесова Книга быть принята как идейная база нового русского единения, более надежная, чем православие, но это потребовало бы большей печатной площади. Главное же вот что: прежде, чем

выбирать, в какие формы должно отлиться чаемое единство, надо ощутить его содержание, надо почувствовать, есть ли чему отливаться. Сейчас это вопрос вопросов: в центре России должна обозначить себя духовная энергия (Лев Гумилев сказал бы: пассионарная), которая могла бы зажечь сердца. Иными словами: или россияне иссякнут, жалуюсь на то, что «рожать некому» и «не от кого», и не придет ли кто нас пожалеть и купить или люди, рождающиеся «от любых чресел», захотят стать россиянами и имистанут... но для этого культура, идущая издревле, должна соединиться с энергией, рождающейся сегодня.

Признаюсь, что по части второго условия я поначалу впал у Пестрого озера в некоторую печаль. Представьте себе: жара (праздник происходит в конце июня), и под палящим солнцем лужайка перед эстрадой — пуста. Может, люди залегли в палатки, может полезли в озеро, но перед эстрадой — никого. Концерт идет полным ходом. Вывалившись из евразийской избы, я замираю от неловкости: башкирские девушки на сцене танцуют перед... пустым пространством.

Аплодисменты в конце номера возвращают мне определенное равновесие, и я ищу, где зрители. Оказывается, они, укрывшись от жары, лежат под ближайшими кустами и оттуда темпераментно приветствуют артистов.

Спрашиваю у организаторов праздника: не тяжело ли певцам и танцорам выступать перед спрятавшимися зрителями по такой жаре, и вообще откуда набралось столько артистов, что представление идет, как сказали бы члены Римского клуба, «нон-стоп».

Ответ меня потрясает:

— Трудность не в том, чтобы набрать достаточное количество выступающих, а в том, чтобы их число ограничить: втиснуть в отведенное время. Все рвутся на сцену!

«Людей посмотреть, себя показать...» И ничто не помеха: ни жара, ни цены, ни расстояния. И деньги находятся: собрать и экипировать такие ансамбли, послать на Южный Урал. И силы находятся: пять дней подряд петь с утра до вечера... нет, до ночи — потому что пение продолжается и с темнотой — у костров... нет, еще дольше: когда костры гаснут, и «певческие дружины» начинают медленно расхо-

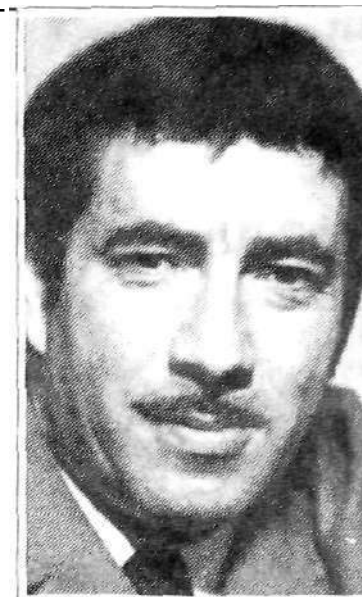
даться по «жилым корпусам», — они, думаете, расходятся молча? Нет, они идут неспешно и продолжают петь, уже не по программе, а как само поется, и нырнувшие в койки обитатели Базы отдыха либо продолжают спать под протяжную «Уральскую рябинушку», либо, выскочив в лоджию, приветствуют певцов, на манер средиземноморских зрителей, — «с балкона».

У меня во втором часу ночи, честно говоря, уже нет пороку выскакивать на балкон, но сквозь дрему я невольно слушаю мощное, протяжное, в десятки молодых сильных женских голосов пение, и даже различаю слова:

**Зачем ходил, на круг водил,  
Зачем подарочки дарил?  
Из-за тебя, мой крокодил,  
Никто ко мне не подходил...**

О господи... Сон слетел. Что-то вспыхнуло во мне и лопнуло, и опять со смехом вспыхнуло. О, мой крокодил! О, бездонная сила, проглатывающая очередного зубастого искателя! О, неистощимость наших душ...

И уснул спокойно.



*Виктор ПЕРЕЛЬМАН*

## **ЧЕРНЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ СУДЯТ АМЕРИКУ**

*Субъективные заметки*

Похоже, на деле О-Джей Симпсона, наконец, поставлена точка. Пусть и называют его процессом века, но, кажется, все что можно было сказать, уже сказано. В своем негодовании оправдательным приговором Симпсону граждане Америки не останавливались перед самыми острыми выводами, которых в этой стране обычно стараются избегать. Помните, как потерявший сына Фред Голдман после оправдания О-Джея сказал, что в этом процессе проиграла не прокуратура Лос-Анджелеса, а проиграла страна. Известный обозреватель Эй-би-си Соьер, открывая ночную программу Тэда Коппеля, заявил: «Мы вынуждены сделать драматическое признание, что общество раскололось на две половины: на белую и черную Америку».

Многие открыто заявляли, что приговор фактически перечеркнул движение за права черных, основанное Мартином Лютером Кингом. Даже левые, обычно не устающие

требовать расширения прав черных, — на этот раз изменили тон. Бывший редактор «Нью-Йорк Таймса» Эйб Розентол вначале, вслед за президентом Клинтоном заявил, что мнение присяжных следует принять и уважать. И затем добавил: «Принять? Нам ничего другого не остается. Но просить нас уважать этот вердикт — очередное оскорбление рассудка». Впрочем, в том обрушившемся на нас потоке телепередач властвовал не столько разум, сколько эмоции, охватившие все слои общества и, как всегда, мешающие вычленив рациональное зерно в оценке происшедшего. Эмоции создают лишь впечатление остроты, бушует ураган, грохочут айсберги, но подводная, невидимая их часть, остается скрытой от глаз. Кажется, вглубь и сегодня, по прошествии времени, ни у кого нет желания заглядывать. Тем более нет этого желания у политиков и власть имущих. Какой смысл бросать тень на жизнь общества и углубляться в джунгли расовой проблемы? Какой смысл заглядывать в пропасть, откуда никогда не выбраться? Куда важнее взяться за позитивную работу! Кажется, в этом утверждении, проистекающим из оптимистического мироощущения американских граждан, есть немалая доля истины. Но это только на первый взгляд, на самом деле, это опасная aberrация зрения, та самая верхушка айсберга, взглянув на которую, трудно понять суть происшедшего на суде Симпсона.

## Запах родных процессов

Откровенно говоря, я вообще не собирался писать этой статье и до поры до времени, когда передавались репортажи из зала суда, даже не включал телевизора. Что-то в истории О-Джей Симпсона, с его убийством из ревности и побегом в Чикаго, было отталкивающе-театральное, да и сам процесс с его бесконечными, пустопорожними дискуссиями выглядел уныло затянувшимся. То приглашали одних свидетелей, то совсем других — и всем устраивали перекрестные допросы, и тут же бесконечные эксперты и перепалки. Интереснее стало лишь после того, когда на экране появился полицейский детектив Марк Фурман, который

положил начало расследованию и о котором еще до его вызова в суд ходили слухи, что он не переваривает черных. Слухи как будто бы не подтвердились, и вдруг всплывает его интервью, данное им сценаристке Маккини, где он то и дело произносит слово «негр» или, как говорили в суде «нворд» (чтобы не повторять слова, оскорбляющие слух черного населения).

Между тем, события принимали все новый оборот. Особенно после того, как защита обвинила Фурмана в том, что, движимый расовой ненавистью, он сфабриковал главное вещественное доказательство: подбросил на место преступления перчатку обвиняемого с пятнами крови убитой им жены Николь Симпсон.

Интервью Фурмана придало процессу (который начал все больше напоминать голливудский детектив) второе дыхание. Снова — уже повторно — стали вызываться судебные эксперты, которые один за другим проводили научные анализы пятен крови (Ди-эн-эй), в большинстве своем подтверждавшие виновность Симпсона. Результаты анализов вызывали встречные допросы и протесты адвокатов, которых, как мы помним, было 12, но работы хватало для всех. Конец процесса стал виден лишь спустя одиннадцать месяцев (пересказывать последние дни суда, как и все предшествующее, нет смысла — все транслировалось десятки раз по многим каналам телевидения).

Конец процесса напоминал некое театральное действо, в котором стороны напоминали драматических актеров, заклинавших присяжных прислушаться к их голосам. Все было пущено в ход: темперамент, личное обаяние, модуляции голоса — шестичасовая речь прокурора Марши Кларк и десятичасовая адвоката Джонни Кокрана подвели процесс к точке высшего накала. Теперь слово было за теми, к разуму и совести которых апеллировали обвинения и защита.

Было ясно, что значение процесса перешагнуло за рамки конкретного убийства — речь шла об американском правосудии, о его способности остаться на высоте демократических идеалов и принципов. И вот, наконец, утром 3 октября, выслушав получасовой наказ судьи Ланса Ито,

присяжные удаляются в совещательную комнату для вынесения приговора. Похоже все успокаиваются. Лишь телекомментаторы, которые после ухода присяжных, рисковали остаться без дела, продолжали ломать копыя, — теперь о том, сколько будут заседать присяжные: одни говорили месяц, другие — три недели. Самые лихие — две недели, меньше, кажется, никто.

В те дни я как раз собирался в Москву, где должен был набираться этот номер. Дел, как всегда в такие дни, было невпроворот. Вернусь, размышлял я, может быть, что-то и напишу, а может быть, и не сяду, если не случится ничего интересного. Так я думал утром 3 октября, когда, неизвестно на сколько времени, удалились присяжные. И вдруг после обеда поступило никем не ожидавшееся сообщение, что приговор вынесен. Никакие не три и не две недели, а через три с половиной часа. Огласить должны были завтра, в час дня по нью-йоркскому времени. Почти не было сомнений, что в этом пока никем не услышанном приговоре О-Джей Симпсон уже признан виновным. К этому неотвратимо подводила логика событий. Слишком неопровержимы были улики обвинения, — стопроцентно неопровержимы! — чтобы присяжные, к тому же изрядно уставшие, стали попусту тратить время на их опровержение. Мнения большинства комментаторов сходились, и вынесения приговора ждали, как простую формальность, которая должна была подтвердить прогноз.

Днем 4 октября я ехал в машине из Массачусетса в Нью-Йорк, настроил приемник на «Новости», но к часу ничего не услышал (может быть, просто сообщение задержали, или мешали радиопомехи другого штата). О приговоре узнал на бензоколонке от черного бензозаправщика, который, приплясывая, из-за всех сил кричал: «Нот Гилти! Нот Гилти!» И чему-то весело хохотал. Вся эта картинка с оправданным Симпсоном, с этим негром, пляшущим со шлангом в руке, выглядела, как дурной скетч, который можно было бы не принять всерьез, если бы из приемника, наконец, не раздался голос диктора. Суд присяжных признал О-Джей Симпсона виновным! Для большинства американцев это был шок, театр абсурда, ибо будь

присяжные трижды гении, им бы не хватило трех с половиной часов, чтобы опровергнуть доказательства, собиравшиеся прокуратурой в течение года. Стало ясно, что никакие улики они, вообще, не рассматривали. И ни к каким нормам юстиции не обращались. Все решили заранее, даже не переступив порога совещательной комнаты, — чернокожего убийцу О-Джея Симпсона оправдать и выпустить на свободу.

Надеюсь, читатель не заподозрит меня в расизме, — слово «убийца» я употребил потому, что пребываю в уверенности, что преступление совершил именно он, О-Джей Симпсон, а слово «чернокожий» я употребил с одной единственной целью — чтобы еще раз напомнить, что такого же цвета кожи были 9 присяжных, оправдавших Симпсона по соображениям, не имеющим никакого отношения к юстиции.

В день вынесения приговора я и сел за статью, отложив поездку в Москву, не дожидаясь следующего номера. Если бы я не боялся красивых слов, то мог бы про себя сказать, что услышав приговор, я не мог молчать. По каким соображениям я сел за эту статью, мне даже трудно сказать. Можете считать, по профессиональным, а если хотите, по нравственным. А может быть, оттого, что пришел на память 37 год, и ощутил я запах «родных процессов». Откуда это ощущение? Там судили «врагов народа», здесь уголовного преступника, там совершали политические убийства, здесь осуществляли демократический суд, да и вообще там дело происходило при царе Горохе, в сталинской России, здесь в современной демократической Америке, стране высшей цивилизации, в канун третьего тысячелетия. Что же общего? Да как бы и ничего — в отличие от сталинских чисток, нормы юстиции в процессе Симпсона скрупулезно соблюдались, действовал суд присяжных, считающийся высшим достижением демократии, но не давала покоя мысль: так же, как в те славные сталинские годы, не стала ли юстиция в процессе Симпсона жертвой политических розов, от которых, как видно, не застрахована никакая демократия?

## Полицейские и воры

Трудно понять происшедшее на этом суде, не проследив хода событий, связанных с Марком Фурманом. Сделаем это не спеша, вдумываясь в детали, пусть на первый взгляд и несущественные. То есть как бы пройдем процесс еще раз и начнем с того, как появился на процессе человек, носящий эту фамилию (которую позже узнал весь мир). Появился, как ключевой свидетель обвинения, первым обнаруживший окровавленную перчатку Симпсона. Это вначале, когда он поднялся на свидетельскую трибуну и, лаконично ответив на вопросы сторон, хладнокровно отверг слухи о приписываемой ему неприязни к черным (и даже привел цифровот уже 10 лет он не повторяет слово «негр»). Но прошли какие-нибудь несколько недель, и неожиданно все повернулось на 180 градусов.

Ключевой свидетель был объявлен расистом и лгуном, сфабриковавшим главную улику процесса. Как уже упомянуто, произошло это после того, как в руках обвинения оказался текст интервью Марка Фурмана сценаристке Лоре Маккини. На стол судье была положена магнитофонная лента, на которой были записаны ответы Фурмана на вопросы Маккини. Из расшифрованного текста выяснилось, что рассказывая о работе полиции в одном из черных районов Лос-Анджелеса, известном своей преступностью, Фурман умудрился 37 раз повторить слово «негр». Как следовало из интервью (так его, по крайней мере трактовали защитники) он ловил на дорогах ни в чем неповинных черных парней, поносил их, издевался над ними, а однажды высказался в том смысле, что, будь его воля, он бы собрал всех негров и сжег. Не более, не менее! О том, как магнитофонная запись повернула весь ход процесса, чуть ниже, а пока о том, каким образом появилась эта загадочная лента. Сразу же заметим, что сама по себе история мало интересовала суд и защиту, но из сбивчивых показаний Лоры Маккини вытекали любопытные подробности, касающиеся интервью Фурмана, на которого с такой силой обрушилась защита. Одна вещь поражала сразу, когда транслировались его расистские высказывания: какую цель пре-

следовал их автор? Зачем он это все говорил? Из ненависти к черным? Даже если так, зачем эту ненависть выказывать? Вслух? Перед диктофоном? Ответственный сотрудник полиции, страж порядка в стране, где расизм преследуется законом? Ответы появятся сами собой, если обратить внимание на то, что именно от него хотела кинокомпания и сценаристка Лора Маккини. Из ее с трудом выданных из себя показаний следовало, что рассказ Фурмана должен был послужить материалом для фильма. Художественного фильма под названием «Мужчины против женщин» нехотя сообщает Лора Маккини, как будто опасаясь, что суд начнет углубляться в эту историю. Даже из случайных отрывков из интервью не могло не возникнуть подозрения, что название фильма «Мужчины против женщин» было призвано замаскировать истинную тему сценария. Иначе, с какой бы стати сценаристке записывать рассказ полицейского детектива, работавшего в черном районе, кишатом преступниками. Записывать специально, в течение многих часов, да еще за гонорар в 10 тысяч долларов? Причем тут «Мужчины против женщин»? Ребенку было ясно, что материал требовался во сто крат более горячий, да и по сути совсем другой. За будущий фильм Лора Маккини должна была получить полмиллиона — вряд ли бы их заплатили за какие-то там феминистские «откровения» на тему «Мужчины против женщин». Делали кинобизнес, искали сенсацию, источником которой и стал детектив Марк Фурман. После обнаружения пленки он на процессе не выступал (как лгуна и расиста его просто лишили такого права) и потому не был в состоянии объяснить, как происходило на самом деле. Но явно, что и ему заплатили кругленькую сумму в 10 тысяч долларов не за красивые глаза. Он должен был говорить именно то, что требовалось творцам кинобизнеса и излагать материал таким языком, каким должны были говорить герои будущего фильма и каким говорили его «клиенты» — нужен был их жаргон, их голоса, охрипшие, матюгающиеся голоса полицейских и воров, действующих в Даун-тауне Лос-Анджелеса.

На вопрос обвинения, почему она, Лора Маккини, не остановила Фурмана, когда он распоясался в своих выска-



званиях о неграх, последовал ответ: «Я не хотела его прерывать, это выглядело бы неэтично» (хотя на самом деле надо было сказать, это было слишком важно!). На вопрос, была ли она удовлетворена услышанным, последовал ответ: «Да, очень! Фурман был очень «кооперативен»!

Но в чем же именно кооперативен? Да все в том же: в описании тех полицейских будней, которые и должны были придать фильму сенсационность и за что детективу и были обещаны 10 тысяч долларов. По той же причине пленка и пестрила всеми этими «факен-ворами», «факен-жизнью», ну и, конечно, «факен-неграми», из-за которых у Фурмана случилось столько неприятностей.

Подозреваю, что полицейские Лос-Анджелеса и сегодня объясняются на том же лексиконе, выходя на операции в опасные черные кварталы, часто встречаясь один на один с преступниками, обкладывая их матом и проклятиями, моля бога, чтобы он сжил их со свету. Нарушения прав личности? Произвол? Вполне возможно! Да только это уже не наша тема и уж никак не расизм Фурмана, которого я меньше всего хочу обелить. Конечно он расист (что само по себе отвратительно), но с другой стороны, он — один из тех, кому выпала не очень завидная судьба — вычерпывать грязь жизни. Хотим мы это признать или не хотим — но это так (если, конечно, не судить о жизни полицейских по программам «Эйч-би-о и Синемакса»). И вот у этого человека, никакого не дьявола во плоти, а рядового полицейского, и появился шанс хоть раз в жизни назвать вещи своими именами. Воистину это было двойное удовольствие — с одной стороны высказаться, выхаркать все, что в жизни обрыдло, а с другой — еще и получить за это 10 тысяч долларов. О будущих обвинениях в расизме он, конечно, не подозревал. Зато хорошо знал, не развяжи он языка, не видать ему обещанных 10 тысяч, как своих ушей.

### **Если бы Фурмана не было, его надо было выдумать**

Тут надо вспомнить, что накануне появления «расистского интервью» Симпсон и его 12 защитников переживали серь-

езные трудности. За душой у них не было никаких доказательств его невинности. Не было никакого алиби. В то же время невозможным было и противостоять вещественным уликам обвинения — тестам Ди-эн-эй, обнаружившим присутствие крови убитых на перчатке обвиняемого. Была идентифицирована кровь, обнаруженная в салоне его автомашины «Бронко». Ряд свидетелей (в том числе водитель заказанного О-Джеем лимузина) подтвердили отсутствие обвиняемого дома в момент совершения преступления. И это лишь некоторые улики — на самом деле их было куда больше. Не находя выхода, защитники вели дело вяло, кажется, намеренно пытаюсь его затянуть и все на свете запутать. Именно в это время в средства массовой информации просочились слухи о том, что адвокаты Симпсона — то ли Бейли, то ли Роберт Шапиро — пытались убедить Симпсона признаться в содеянном (позже, когда Шапиро, объявивший себя творцом всей стратегии защиты, насмерть поссорился с Бейли, чьи амбиции, так и не были удовлетворены, — так вот, позже выступая в программе Ларри Кинга, Шапиро полностью отрицал эти попытки: он-то всегда верил в невинность Симпсона, не случайно тот на протяжении всего процесса, глядя ему, Бобу Шапиро, в глаза, клялся, что не совершал убийства(!?). Но это — адвокаты, божьи люди, про дела которых на процессе мы, вероятно, узнаем еще массу завлекательного). А пока сознаваться Симпсон отказался, а делать что-то надо было, хотя бы для того, чтобы отработать полученные от клиента девять миллионов долларов. Нужно сказать, что судьба удивительно вовремя подарила адвокатам «расиста Фурмана». Подсудимый был черным, и стратегия защиты выстраивалась сама собой: «Черный Симпсон не совершал никакого убийства, а стал простой жертвой расиста Марка Фурмана. Будучи полицейским детективом, он не останавливался ни перед чем, чтобы на всю жизнь бросить Симпсона за решетку».

С этого и начался уже упомянутый выше поворот на 180 градусов. Вокруг Фурмана вращалось в дальнейшем все дело. Внешне как будто ничего не изменилось, продолжали вызываться свидетели, шли перекрестные допросы, из судебно-медицинских центров приглашались высшие научные

авторитеты для изучения вещественных доказательств, найденных на месте преступления (позже стало известно, что на одни только тесты Ди-эн-эй было истрачено 25 тыс. долларов). Но сквозь эту рутину все явственнее прорезалась другая мелодия, не имеющая никакого отношения к юстиции и искусно оркестровывавшаяся известным лос-анджелесским адвокатом Джонни Кокраном.

Все складывалось как нельзя удачнее. Как и обвиняемый, Кокран был черным, что, естественно, придавало особый эффект и остроту его обвинениям против Фурмана. Стоило заговорить о Фурмане, как Кокран переходил на высокие тона, прерывал обвинителей, если надо, даже обрывал судью, требовал от него представить на рассмотрение суда то одни, то другие ответы Фурмана. Если судья отказывал, говорил, что требуемая пленка не относится к делу, он тут же, в зале суда, устраивал пресс-конференции, давая понять судье, что и тот начинает потворствовать расизму. «Это невыразимо, — яростно размахивал Кокран руками, — в это невозможно поверить, исключить место, где Фурман открыто издевался над задержанными, которые, как всегда, оказались «черными!»» Его темой никогда не были доказательства, а всегда расизм. Процесс Симпсона он назвал «процессом века», выступал с таким выражением лица, словно был посланцем черной Америки, ну что ли неким Мартином Лютером Кингом наших дней, и по одной этой причине не стеснялся в нарастающих, как снежный ком, обвинениях против Фурмана — чем дальше, тем чаще его речи выливались в заклинания и истерики. «Обвинение ссылалось на своего ключевого свидетеля Фурмана. Но кем оказался этот ключевой свидетель обвинения? — неслось по залу суда. — Отъявленным расистом и лгуном! У меня это даже не укладывается в голове: 37 раз употребил в своем интервью «н-вород». Открыто предлагал собрать всех черных и сжечь. Лгун и клятвопреступник!»\*

Но это был все-таки демократический судебный процесс, требующий при всех случаях если не улики, какими располагало обвинение, то по крайней мере правовой аргументации, противостоящей этим уликам. И такая аргументация была найдена. Правда она носила не правовой, а

\*Имеется в виду, что во время своего первого появления Фурман показал, что он уже десять лет не употреблял «н-ворд», когда из интервью следовало, что он не употреблял его шесть лет.

политический характер, и оттого выглядела убийственно бездоказательной и примитивной. Но с другой стороны, тут и не требовалось доказательств, ибо вступала в силу совершенно другая логика, логика политических процессов, когда обретали силу совсем другие факторы, способные при определенных условиях воздействовать на эмоции людей сильнее всяких доказательств.

«Что мы можем ждать от такой личности, как Марк Фурман? — пытался подвести итог Джонни Кокран. — Мы можем ждать от такой страшной личности все, что угодно: обмана, потасовки, сфабрикованных доказательств!»

После такого пассажа уже не выглядели странными слова, что у суда есть все основания подозревать, что перчатку О-Джеймса расист Фурман просто-напросто подбросил на место преступления, что он и его коллеги из ЛПД\* (если смог Фурман, то почему не смогут они) возможно сфабриковали и данные Ди-эн-эй. Не случайно же часть приготовленной для тестов крови неизвестно куда исчезла.

Интересно то, что Марк Фурман как живой человек Кокрана вообще не интересовал. Живой Фурман ему и не требовался. Нужен был просто расистский жупел, который он сам для себя смастерил и размахивал перед участниками процесса. В результате сфабрикованными оказалась не перчатка Симпсона, а специально изготовленный в идеологических целях злодей-Фурман, призванный олицетворять высшее зло Америки — расизм. За отсутствием других доказательств он был нужен, как воздух. Если бы Фурмана не было, его надо было выдумать!

Я снова ощущаю запахи «родных процессов», где дело, было, правда, поставлено куда на более широкую ногу — не какой-то там «детективчик», обвиненный в расизме, — а шпионы и убийцы пачками фабриковались Андреем Январевичем Вышинским. А уж с обвинениями было проще всего: «Раз троцкист — значит пускал поезда под откос, взрывал шахты и готовил убийство товарища Сталина». Трудно поверить — но в истории Фурмана та же логика: «Раз расист и 37 раз повторил слово «негр» — значит мог

\* Департамент полиции Лос-Анджелеса.

сфабриковать любую улику и уж проще простого подбросить кровавую перчатку обвиняемого!»

Могут сказать: «Послушайте, тут что-то не то (и ваше смешение эпох рискованно!) — на кого рассчитывал Вышинский, ясно. А на кого мог рассчитывать адвокат Кокран на процессе, где исследование доказательств было поставлено на научные рельсы, где председательствовал один из лучших судей Калифорнии, куда съехались самые образованные юристы США?» Все эти вопросы могли рассматриваться всерьез лишь до третьего октября 1995 года, пока не был вынесен Симпсону оправдательный приговор.

Те, кто слышал по телевидению заключительное слово Джонни Кокрана, не могли не видеть, как он мало полагался на доказательства и нормы права, но — на эмоции тех девяти черных присяжных, кому и были доверены судьбы юстиции на процессе Симпсона! И достиг цели, в противовес обвинению, собравшему огромное количество доказательств, подтверждающих вину обвиняемого, но проигравшему дело.

## Джонни Кокран и черная Америка

Не станем, однако, представлять дело так, будто судьбу процесса решили только те девять присяжных. Они подписали вердикт, но все было куда сложнее. Кстати, в своих последующих интервью они всячески отмежевывались от признания, что на них повлияла расовая проблема. Напротив, утверждали, что основывались исключительно на доказательствах. Но просто доказательства не могли их убедить — так вот и вынесли приговор, в который внутренне сами ни на грош ли верили.

Одна из членов жюри, опять же после суда, лучше всего продемонстрировала уровень их правового мышления. Когда журналисты спросили, учитывал ли вердикт насилия и побои Симпсоном жены, то последовал прямо-таки изумительный ответ: «Послушайте, а при чем тут побои и насилия — для этого должен быть специальный суд — а это суд об убийстве, не имеющем к побоям никакого отношения».

Но как при этом уровне, вопреки всем уликам, они отважи-

лись на оправдание убийцы? Вопрос этот не так прост, как кажется, и один только общий цвет кожи убийцы и присяжных не есть ответ на него. Случившееся можно объяснить многим — и тем, что свобода и демократия сделали черных другими: свободными, бескомплексными людьми. Можно сослаться на поддержку толпы, которая дежурила у входа в суд и криками восторга встречала черного адвоката Симпсона, — помните, в какой полудикий шабаш вылился этот восторг после его освобождения, наконец, сослаться на расовые конфликты, которые также были аранжировкой процесса. О причинах можно говорить и говорить, но не лучше ли снова обратиться к фактам? Факты в деле Симпсона пронзительнее любых комментариев, — иные из телекадров процесса до сих пор, как живые, стоят перед моими глазами. Когда в бушующем потоке эмоций, почти в истерике, Джонни Кокран сравнивал Фурмана с Гитлером, когда он говорил, что расизм пронизал всю американскую юстицию и что на присяжных возложена миссия исправить это положение дел, — он как бы вручал им политическую индульгенцию, избавляющую от греха за оправдание убийцы. Как отмечали наблюдатели, члены жюри выходили из совещательной комнаты с сознанием выполненного долга, без тени сомнения на лице. Кокран обращался к членам жюри, но тема его поджигательской речи была куда шире — с горящими глазами, перед телевизионной камерой, он апеллировал ко всей черной Америке, которая в случае чего не будет молчать и не должна молчать. И как заключительный мазок: самодовольный, разодетый, как павлин, Кокран продирается сквозь восторженную черную толпу под охраной головорезов из экстремистской негритянской организации «Нация ислама».

## Вместо заключения

Утверждение, что оправдание Симпсона отрицательно скажется на отношении черного и белого населения, стало общим местом — тавтология, вокруг которой топчутся комментаторы. Ну еще то, что общество качнется вправо и у республиканцев появится больше шансов на выборах. А дальше? Дальше не решаются двинуться: опасно! А глуб-

же? Еще опаснее... А мы все же попробуем копнуть — и зададимся вначале невинным вопросом: чем определяется расовая политика этого общества? Если в двух словах, то самой сутью американской демократии, врожденным чувством справедливости жителей этой страны. А, если глубже, то, верно, и другими причинами, например, комплексом вины белых перед негритянским населением, уходящим в далекую эпоху рабства. Бессмысленно сравнивать ту и нашу эпоху — в Америку пришла совершенно другая цивилизация, и вряд ли кто-то отважится сказать, что сегодня ущемляются права черных, особенно после печально знаменитых событий в Лос-Анджелесе, когда над мирной, не признающей никакого насилия, Америкой навис мрачный признак беспорядков и бунта. Кажется, общество готово принести в жертву многое, чтобы подобные события не повторились. Но насколько многое? Что именно принести в жертву? Где в конце концов мера компромисса? Думаю, что это главный вопрос, над которым процесс Симпсона заставил задуматься белую Америку.

А виной всему, снова мы слышим, расизм! Как вечный рефрен на заданную тему. Но, если это так, то от чего этот всеильный расизм обострился именно теперь? Америка не знала времен, когда бы движение за права черных приобрело такой размах, когда практически перед ними открывается даже больше возможностей, чем перед белым населением. Но что интересно: чем больше права, чем больше свобод и льгот, тем больше недовольства. О расизме говорит практически каждый черный, появляющийся на экране телевизора, будь то профессор Колумбии, адвокат, черный юрист или журналист ведущей газеты. В этом пункте среди черных граждан поразительное единодушие: расизм в Америке был и есть! Возможно, белые этого не видят, но это потому, что они белые. Ибо существуют два взгляда на мир. Две разных призмы — сквозь которые смотрят на жизнь черный и белый человек. Поэтому они никогда не поймут друг друга\*.

Проще простого отмахнуться от этой проблемы. Бес-

\* Я никого не цитирую, но кажется я слышал это миллионы раз.

смысленно искать в ней правых и виноватых, тем более рождена-то не в наши дни, а в готовом виде преподнесена историей. Но стоит ее копнуть, как мгновенно оказываешься в тисках противоречий, из которых я лично не в состоянии выбраться. Поэтому все дальнейшее — это просто мысли вслух, пусть даже и болезненные мысли, которые возникают, когда заглядываешь за некую невидимую черту, переступать которую не принято в американском обществе.

Что поделаешь — тянут эти мысли мне душу! Любой разговор лучше, чем молчание. Тем более, когда честный разговор и обманное молчание. Итак, правы ли черные в своих подозрениях белых в расизме? Да, правы, — думаю я. — и будут правы, какие бы права им не представлялись. Я сам точно не знаю, что именно значит в устах черных расизм, но подозреваю белых в очень простой вещи (обозначить которую предлагается самим читателям) По крайней мере имеются в виду те белые, которые готовы распинаться в любви к черным, но испаряются с быстротой молнии из любого места, когда по соседству появляется негритянская семья. Почему это так — отдельный вопрос, может быть, самый болезненный вопрос. Оттого даже на разговоры на эту тему наложено жесточайшее табу. Говорят, что корень проблемы в том, что в среде черных больший процент преступности, царит нищета и отсталость, что многие сидят на велфере, являясь иждивенцами общества. Выслушав это, я бы еще вспомнил о расовых неприятиях, физических, биологических (каких угодно, только не отрицайте, что они есть!), о тех проклятых «идолах рода», на коих обрушивался в свое время Гарольд Айзекс. Дело не в дефинициях, — в чем, в чем, а в них нет недостатка при объяснении расовой проблемы. Дело в реально существующих фактах, в которых, — пусть сто раз виновата история, — но нам-то от этого не легче и уж во всяком случае историю с плеча не исправить. Итак, дело в фактах, на которые мы так упорно закрываем глаза и которые кожей чувствуют черные люди. Чувствуют то, о чем мы молчим. Впрочем, и белые чувствуют тоже. Черные чувствуют одно. Белые — другое. Из-за этого все разговоры о равенстве (я имею в виду фактическое равенство, для достижения которого.

возможно, сменяются поколения) должны принять другой оборот, когда бы во главу угла было поставлено мужественное признание сложившегося положения и столь же мужественная работа, нацеленная на будущее. Мы же возвращаемся в круг лозунгов-пустоцветов, за которыми, если и стоит что-то, то разве лишь побрякушки слов («Равенство! Равенство! Движение за права!») — и нужно, чтобы грянуло дело Симпсона, для того, чтобы хоть над чем-то задумались (а пока один неосторожный шаг и — того гляди объявят расистом!) — вот так, под прессом политиков и с молчаливого согласия граждан рождается ложь и лицемерие. И оттого, от этой неправды, даже самые добрые порывы приводят к обратным результатам. Что бы белые ни делали, в глазах черных — это обман и скрытый расизм. И оттого они никогда не поддерживают белых и готовы оправдать убийцу только за то, что он негр, а подстрекатель, который толкнет их на это, всегда найдется. И никакой разговор о юстиции тут не поможет — он будет просто разговором не на тему. Только не ловите меня на слове, не бейте исключениями, я вам сам их приведу сколько угодно. Я говорю о явлении и сам же признаю его и печальным и постыдным, особенно оттого, что не ощущаю выхода, а только бессилие перед природой вещей. Но чувствую я, скорее интуитивно, если отказаться от этой двойной бухгалтерии и назвать вещи своими именами, то в какую сторону мы ни двинулись, пусть и не в самую гуманную, воздух нашей жизни все равно станет чище.

## Лорен АЙЗЛИ

### ВЗМАХ КРЫЛА: РАССКАЗЫ И ЭССЕ

Подбор, перевод с английского, предисловие и примечания  
Д. Н. Брецинского

(Москва: Издательство Московского университета, 1994)

\*

Произведения Лорена Айзли (1907-1977), известного американского антрополога, натуралиста, эссеиста и поэта, получили самую высокую оценку разнообразнейших критиков:

- «Казалось бы, поэзия и наука несовместимы - как масло и воду, их невозможно смешать. Однако есть исключительные ученые, которым это вполне удается. Лорен Айзли один из них... Это Пруст, чудесным образом преобразившийся в антрополога-эволюциониста». *Феодосий Добржанский, американский генетик*
- «Удивительная широта познаний, бесконечная способность удивляться и сострадательный интерес ко всему и вся во Вселенной». *«Филадельфия санди бюллетэн»*
- «Вряд ли кто-либо сказал больше о столь необъятном предмете в такой сжатой форме». *Джосеф Вуд Кратч («Сатердей ревью»)*
- «Он был одним из первых ученых, заявивших во весь голос, что человек должен вновь найти свое место в мироздании. Его слова создали новый тип литературы, основанной на объективных научных данных, и его предостережение помогло положить начало новому общественному движению. Как и пророки всемирных религий 2000 лет назад, он учит наше поколение вновь обрести космическое чутье, которое свойственно только человеку». *Рэне Дубос («Смитсониян мэгэзин»)*
- «Произведения Лорена Айзли перевернули мою жизнь». *Рэй Брэдбери, американский фантаст*
- «Когда мы привыкнем к Лорену Айзли, такому непохожему на все, что читали, то поймем, какое чудо открыл нам Дмитрий Брецинский, и скажем от души: спасибо!» *Юрий Нагибин («Лента»)*
- «Браво!» *У. Х. Оден, английский поэт*

Сборник «Взмах крыла» можно приобрести через  
Издательство МГУ (тел.: [095] 939-33-23; факс: 203-66-71),  
в США - в книжном магазине «Victor Kamkin, Inc.»  
(тел.: [301] 881-5973; факс: 881-1637)



ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ,  
ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ

Иосиф КОСИНСКИЙ

## ЧТО НАМ НЕСЕТ «С-ПЕРИОД»!

Существует такая теория, родившаяся пусть в недоброй памяти Советском Союзе, но довольно убедительная. В природе существует принципиальная, «заданная» асимметрия, — это общеизвестно; относится это и к человеческому мозгу. У многих лучше развито правое полушарие, но столь же многочисленны и люди «левополушарные». Первым свойственно аналитическое мышление, вторым — синтетическое. Так вот, в преддверии исторических событий 80-х годов, всем нам памятных, советские психологи Ольга Данилова и Елена Покорская сформулировали несколько необычную концепцию: в истории отдельных стран и человечества в целом тоже можно проследить периоды преобладания А-мышления (аналитического) и С-мышления (синтетического). Эти периоды чередуются, что дает возможность в известной степени предсказывать будущее. Будущее отдельных стран и, тем самым, человечества в целом.

ЧТО НАМ НЕСЕТ «С-ПЕРИОД»?

121

Ведь, в конце концов, события мирового масштаба всегда инициируются происшествиями, случившимися в отдельных, порой малых странах. Существует масса примеров из минувших эпох, но наиболее впечатляюще выглядят, наверное, события, произошедшие в нашем многострадальном XX веке. Убийство Гаврилой Принципом эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараеве вызвало исключительной силы катаклизм — Первую мировую войну. Что произошло вслед за этим? Жалкая личность, не находившая себя в предвоенной мирной жизни, воспрянула с началом этой войны, а после нее стала — обстоятельства тому сопутствовали — энергично расти в собственных глазах и в глазах великой европейской нации, и, сделавшись первым лицом в Германии, вызвала Вторую мировую войну. Не менее жалкий и скромный (и тоже страдавший в юности комплексом неполноценности) семинарист, родившийся и выросший на окраине великой империи, с годами сосредоточил в своих руках гигантскую, непререкаемую власть над половиной мира...

В данном случае проблема «предопределения», не подвластная логике и политологии, сплетается с проблемой «роли личности в истории», — оставим ее будущим исследователям, которые накопят еще больше поразительных и неожиданных фактов, чем мы.

Меня же интересует предназначенность в более общем смысле. Ведь, в конце концов, историческая личность — не более чем инструмент этой предназначенности, этой заданности. Она — вторична. А первична сама заданность. Чем она определяется?

Возвращаясь к началу статьи, заметим: быть может, «А-периоды», «С-периоды» и проблематичны, но не подлежит сомнению, что во всей истории человечества чередовались периоды ажитарности («пассионарности», согласно терминологии русского ученого Льва Гумилева) и пассивности, словно нации отдыхали от войн, завоеваний, от тех глобальных задач, которые ставила перед ними История и которые решались, за редчайшим, увы, исключением, силой оружия.

«Эти волны, — читаем в российском журнале, излагаю-

щем суть концепции «А-периодов» и «С-периодов»\*, — обнаруживают большое сходство с «кондратьевскими» циклами в экономике, которые рассчитаны свыше полувека назад».

Вообще-то теории цикличности общественного развития не новы. За подъемом с фатальной неизбежностью следует упадок и, наоборот, и еще в Древнем Египте сон фараона предсказал Иосифу, что семь лет великого изобилия сменяются семью годами голода. Голод наступил одновременно и в Земле Ханаанской, и в других (« и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа; ибо голод усилился по всей Земле» — Бытие 41:57).

Последствия предусмотрительности Иосифа — или, если угодно, его озарения, — были страшны:

«И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле; ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого» (Бытие 47:20-21).

Упомянутый выше семинарист, безусловно, знал об этом историческом прецеденте — и поступил вполне в соответствии с ним. Тысячелетия разделяют двух Иосифов — но образ действий обоих разительно схож.

Может быть, и действительно — «эти волны обнаруживают большое сходство?»

«Левые» периоды в истории, утверждают российские психологи, знаменуются «духом оптимизма, открытостью для внешних контактов, высоким престижем знаний, добровольно-договорными началами, демократическими тенденциями в обществе» и т.д. «Правые», напротив, сопровождаются увеличением числа тоталитарных государств, ростом их престижа, силы и влияния; в других странах утверждается изоляционизм, начинают преобладать пессимистические настроения...

Посмотрим, как прилагается эта концепция к истории нашего столетия.

20-е годы — безусловно, «левый период». Его проявление

\* Журнал «Русская виза», май 1992. Мне неизвестно, продолжает ли он еще выходить.

ния многочисленны и убедительны — от Веймарской республики в Германии до нэпа в Советской России и относительной свободы творчества в обоих государствах, с явным наступлением там и здесь безудержно левого искусства. А вот 30-е — резкий и одновременный перелом к «правому». Кульминацией реакционного «С-периода» стали события конца 30-х и начала 40-х — безоглядное наращивание вооружений Советским Союзом и Германией, воцарение фашизма в Испании, агрессия милитаристской Японии в Китае, аннексия Австрии германскими нацистами, договоренность о разделе Восточной Европы между двумя «молодыми» и хищными государствами, — и, наконец, Вторая мировая война.

Последующий «А-период» можно усмотреть в демократизации побежденных Германии и Японии, в хрущевской «оттепели», в начале процесса добровольного объединения Западной Европы.

Америка также была затронута процессами, охватившими Восточное полушарие. Только в США все происходило со сдвигом по фазе, с запаздыванием, впрочем, вполне объяснимым.

«Новый курс» президента Рузвельта сопровождался резким усилением тенденций к изоляционизму. В 1940 году республиканский кандидат в президенты Уэнделл Уилки проводил свою избирательную кампанию под лозунгом «Судьба Америки зависит от степени ее участия в событиях на мировой арене», ратуя за энергичное вмешательство в европейские и азиатские дела, — и вполне закономерно потерпел сокрушительное поражение. Потребовался шок Перл-Харбора, чтобы побудить американскую нацию к участию во Второй мировой войне, уже вовсю бушевавшей — но в другом, далеком полушарии.

А что нас ожидает, согласно этой концепции, сегодня?

Новый накат «С-волны» пришелся на вторую половину 60-х годов и продолжался до конца 80-х: кровавые события в Ольстере, оккупация Чехословакии, Афганская война, военное положение в Польше. Жесткое оцепенение, «застой» в СССР.

Это период разрешился крахом коммунистической сис-

темы не только в Советском Союзе, но и во всей Восточной Европе, включая последний ублюдочный бастион коммунизма — Албанию; объединением Германии; переходом к «рыночному коммунизму» в Китае. По предсказаниям тех же российских психополитологов, «левая волна» продлится еще не менее двух десятилетий.

С этим трудно согласиться — по двум причинам. Во-первых, в нашу эпоху все процессы протекают — и заканчиваются — куда быстрее, чем в прошлом. Во-вторых, на горизонте нынешней глобальной «оттепели» появились уже зловещие облачка серьезных перемен, сулящих ей скорый конец.

\* \* \*

Я не хотел бы придавать слишком большое значение событиям в распавшейся Югославии. На этот счет у меня есть своя теория: бывшая Австро-Венгерская империя вкупе с балканскими странами сто лет назад представляла собой не просто «пороховой погреб» Европы, но поистине игральные кости дьявола (достаточно вспомнить внешне неожиданную для правящей династии трагедию 1889 г. в Майерлинге и столь же неожиданную сараевскую трагедию 1914-го). Дьявол подсказал и искусственную идею «Югославии» — государства, просуществовавшего каких-нибудь полстолетия, а затем распавшегося в результате вполне предсказуемых этнических раздоров. Ныне эта страница истории перевернута и, должно быть, уже окончательно: сражения в Боснии — последний акт затянувшейся исторической драмы.

Что же дальше?

Все в мире взаимосвязано. Президенту Соединенных Штатов Клинтону необходимо было предстать в глазах нации «решительным и справедливым политиком» — отсюда и участие Соединенных Штатов и НАТО в целом в боевых действиях в Боснии. Заодно, приняв сторону мусульман-боснийцев, Америка обретает благоприятную репутацию в исламском мире — конгломерате, столь влиятельном сегодня на мировой арене.

Таким образом, Клинтон уже сделал во внешней полити-

ке достаточно, чтобы заручиться симпатиями американской нации ради переизбрания на второй президентский срок.

А во внутренней? По-видимому, в мире исподволь наступает — если уже не наступил — жесткий С-период. Это, разумеется, скажется и на России, и на отколовшихся от нее республиках. Что же касается США, — сегодня американцев повседневно толкает к изоляционизму уже не недостаток, как в прошлом, а, напротив, избыток информации о том, что делается в странах Восточного полушария. Нетрудно было предвидеть, что когда, например, телевизионная компания Си-эн-эн показала нам ликующую толпу сомалийцев, дефилирующую по улицам Могадишо с четвертованными останками американского солдата, многие американцы задали себе вопрос: что вообще заставляет нас задерживаться в этой дикой стране, спасая ее от голода и кровавых неурядиц? Люди, задающие подобные вопросы. — это те избиратели, которым в ближайшее время предстоит определить дальнейший состав Конгресса, а в 1996-м — решить, кому быть президентом на следующие четыре года.

Вопрос стоит так: что во внешнем мире может в ближайшие годы угрожать безопасности и вообще интересам Соединенных Штатов? «Холодная война», слава Богу, ушла в прошлое; США ныне единственная в мире «сверхдержава». Итак, чего же ей опасаться? Голод и междоусобицы в Сомали прямо, да и косвенно, нас не затрагивают. Балканские события? — тоже нет, это «разборки» местного значения. Иракский диктатор Саддам Хусейн? — разве что в случае, если он обзаведется атомным оружием, но это пока что маловероятно. Иран? — с ним, напротив, желательно восстановить дружественные отношения, и чем скорее, тем лучше, — хотя бы для предупреждения его блокирования с Россией. Китай? — до появления реальной угрозы с этой стороны еще далеко. На сегодня Китай весьма заинтересован в освоении рынков сбыта в Северной и Южной Америке, а фирмы США — в производстве товаров с привлечением фантастически дешевой китайской рабочей силы.

Словом, нет ни малейшей нужды, чтобы американские



солдаты и впредь гибли в странах Восточного полушария, как это было в относительно недавнем прошлом в Корее, Вьетнаме или ныне в Боснии, — либо еще где-то.

Нарастающая тенденция изоляционизма дает себя знать и во внутренней политике Соединенных Штатов. Американцы не желают более принимать так много иммигрантов, как до сих пор. Беженцы от тоталитарных режимов? Но где ныне сохраняются эти свирепые режимы? И так ли уж необходима американская экономическая помощь странам, освободившимся от тоталитаризма? Не пора ли Вашингтону обратить внимание на неблагополучие в собственной стране?

Что ж, внутренняя политика Вашингтона тоже вполне отвечает сегодня предсказанию о грядущем наступлении консервативного, «правого» начала повсюду в мире.

В Конгрессе США доминируют ныне республиканцы. Ради оздоровления национального бюджета они предложили программу жесткой экономии государственных средств. Сокращается число дорогостоящих военных баз в Америке и на других континентах, свертывается раздутая программа вооружений. Принимаются меры по резкому сокращению государственной помощи неимущим («велфэр»), в штыки встречается неумеренная нелегальная (и даже легальная) иммиграция в США — приток «беженцев» из других стран: сегодня всем очевидно, что большинство бежит сюда, не спасаясь от расовых, национальных, политических или религиозных преследований, а просто в поисках лучшей жизни.

Что же касается внутренних проблем Америки, — о, на них давно пора обратить внимание, иначе страна, на самом деле погрузится в пучину социального и правового «беспредела», если не гражданской войны.

На такое будущее работает одновременно множество факторов, подтачивающих американский монолит. Не стану перечислять их — они у всех на виду, достаточно раскрыть сегодняшнюю газету или включить телевизор.

Но ведь существуют же и сдерживающие, стабилизирующие факторы? Да, разумеется. Притом они все еще до чрезвычайности действенны. Главный из них — веками

выработанный американский идеал материального успеха, процветания или по крайней мере благополучия: «американская мечта» — собственный дом, автомобиль, образование для детей, способное и им гарантировать приличную работу, преуспевание, достаток и в конечном счете — спокойную, обеспеченную старость.

На полную мощность включены и механизмы оболванивания нации — от «антиобщественных», подрывных действий призваны отвлекать все средства массовой информации, и в первую очередь самое мощное из них — телевидение: на экране круглые сутки чередуются захватывающие события, преступления, аресты, стихийные бедствия, футбол, баскетбол, бейсбол, собирающие многомиллионную аудиторию, самоубийцы, гомосексуалисты, наркоманы, «доктор Смерть», помогающий уйти из жизни безнадежно больным, многомесячный процесс О-Джей Симпсона, сексуальные домогательства сенатора Пэквуда и многих других видных деятелей, вплоть до президента; порок чаще всего наказывается, добродетель вознаграждается, — что называется, скучать некогда.

Однако все более заметно дает себя знать одно роковое «но»: весь этот калейдоскоп бурлящей «общественной жизни» призван скрыть отсутствие в сегодняшней Америке того национального стержня, который присутствовал в ней прежде и который, кстати, придавал изрядную жизненную силу и многим другим государствам — еще на нашей памяти. Его можно охарактеризовать одним емким словом — идея. Американское общество, увы, безыдейно, и в этом его роковая слабость.

Когда-то у нации были великие цели: самоутверждение, независимость, завоевание огромного, богатейшего и малонаселенного материка... Все это — в далеком прошлом. В дальнейшем понадобились весьма сильнодействующие внешние стимулы, чтобы нация продолжала ощущать себя единой, прогрессивной и торжествующей: Первая мировая война, Вторая мировая, «холодная война» — глобальное противостояние коммунистической «империи зла». А что же сегодня?

Как низко упала вера американцев в себя и в свою

страну, может свидетельствовать пассивное сопротивление — или, лучше сказать, неприязнь, потому что сопротивляться динамичному сопернику по сути бессмысленно, — с каким встречаются иностранные капиталовложения в американской «глубинке». Вот пример, один из множества подобных: в городке Коламбус, штат Индиана, среди бескрайних кукурузных полей, выросли корпуса автозавода, принадлежащего японской фирме. Американцы, работающие здесь, испытывают смешанные чувства. С одной стороны, фирма дает им работу, — это, безусловно, плюс, — но, с другой стороны, тот факт, что владельцами завода являются японцы, свидетельствует о слабости (притом нарастающей!) Соединенных Штатов Америки: ведь прибыли в конечном счете уплывают в Японию!

Попробуем опросить рядовых американцев, как они относятся к ООН. Вам скажут: идея такой международной организации сама по себе хороша, но ведь ООН, по мысли ее инициатора, покойного Рузвельта, должна была избавить Соединенные Штаты от заботы о порядке и безопасности в далеких от Америки странах. Этой своей задачи она не выполнила — США и сегодня, расходуя на ООН миллиардные средства, вынуждены сами вмешиваться в практически любой конфликт, как бы далеко от их границ он ни произошел. Помимо содержания громоздкого аппарата ООН, приходится тратить миллионы долларов американских налогоплательщиков на урегулирование стычек вооруженных кланов в Сомали, в Центральной Африке, на освобождение Кувейта от иракской оккупации, на вооружение афганских повстанцев, на умиротворение в Боснии, — не лучше ли было бы обратить те же денежные средства, скажем, на предупреждение ежегодных наводнений в штате Миссисипи? На борьбу с преступностью в американских городах, с наркоманией, со СПИДом, да, наконец, просто на снижение безумной стоимости медицинского обслуживания у себя дома, в Штатах?

Будущее Европы чревато проблемами. Не должны ли будут Соединенные Штаты поддержать вероятные притязания Германии на исконно немецкий город Кенигсберг (пока еще Калининград)? Как быть с Крымом? Какое буду-

щее ожидает Македонию? А какую позицию США должны занять в случае вооруженных конфликтов в Азии? Например, в индо-пакистанском противостоянии? На чьей стороне выступить в Афганистане и Таджикистане, где со дня на день могут возобновиться военные действия? До какого предела поощрять рождающееся на наших глазах палестинское государство? И самое главное — как быть перед лицом наиболее динамичной, агрессивной международной силы нашего времени, как реагировать на экспансию исламских экстремистов?

Вероятно, наиболее разумный для Вашингтона ответ на все эти — и многие другие — вопросы таков: не вмешиваться. То есть — вернуться на обозримое будущее к политике изоляционизма. Это совпадает с прогнозом, согласно которому, мир вступает к концу века в «С-период» — период «правизны», консерватизма, сулящий отсутствие радикальных потрясений.

\* \* \*

Если это так, — нынешнее поколение американцев проведет свой век в состоянии стагнации, и сегодняшнюю эмиграцию, «третью волну», ожидает период, в общем, стабилизации, несмотря на треволения, вызванные сокращением государственной помощи. Те, кто вписался в американское общество, могут продолжать благоденствовать; тем, кто не вписался, это общество по крайней мере гарантирует более или менее сносное существование. В наихудшем положении оказывается, как всегда в периоды «застоя», творческая публика — эмигрантских писателей более не желают читать, не говоря уже — переводить, наших бардов — слушать, тиражи эмигрантских газет и журналов перестают расти... Но примем во внимание, что и стимулы, возбуждавшие еще недавно коренное население Соединенных Штатов, ныне идут на убыль. В мае 1995 года еженедельник «Тайм» опубликовал очень характерную статью, озаглавленную «Сексуальные скандалы тоже надоедают»: выясняется, что сильно упал спрос на очерки и книги, разоблачающие альковные похождения мира сего, вплоть до президента. Тем более что явно уже выходят из

моды три злых гения XIX века, оказавших в свое время огромное влияние на американских интеллектуалов, — Дарвин, Маркс и Фрейд. «Британская энциклопедия», издающаяся в Чикаго, все еще посвящает Фрейду огромную, многостраничную статью, — но едва ли кто-нибудь сегодня способен принимать всерьез фрейдистские откровения, скажем, бывшей любовницы нашего президента Дженнифер Флауэрс насчет того, что Клинтон не случайно покупал ей черное нижнее белье: она заранее могла догадаться о таком его предпочтении, видя, как он любовно возится с черным плюшевым медвежонком...

Все еще находят читателя — по инерции — откровения звезд телеэкрана и кино типа «как я сбросила двадцать фунтов за две недели», «как X превратил(а) мою жизнь в ад», все еще волнуют болельщиков глубокомысленные рассуждения бейсбольных комментаторов вроде: «Неудачно сыграл лучший питчер команды Икс, допустивший два хоум-рана и шесть ранов за шесть иннингов, но хиттеры команды Игрек опять показали хорошую форму, и к концу девятого иннинга счет сравнялся». Но как долго можно держать огромную нацию на такой духовной пище?

Нищета мысли, идейная нищета. В этих условиях исламское облачко на горизонте Америки может, пожалуй, быстро разрастись: вакуум...

Как бы там ни было, в этих условиях «застоя», консерватизма, намечающегося изоляционизма, эмигранты из СССР, прибывшие в Америку кто пять, кто десять, кто пятнадцать лет назад, обретают некоторую — как бы точнее выразиться? — передышку, время для известной переоценки ценностей и приоритетов. Свернута деятельность радиостанции «Свобода», сокращено вещание «Голоса Америки», перестал выходить и достославный журнал «Америка», нигде не находят более спроса гневные инвективы, клеймящие «брежневское безвременье», «андроповский режим», горбачевские начинания, — что ж, для непримиримых противников советского строя, пришла пора найти свои индивидуальные ниши, осмыслить прошлое, внести посильный вклад в формирование российского — и не только российского — будущего. Нас ждет не просто переориента-

ция: закатываются — если уже не закатились — наши прежние «звезды», но на небосклоне наверняка заблещут новые. «А теперь засяду за нетленку» (то есть — перейду от злобы дня, от публицистических однодневок к непреходящим литературным творениям) — возвещает со страниц московской «Литературной газеты» один из кумиров молодежи времен хрущевской оттепели, 60-летний ныне Анатолий Гладилин, оставшийся не у дел в результате закрытия парижского отделения «Свободы». В добрый час! Ушли с нашего горизонта, сыграв свою роль, журналы «Континент» и «Грани», — перебазировались в Москву. И, видимо, — повторю еще раз, — главный фронт мирового противостояния делится в ближайшее время так: христианский (и, в частности, православный) мир — ислам. Я не вижу в этом ничего трагического. Такова, по-видимому, диалектика мирового развития. Хватит с нас экстремистских «А-периодов»! Явным образом — в «С-периоде» суждено нам дожить свой век. Но готовы ли мы к этому новому противостоянию?



Андрей ГРИЦМАН

## ИОСИФ БРОДСКИЙ. ДВУЛИКИЙ ПАМЯТНИК НА ФОНЕ ЗАКАТА.

Первое, что я почувствовал, когда мне предложили писать статью об Иосифе Бродском, это — тревожное беспокойство. Почему? Бродских существует, как минимум, два: один — русский, другой — поэт в изгнании, пишущий на английском языке и одновременно американский критик и прозаик-профессор. И все же это где-то соединяется вместе, определяя феномен Бродского, который и создает силовое поле, влияющее на современников. Писать о Бродском легче с американской стороны. Тут, как бы, и взятки гладки. Он «один из многих», хотя и Нобелевский лауреат. Писать о Бродском с русской стороны — дело совсем другое. Тут можно и в историю влипнуть с посяганием на... В чем же дело? Нет «Министерства культуры», нет цензуры, а какое-то давление есть.

Сразу оговорюсь, что вины самого Бродского в этой ситуации нет или почти нет. Тем не менее, существует какая-то странная точка абсолютного отсчета, которую «нужно» принимать во внимание. Это, прежде всего, связано с традиционной русской приверженностью к иерархичности, необходимости лидера. Русские люди в целом и многочисленные пишущие русские люди, в частности, стремятся к централизации, необходимости кучковаться в морозном поле абсолютного равнодушия. Откуда ветер дует? Кого читать? Куда идти на тусовку? Которого Ивашку с колокольни скидывать? По-видимому, тяга к структуре стала особенно важной в современную эпоху распада, пусть негодных, ужасных, но все же привычных систем. Мир разрушился. Присутствие Бродского, в чисто духовном, идеологическом и стилистическом смысле придает хоть какую-то «законность» в обстановке «смутного» времени.

Почему все-таки оказывает отрицательное давление изумительный поэт, умнейший, остроумный человек, спокойно живущий свою жизнь американского профессора — пожинаящего то, что сам же и посеял и неуклонно следующего величию своего замысла.

Любопытно, что в свое время тупая сила советской государственной машины «подыграла» поэту своим вмешательством, помогла его становлению как общественной фигуры. В смысле исторической перспективы раньше такой крупной духовной величине правильно было оставаться в России, а в период новейшей после перестроечной истории правильно было оказаться на Западе и не возвращаться в Россию. В этом смысле Бродский вольно или невольно оказался мудрее Солженицына. Чтобы понять этот феномен надо коснуться другого аспекта российской ментальности. Это свойственное россиянам ожидание сильной фигуры, гения, нового Пушкина — стремление к кристаллизации вокруг мощного центра. В 60-е — 80-е годы мы читали прогнозы о том, кто же будет следующим Пушкиным. Это ожидание и явилось дополнительным непрямым фактором в создании силового поля вокруг фигуры Бродского. Тут все совпало: талант, эпоха, дружба с Ахматовой, прямой продолжательницей великой традиции и, как безошибоч-

ная передача мяча в английском футболе, через нее — знакомство с Исайей Берлиным, а дальше Оденем и верхним эшелонем американской поэзии, который всегда относился с благоговейным уважением к британским предтечам и их последователям.

Создание настоящих, живых стихов — это прежде всего частное дело поэта, в котором вторичную роль играет влияние эпохи, давление среды, вмешательство общества и влияние другого мощного художника. Как сам же Бродский и писал — развитие таланта происходит вопреки, а не благодаря создавшимся историческим условиям. В своей статье о Мандельштаме в известном сборнике эссе «Less Than One», Бродский подчеркивает, что Мандельштам был великим поэтом до революции, а не стал гениальным поэтом благодаря революции и всему ужасу, который случился впоследствии.

Поэт пишет прежде всего для **себя и о себе** и не является рассказчиком или пересказывателем, он не несет ответственности за сказанное. С другой стороны, и общество ему, поэту, ничем не обязано. В этой связи стоит упомянуть Варлама Шаламова: «Я не пишу ни истории революции, ни истории своей семьи. Я пишу историю своей души — не более». И еще: «Поэзия — это прежде всего судьба, итог длительного духовного сопротивления... Поэзия это и опыт — личный, личнейший ...непреодолимая потребность высказать... быть может, важное только для себя».

В последние годы появилась как бы незримая цензура и одновременно «культ личности», героизация Бродского, что стало работать против самого поэта. Имя Бродского стало лицензией на пропуск в Будущее, пропуск в Литературу. Странно как-то, что даже серьезные люди, некоторые из них весьма талантливые, болезненно спешат вместе с Бродским попасть в Вечность, держаться около, пройти в широко открытую дверь. Ощущается влияние Бродского и на «рыночный» аспект современной литературы, в основном эмигрантской. Это касается изданий, в которых появляются вещи Бродского или хотя бы вещи авторов, связанных с ним, так сказать, входящих в обойму. По-видимому,

с точки зрения издателей, редакторов и, естественно, авторов это неукоснительно ставит знак качества, дает пропуск в Историю.

Михаил Айзенберг справедливо отмечает, что писать стихи стало легко. Бродским все разработано. Более или менее способные люди начинают применять его метод и получается гладко и похоже. Как говорит тот же Айзенберг, о многих стихах ленинградской школы, которая, в основном, и является школой Бродского (за исключением некоторых удивительно ярких авторов, Михаила Еремина, например), порой невозможно сказать хорошие это стихи или плохие, кажется, что написаны они не отдельным автором, а как бы целым культурным слоем. Можно добавить, что ориентироваться в том, где издаваться, стало тоже «легко». Пишущий человек, просматривая русские печатные издания последних лет с удовлетворением подмечает, кто печатает Бродского или хотя бы что-либо о Бродском, желательно написанное кем-то из его окружения.

Особенно приятно тогда, когда собственное имя литератора появляется в том же издании. Это значит, что ты тоже в обойме, на столбовой дороге Литературы. Также относятся к этому и издатели, и редакторы. «Выйти на Бродского», «заполучить» его как автора придает изданию отблеск академичности, антологизированности и делает его официальным. Заметьте, это особенно важно в обстановке повального взаимного отрицания. Бывшая «советская солидная» литература отрицает существование какой-то бы ни было официальной литературы на «материке», тут же — взаимное отрицание андеграунда и советской литературы и т.д. и т.п.

К сожалению, в российском эмигрантском круге это «поле Бродского», деление литераторов на «допущенных» и «недопущенных» скорее оказывает отрицательное влияние. Именно из-за отгороженности мэтра от «пишущих масс» и происходит порой ошибочное благословение тех, кто поактивнее и поувереннее в себе. Существует некий неписанный ритуал благословения путем краткого предисловия к книжечке стихов «отмеченного» или хотя бы краткой аннотации.

Продолжает тлеть знакомый стиль ленинградской школы, некоторая эксцентричность, нетерпимость, комплекс гения. С другой стороны попадание в тень Бродского приглушило оценку некоторых очень самобытных и сильных его современников — поэтов старшего поколения. В особенности Лосева и Бобышева. Думается, что позднее начало творчества Лосева обусловлено именно ранним попаданием в среду ленинградских гениев художника другого темперамента, а, может быть, и просто хорошего воспитания.

В этой исторической ситуации Иосиф Бродский занял позицию, которая выделила его из группы других, даже и очень талантливых людей, и в русской и в американской литературной среде. В чем же это отличие?

У русских пишущих людей многие годы присутствует, вполне объяснимая, рефлексия творческой индивидуальности на окружающую давящую мразь. Часто результатом этого является безысходная тоска, выраженная в стихах или обыгрывание вывернутой наизнанку советской темы, включая пресловутый «соц-арт». И то, и другое, естественно, набило оскомину. Но это понять можно. Жалко ведь себя, такого несравненного, единственного и, к сожалению, смертного. Бродский сразу или, во всяком случае, очень рано, взял совсем другую ноту — абстрагированной позиции, отстраненности. Это — ночная борьба с ангелом, а не энергия, направленная на конкретного исторического противника. Или личного противника, что и является чаще всего двигателем лирической поэзии («противник» — это женщина, или мужчина, окружающие близкие, а чаще всего, сам автор). Отличие Бродского от других в том, что энергия его творчества черпается из другого источника. Конфликт происходит не на глазах, плохо пеленгуется. С самого начала он был сам по себе, «вещью в себе» и в меньшей степени — реакцией на окружающую действительность. У Бродского много реалий современной истории, отталкивания от советской власти и т.п. (при кажущейся аполитичности его творчества), но это звучит скорее как обозначение общих точек понимания, нахождение общего языка с окружающими.

Тот же феномен отстраненности, не свойственный большинству американских поэтов, присутствует и в его американской поэзии: историчность, космополитичность, здоровый европейский скепсис и одновременно классичность, пафос, тяжеловесная грандиозность поставленной задачи. Задачи, которые читатель обречен решать, на что у него нет ни времени, ни побуждающих причин, а часто и широты культуры. Энергия стиха Бродского не так явно ощутима читателем на поверхности, как в длинных гибких строках, почти захлебывающегося монолога свободного стиха Уолта Уитмена, который является прототипом исконно американского свободного стиха. Стих Бродского весьма регулируется и энергия его находится глубже, и не всяким улавливается. До нее нужно докапываться сквозь слои археологических наслоений исторических эпох и продуманных, а порой умозрительных поэтических форм.

Интересно, что эта энергия ощущается очень сильно при личном исполнении Бродского. Почему-то распространено мнение, что читает он стихи неудачно, быстро, невнятно, как бы не обращая внимания на аудиторию, что отмечал еще Давид Самойлов в своих записках. Как раз наоборот. Именно энергия любого стиха Бродского и прорывается в этом менее регулируемом, чем на странице, потоке образов и слов. (По-английски, по моему мнению, это звучит еще более убедительно из-за еще более смазанного звукового эффекта, связанного с акцентом.)

Бродский продолжает разрабатывать свою тему на фоне повального психосамоанализа американских поэтов, их индивидуализма с космическими масштабами рефлексии на развод, на собственный скрытый гомосексуализм, самоэотику, «ошеломляющее открытие» своих собственных вторичных половых признаков целой плеядой американских женщин-поэтов, получение той или иной литературной награды, потерей позиции на факультете в одном университете и необходимости переезжать в точно такой же кампус другого университета.

Бродский создал собственные условия и правила. И в этом его сила и его слабость. После короткого начального периода развития одареннейшего молодого поэта, отвеча-

ющего на наплывающий мир «волшебными» стихами (слова Ахматовой), Бродский превратился в мощного мастера, не просто гроссмейстера, а международного гроссмейстера поэзии, создающего стихи на своем языке. Уже многие годы это — стихи, «записанные» по-русски или по-английски с почти обязательным, порой утомительным, использованием антично-классических образов. Когда возвращаешься к таким изумительным поздним стихам как «На смерть друга» («Имерекутебе»), «Дорогая, я вышел сегодня из дому...», «Дождь в августе» и сравниваешь с другими, разворачивающимися как свиток, многостраничными произведениями, понимаешь, какие сгустки живой силы спрятаны под тяжелой позолотой.

Удивительно присутствие нескольких, так сказать, личных сквозных тем в творчестве Бродского. Это: родители, ностальгия по близкому дружескому кругу Ленинграда ранних лет, отец, отец и Российский Военно-морской Флот, Оден, Баратынский. Тени образов из автобиографического эссе «In The Room and Half» через много лет вдруг всплывают как подводная лодка в сравнительно недавнем сильном стихотворении «Transatlantic», опубликованном в журнале «Нью-Йоркер».

Особость Бродского относится и к его жизненной позиции. В этом он отличался от своих современников и в прошлом. Следует отдать ему должное в безошибочности приятия исторических обстоятельств с чрезвычайной человеческой цельностью. Во времена советской страшной бессмысленности казалось, что он даже **не против режима**, а как бы **над режимом**. Очень немногим дана такая вера в себя.

## Талант и поклонники

Круг поэта — это отдельный разговор. При феноменальной популярности Бродского и не менее феноменальном спросе на его протекцию, он удивительно скуп на отзывы. Кажется, что ему не очень-то и интересна современная ситуация в русской поэзии, а, на самом деле, и в американской. Стихи других авторов ему, видимо, также неинтересны, за исключением кое-кого из «своих». Ему близки старые

соратники по Ленинграду: Кушнер, Евгений Рейн, особенно Уфлянд, из более молодого поколения Гандельсман (которого он благословил, в чем последний, наверное, и не нуждался).

«Русский круг» поэта в Америке, в основном, круг безоговорочных и восторженных поклонников (поклонниц), что не является здоровой питательной средой для автора любого масштаба. Нездоровый ажиотаж вокруг попадания рукописи к «самому» только усиливает странноватое ощущение присутствия «двора». Жестокий закон писания стихов таков, что активный функционирующий автор любого калибра должен жить не только в питаемой, но и в питательной для него окружающей среде. Как только автор превращается в замерший памятник, изрекающий «Magister dixit», освещение неожиданно меняется. Это уже закат, а не разгар дня, направление ветра переменяется и слова улетают в другую сторону.

Возникает опасность: потери реальной перспективы, самооценки и самоконтроля. Как я уже говорил, чего бы ни достиг художник, оставаясь реально функционирующим автором, он подчиняется тем же беспощадным законам выпадения из контекста. Это случается тогда, когда Мастер безоговорочно вещает, а Маргарита и окружающие хором, с готовностью, подтверждают, что крайняя точка, цель, последний рубеж достигнуты. Дальше находится непосредственно Бог. Тогда художник оказывается в величественном, но пустом и темноватом храме. А все пошли в кино или на ярмарку где-то за углом. В какой-то степени это произошло с Робертом Фростом, да и с Маяковским. Их было немало — великих, поверивших в то, что их устами говорит Истина.

Имеется еще один нездоровый компонент в феномене уникального почитания фигуры Бродского — его жизненный «карьерный» успех. К сожалению. Потому что он этот успех заслужил. Как и многие другие, Иосиф Бродский стал общественной фигурой, так же как и знаменитый балетный танцор, очень успешный известный бизнесмен, журналист, киноактер и т.д. Но это не дело, и не ампула поэта. В этом не его или не только его вина, естественно.

Нездоровая окраска этой ситуации отражает нездоровую обстановку наших неустоявшихся эмигрантских времен (и вместе с тем) конкурентную жесткость эпохи.

Мне кажется, что жилка конкурентности у Бродского, проглядывающая и в некоторых заявлениях («Я знаю, что пишу стихи лучше всех, а иначе не стал бы этого делать»?) как раз и приводит к «лауреатности» и к таким необязательным вещам, как огромный сбор эмигрантской публики по дорогим билетам на модные редкие чтения Бродского. Причина этой многолюдности не та, что во времена чтений Цветаевой в эмигрантском Париже. Вероятно, девяносто процентов людей, заполнивших собой до отказа огромный зал в Манхэттене на недавнем чтении Бродского, пришли туда отметить, показаться и других посмотреть. Многие ли из программистов, реалтеров, успешных докторов, бизнесменов и даже разнокалиберно образованных бывших московских и ленинградских снобов, после тяжелого рабочего дня, обеда и вечерних новостей по ТВ, в постели перечитывают перед следующим таким же напряженным американским днем: «До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу в возбуждение. Что, впрочем, естественно. Ибо связки не чета голой мышце, волосу, багажу под холодными буркалами...» Так вот, многолюдность — побочный продукт именно этого не обязательного положения общественной фигуры.

Еще раз, Бродских существует два. Один — это выдающийся русскоязычный поэт, ставший общественной фигурой, «суперстар». Второй — англоязычный поэт и переводчик, а также мастер критических эссе. Лучшей иллюстрацией этой последней ипостаси Бродского является его известная книга критической прозы «Less Than One». Удивительно расхождение между эссе Бродского и многими его стихами, написанными и по-русски и по-английски. С одной стороны — это некая глубокомысленность, многословность, осложненность и тяжеловесность стихов мэтра и, с другой — легкие, остроумные и одновременно глубокие, ироничные эссе. Порой кажется, что автор позволяет себе быть самим собой в этих коротких кусках критиканской прозы, а в значительной части своей поздней поэзии ставит

задачу быть кем-то еще. Удивительно, но задачу эту он во многом выполняет.

### «Поэзия должна быть глуповата»

Американский поэтический круг Иосифа Бродского — это, в основном, клуб официальных «тяжеловесов», в значительной степени состоящий из лауреатов: Дерек Уолкотт, Марк Стрэнд, Чеслав Милош, Октавио Паз, элитарная группа вокруг журнала «Нью-Йоркер». Посмотрите, кому в течение многих лет посвящены стихи Бродского: в большой степени настоящим или будущим лауреатам. Это, естественно, не поиски протекции с его стороны, которая ему не нужна, а некое очерчивание кастовой территории, границ клуба.

Как известно, Бродский пришел к англоязычным стихам через переводы английских и американских поэтов, т.е. в каком-то смысле умозрительно, осваивая язык через текст. Уже в ранний период Бродский сразу обращался к великим: элегия Джону Донну, «На смерть Роберта Фроста», «На смерть Т.С. Элиота», то есть компания выбрана сразу и уверенно. И здесь присутствует все тот же великий замысел, о котором молодой Бродский говорил Ахматовой («Главное — это величие замысла»). Характерно воспоминание Дерека Уолкотта, из интервью, когда он получал Нобелевскую премию. Уолкотт вспоминает, что Бродский оказал на него большое влияние, прежде всего, указав ему на необходимость четкого плана, замысла. Он отмечает, что до встречи с Бродским он как бы свободно писал, без напряжения используя данный ему талант лирического поэта. Бродский посоветовал крепко задуматься над тем, куда его творчество развивается и куда оно пойдет дальше. Что очень характерно для самого Бродского. (То что я сейчас привел, естественно, не является прямой цитатой, но общий смысл правилен.)

Оценка «американского» Бродского русской аудиторией как на Родине, так и в эмиграции, весьма туманна и далека от действительности. Степень непонимания реальной ситуации с Бродским отражена в интервью литератора Маэли Фейнберг с Евгением Рейном, недавно опублико-



ванном в Москве. Маэль спрашивает: «Бродский пишет стихи по-английски?» Евгений Рейн отвечает: «Серьезные стихи по-английски он не пишет — только шуточные. Но прозу — да». Не очень понятно, как это можно было сказать всерьез, тем не менее, как в кривом зеркале, некая истина здесь отражена.

В своем эссе, посвященном Одну, Бродский пишет, что его единственная цель писать по-английски, что произошло летом 1977 года в Нью-Йорке. И далее его цель была и таковой же остается (написано в 1983 г.!), это находится вблизи Одена: «To Please a Shadow». Оден умер в 1973 г. Боготворение Бродским Одена трогательно и, наверное, искреннее, но как-то не верится, что в начале 80-х Бродский писал по-английски и переводил только ради памяти учителя.

Одна из проблем восприятия англоязычного Бродского эмигрантской средой, даже интеллигентной, является распространённая тенденция отгораживания от американской культуры, какое-то странное, порой враждебное ее неприятие. Как известно, существует повальное непонимание американской поэзии русскими читающими людьми, даже любителями поэзии. Частично это обусловлено объективными причинами: доминирование свободного стиха, прозаическая поэзия, отсутствие привычной рифмы, размывание границ между поэзией, прозой, журналистикой и т.п. Однако, главное — это различие в ментальности между российским и американским культурным человеком и какое-то воинственно снисходительное отношение многих эмигрантов к американской культуре.

В этом смысле Бродский функционирует в двух совершенно не пересекающихся сферах: одна — его русская поэзия, всем известная, однако далеко не всеми понятая, другая — роль американского профессора — поэта. Не случайно, Бродский отказывается одновременно читать стихи по-русски и по-английски во время своих публичных выступлений. По словам самого Бродского писание стихов по-русски и по-английски для него два разных процесса и творчество по-английски скорее имеет отношение к решению кроссворда. Занятна некоторая аналогия с Набоковым.

Помните книжку Набокова «Poems and Problems», где под одной обложкой объединены стихи, написанные по-русски и по-английски с переводами и шахматными задачами. Сам Набоков определяет свои стихи, написанные по-английски, как стихи более легкого свойства, чем русские. Они не несут той сложной, внутренней ассоциации с психологическими усложнениями и с постоянным беспокойством мысли, которыми отмечены стихи, написанные по-русски. Одна из причин этого, по мнению Набокова, постоянный фоновый шорох детства, который проходит через всю жизнь на чужбине.

В какой-то степени присутствует это и у Бродского. В основном, его стихи, написанные по-английски, представляют собой мастерски выполненные упражнения. Почти не встречается тех горьковато-иронических нот особенно часто присутствующих в ранних стихах по-русски. Да и в более поздних, таких как: «Bagatella», «На смерть друга». Вне сомнения, Бродский является поэтом другого уровня по-русски, крупнее и круче, чем Набоков, за одним исключением — Набоков в русских стихах до конца сохраняет эту искреннюю, сердечную, ничем не заглушенную ноту.

Пушкин сказал: «Поэзия должна быть глуповата». Бродский велик во всем. У него практически нет ничего несерьезного, уязвимо, слабого места. Любопытен другой современный пример такой дихотомии между поэтом и прозаиком — это Джон Апдайк. Стихи его, как известно, присутствуют во всех антологиях, печатаются в журнале «Нью-Йоркер», продуктивность его потрясающа, но поэзия его вторична. Мандельштамовского «дикого мяса» там нет. Бродскому, с его запланированным и реализованным величием, пожалуй, также не достает этой «дикой» ткани.

Для американского литературного истеблишмента Восточного побережья («Нью-Йоркер», «Нью-Йоркское книжное обозрение», «Нью-Йорк Таймс») Бродский выступает в роли выдающегося космополитического культуртрегера. Это дает некое ощущение комфорта интеллектуальной американской университетской публике. Вот и мы часть общемировой культуры! Не очень-то, в общем-то, это важно: своих забот, дел и карьер хватает. Но, на всякий случай,

стоит держать руку на пульсе мировой культуры. В американской буржуазной интеллектуальной среде всегда считалось *chic* и *voque* поддерживать налет европейского стиля. Не случайно наличие британского акцента сообщает некую популярность и шарм его носителю в любом интеллектуальном университетском круге в Америке.

С моей точки зрения, существенной разницы между переведенной с русского поэзией Бродского и стихами, написанными по-английски, — нет. Он традиционалист, формалист в своих американских стихах. Но сама форма его настолько эпична, интеллектуальна, несколько тяжело-весна, как бы имманентна, что часто его искусные рифмы как-то не очень заметны в тексте. Они теряются, тонут в многообразии слов, и не столько образов, сколько философских заключений и сентенций. Многие строки его стихов по-английски часто звучат как назидания. Попробуем дословно перевести несколько таких строк-сентенций: «Забывание, однако — есть мать классики» «... низкая облачность освобождает планеты от ответственности по отношению к устоявшемуся ландшафту: отсутствие не может повлиять на присутствие». И далее: «...односторонность есть враг перспективы, может быть, просто вещи быстрее, чем люди, теряют желание множиться». И это все в одном небольшом стихотворении «МСМХСІV» на 22 строки! Если бы стихи Бродского кто-нибудь осмелился бы подвергнуть стандартному разбору на американском поэтическом семинаре, они, прежде всего, были бы квалифицированы как стихи слишком густые, усложненные, загруженные умозрительными образами.

Переводы его поэзии на английский являются скорее параллельными стихами на двух языках и звучат, как американский свободный стих, на самом деле, являясь рифмованными стихами. В отличие от свободного стиха Уитмена, у которого конец строки (или, скорее, фразы) определяет окончание звуковой структуры, у Бродского звук «тянется», порой на несколько строк. Искусно вставленные рифмы поддерживают какую-то «теневую» структуру, не вполне ясно обязательную ли.

Что все же определяет успех англоязычной поэзии Брод-

ского у части «наивных» читателей, в основном, литераторов? В большой степени, я думаю — это уникальность положения «я» в его поэзии. В этом смысле существует некоторое различие между русской и англоязычной поэзией в целом. В русской поэзии Бродского отстраненность «я», или скорее большая отстраненность лирического героя от личности автора выражена сильнее, чем это встречается в русской поэзии. Русский поэт, как правило, должен выбросить «все на продажу», в сфере отношений «я» и «они». Современный американский поэт, как правило, сконцентрирован на себе. При абсолютном владении стихотворной техникой Бродский позволяет себе отстраниться от текста и даже в каком-то смысле от предмета разговора, не допустить до себя, сильно усложняя стиховой материал, но оставляя ощущение у читателя, что за этим многое стоит.

### Американские стихи поэта

Кажется, в Америке Бродский вообще остается не понят. Они его любят «не зато». Литературно-академический истеблишмент Восточного Побережья ценит легенду, продолжателя Великой Русской Литературы, интеллектуальную силу и эрудицию, магнетически сочетаемую с судьбой узника ГУЛАГа и т.д. По существу, Иосиф Бродский как активно функционирующий американский поэт в контексте реальной жизни не рассматривается.

Многие типичные черты его русской поэзии приложимы к строю американского стиха. Во-первых, многословие. В русской строке, говорящей о том же предмете, обычно содержится меньше слов, чем в английской. У Бродского стих не течет, а скорее распрямляется согласно распрямлению мысли. Именно мысли, а не пульсирующей эмоции. Этот стих — не сконцентрированная, более или менее осознанная, личная эмоция, облеченная в звук, а мысль, развитая в звуко-строку. Поэтому и в публикуемых в американской периодике стихах поэта почти нет «личных» стихов, а в основном философские, эпические и политические.

При чтении работ Бродского, невольно возникает вопрос: до какой степени можно расщепить, анатомировать стихотворение? Блестящим, и одновременно печальным, примером

является его многостраничный сравнительный анализ стихов Роберта Фроста в известной статье, опубликованной в журнале «Нью-Йоркер». Эта статья вызвала живую реакцию среди американской литературной общественности. Отчетливо были слышны и голоса несогласных. Бродский до такой степени рассекает структуру стиха, что стих почти дезинтегрируется. Создается ощущение, что никакой загадки и иррациональности уже не остается. Сходный прием применен и в других известных работах Бродского: например, его разбор стихотворения Мандельштама «С миром державным я был лишь ребячески связан». При этом он настолько безапелляционно обозначает свой постулат и столь быстро и уверенно переходит к анатомированию произведения, что читающий, стараясь внимательно следить за этим разбором, совершенно забывает, что он мог бы быть не согласен с основной идеей или какими-то интерпретациями. Происходит это, потому что читатель слишком перегружен и отвлечен деталями и тонкостью разбора.

Поразительно, что многие стихи самого Бродского настолько *продуманы*, будто они специально изготовлены для такого беспредельного анализа. В своей Нобелевской речи сам лауреат указывал, что при рассмотрении явления искусства используется аналитический подход, «применявшийся» пророками. Но в лице литературоведческих статей-лекциях Бродского, как и во многих стихах по-английски, меньше всего чувствуется тревожащее дуновение библейского откровения, зато слышится прохладный голос анализа.

Одно из слагаемых успеха Бродского — это поиск американцами какой-то особой духовности, присутствующей у иностранных художников, духовности того свойства, которое якобы отсутствует в американской культурной традиции. Отсюда столь болезненный интерес в последние годы к Ахматовой, Цветаевой. Для многих американских авторов это как бы путешествие в экзотические места во время академических творческих отпусков.

Известно, что существует «сюжет Творчества» и реальный языковой сюжет жизни. И тут мы видим несоответствие

между «толстым томом в кожаном переплете» произведений Бродского, лежащим на столе, даже и в университетской библиотеке, — с мерцающим глазом компьютера, игрой в бейсбол за открытым окном на газоне кампуса и необходимостью скорого и неизбежного переезда куда-то (может с Севера в субтропики!). Я совсем не говорю, что художник должен приспособливаться к окружающей жизни, но существует ритмическое совпадение или несовпадение творчества с окружающим «языковым сюжетом». И плата за это несовпадение — отчуждение. Это приводит, в основном, к отсутствию интереса к Бродскому, как к «американскому поэту» литературной среды, за исключением особо элитного круга, о котором уже было сказано.

## В обойме интеллектуальной элиты

Американская литературная среда, может быть, и более холодна к Бродскому в сравнении с русской литературной средой. Но эта среда, кажется, и более объективна к нему. Американцам трудно воспринять русскую идею о монополии влияния одного художника на поэзию: стиль, тематику, форму и т.д. Какой бы величины художник ни был, ведь это только один голос! Такова обычно реакция американского литератора. Чаще всего американские писатели отмечают, что Бродский — это скорее русский поэт, который пишет по-английски, приемный сын американской поэзии, ее баловень. Он находится вне столбовой дороги американской поэзии, что связано с его позицией и практикой формалиста, отрицательным отношением к свободному стиху и европейской акмеистической ментальностью. Многие признают, что он лучше как прозаик чем поэт, хоть это и странно звучит для русского уха. Оторванность недавнего поэта-лауреата США от почвы американской жизни отразилась и в его несколько наивной идее демократизации американской поэзии: распространение томиков стихов через американские супермаркеты, когда их можно прихватить у кассы или найти в ночных столиках в мотелях рядом с гидеоновской Библией. Не следует забывать, что имеется принципиальное отличие американской культуры от европейской. Американское общество традиционно антиинтеллектуаль-

но. Оно создано на других основах, культурно гетерогенно, хотя страна, в основном, говорит на одном языке.

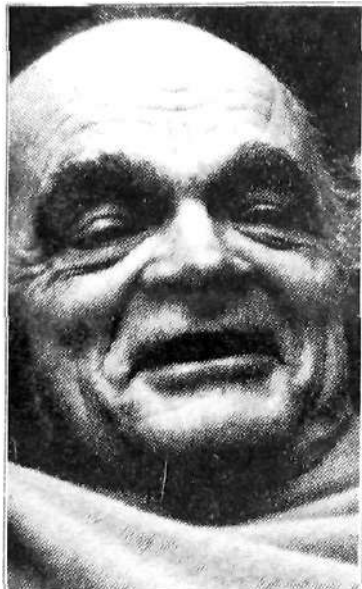
Не случайно Бродскому из американских поэтов-классиков ближе Роберт Фрост и Эмили Дикинсон, и конечно. Оден, который скорее английский поэт. Но не Уолт Уитмэн или Вильям Карлос Вильямс. Таким образом, если определить место Бродского в американской поэзии, его можно назвать постмодернистом.

Но прежде всего он воспринимается как Большой Поэт Изгнания, отбрасывающий тень на панораму Нью-Йорка. Он, видимо, ближе всего к «обойме» нью-йоркской интеллектуальной элиты, распространяющейся также по северным хайвеям на лесистые кампусы университетов Новой Англии. Именно этой элитой Бродский и был героизирован, произведен в ранг Бога-поэта-изгнанника. Бродский, несмотря на свое происхождение и формальную принадлежность к «меньшинствам», по-видимому, в силу своего исключительного положения и принадлежности к интеллектуальной элите Восточного Побережья, не воспринимается как один из поэтов многокультурного движения: поэзия чиканос, испаноязычная, черная, индейцев и т.д. Любопытно, что имени Бродского и подборок его стихов нет в последних изданиях канонической нортоновской антологии современной поэзии. Парадоксально, что там есть и Дерек Уолкотт и Симус Хини (Seamus Heaney), которые по возрасту довольно близки к Бродскому. В большой сборной монографии «Профиль американской поэзии XX века» имя Бродского даже не упоминается в главе, посвященной двадцатилетнему периоду между 1970-ым и 1990-ым годами.

Это возвеличивание Бродского, а с другой стороны, исключение его из общей картины, является искажением и существенным упущением. Направление «иностранной поэзии» на английском языке, которое, в значительной степени поддержано и обозначено Бродским и другими поэтами-пришельцами, безусловно существует и развивается. Это симптоматично для американской культуры в целом — подпитка со стороны, языковая, философская и идейная.

Думается, что когда погода изменится, облачность и смог рассеются, станут яснее видны разные лики удивительного явления, о котором мы говорим: направленный на Европу, лик, отвернувшийся от американского континента и взгляд, направленный в себя.

Повторю — стихи это дело частное. Ни Бродский, ни кто-либо еще не может окончательно что-либо открыть или закрыть. До тех пор, пока будут рождаться люди, способные писать настоящие стихи, этот процесс будет продолжаться независимо от исторической эпохи, времени, места и независимо от языка, который используется для донесения поэтической мысли и чувства.



Ричард ХЭЗЛЕТТ

## ПРОЩАНИЕ С ХРИСТИАНСТВОМ

*Исповедь вероотступника*

Я взращен Христианством и был связан с ним глубоко и всесторонне. Моя мать была увлечена работой в громадной методистской Воскресной школе, в которую затем счастливо поступил и я. Уроки по Христианству, полные историй об обаянии, умении увлечь за собой людей, драматизме и искусности Иисуса из Назарета, объединяли истины и наставления, которые явно шли из Иудаизма.

Мой отец был скептически настроенным человеком, последователем Просветителей восемнадцатого столетия и все воскресные утра проводил в ванне. Эти разногласия между моими родителями во взглядах на религию приводили меня к некой духовной непоследовательности делали из меня духовного скитальца.

Глава из книги. Публикуется с сокращениями.

В своей взрослой жизни я был, в основном, агностиком, правда, ищущим агностиком. Затем я опять поверил в любящего, заботящегося Бога. Это произошло в 1973 году, когда мне было 52 года, и было результатом обучения под руководством американского философа Чарльза Хартшорна — пожалуй, наиболее яркого философа-теолога в мире.

В моей молодости толчком к написанию подобной книги явилось желание объяснить мир себе, найти свое место в нем и объяснить мир интеллектуально близким мне людям. Я хотел этого для своих друзей, среди которых было несколько протестантских священников, и, особенно, для одной семьи, которая оказала на меня основополагающее влияние. Это были прекрасные люди — семья евреев-эмигрантов из гитлеровской Германии. В Америку они приехали в 1938 году. Интеллектуальный и культурный уровень семьи бесспорно превышал мой, хотя со своей виолончелью я участвовал в их музыкальных квартетах. Глядя на эту семью, я понял, какой я был невежда.

Затем, со временем, я осознал, что должен создать нечто, что может представлять интерес и для более широкого круга людей. Сорок лет назад я решил, что мог бы написать нечто очень важное относительно этики, затратив на это не более, чем две недели. Я ошибся во времени в тысячу раз. Неуверенность в себе, чрезвычайная интеллектуальная занятость и расходование времени, в первую очередь, не написание этой книги — все это сделало меня одиноким холостяком.

Моим начальным интересом была этика или этические философии и их взаимоотношения.

Слово «этика» казалось вполне подходящим для обозначения некой серии запретов и обязанностей наших предков. Но основная забота этики — определить, с помощью разума тот стиль жизни, которым стоило бы жить. Этика это, собственно, некое позитивное, интеллектуальное, рискованное предприятие, способное внести некий порядок и радость в жизнь, в результате которых жизнь могла бы восприниматься как нечто, имеющее смысл.

С помощью этики можно прийти к знанию того, что было давно известно мудрецам, например, к тому, что эгоизм

человека саморазрушителен. Можно прийти к знанию того, что при разумном стремлении к счастью человеку необходимо действовать таким образом, чтобы помочь другим удовлетворить их нужды, права или интересы, как если бы это были его собственные.

Моя племянница росла без какого-либо сильного религиозного влияния. Несколько лет назад она сказала мне, что ее дочкам, моим внучатым племянницам, надо бы познакомиться с некоторыми правилами морали, с которыми мое поколение знакомилось в церкви.

Я задал себе вопрос, к какой из существующих групп имело бы смысл отослать за советами моих внучатых племянниц? И с удивлением обнаружил, что не могу ответить на него.

Я оказался в затруднительном положении, несмотря на то, что был преуспевающим членом шести христианских организаций, отражающих весь спектр христианской теологии от либералов до консерваторов.

Сейчас я пришел к выводу, что многие люди, выращенные в Христианстве, испытывают чувство растерянности. Суть проблемы кроется в слабости и упадке веры. И если бы, положим, несмотря на все мои долгие сомнения относительно доктрин веры, я продолжал бы быть христианином среди христиан, это усилило бы двусмысленность моего положения, пожалуй, выглядело бы даже нечестно с точки зрения церкви, как вещь, ослабляющая ее связи, ослабляющая ее сообщества.

В наши дни можно услышать мнение, будто религия это личное дело каждого и поэтому не стоило бы это даже и обсуждать. Я полагаю, что многие в нашей современной урбанистской жизни чувствуют, по крайней мере, смутно, насколько шатка их вера. Именно поэтому они и не хотят копать около своего карточного домика веры опасными инструментами интеллекта, которые, как бур в неумелых руках, могут разрушить все вокруг. Христианский апостол Павел пишет: «Остерегайся людей, которые могут испортить тебя философией и пустой хитростью»,

При этом многие миллионы людей, объединенных религиями Авраама, конечно, являются искренне верующими.

Их мотивации помогают удерживать наш мир от распада на части. Но и они полагают, что их вера, особенно вера их детей, все-таки, настолько слаба, что не стоит подвергать ее воздействию со стороны философии конструктивного плана. Таким образом, философия оказалась обоюдоострой саблей, она сечет и тех, и этих. Если считать религию только лишь личным делом, то тогда каждый будет, сам по себе, держаться лично своих религиозных истин. При этом исключается возможность объединения. Однако само слово «религия» произошло от латинского слова «religare», которое в контексте значит «снова связаться вместе» или соединиться вновь.

В сентябре 1993 года я попытался организовать в молодежном лагере среди студентов-выпускников университета штата Вермонт маленькую протестантскую церковь. Я объявил об этом намерении своим братьям и сестрам прихожанам, которые, конечно, понимали, как слаба надежда на успех.

В своих выступлениях в летнем лагере я пользовался словами «религия» и «церковь». Кажется, что среди прочих сложностей современного мира молодые люди испытывают сложности, боясь вообще касаться этих слов. Большинство профессоров колледжей стараются разрушить всякую веру, которую студенты могли сохранить ко времени поступления в колледж. Нынче это происходит механически и регулярно.

В декабре я был на сочельническом зажигании свечей, вполне сознавая, что это, может быть, в последний раз. Я пел в хоре, который исполнял «Мессию» Генделя. Затем мы сели за загородкой, где обычно сидят певцы. А после этого, это было в пятницу, я отправился в синагогу, и раби Джеймс Глейзер проникновенно прочитал проповедь, полную почтения к Иисусу — человеку. При этом он коснулся, в некотором смысле, щекотливых проблем, которые содержатся в концепции Мессии и о которых я узнал лишь тремя месяцами раньше. Эти проблемы должны бы быть известны Христианству, но христиане, к сожалению, не знают о них. В этот вечер я ушел из христианства, отказавшись от исполнения его прекрасной музыки, отказавшись от проявления пре-

данности Иисусу как Мессии и вынудив своих старых друзей относиться ко мне как к человеку, который опять затеял что-то поразительное. Тупая боль от всего этого не покидает меня.

Мои предки на протяжении тысячи лет были христианами, не отклоняясь от веры. Но я приобрел новую привязанность и не изменю ей. Будучи на протяжении двух последних десятилетий христианином, верующим лишь наполовину, я стал обузой этой вере, я стал живым отрицанием ее истин. Если бы я родился в семье, верующей в Ислам, я, наверное, оказался бы в подобной же ситуации. Моя верность Христианству передалась мне по наследству. Но это исправимо. Я выбираю Иудаизм и хочу принадлежать ему сердцем и разумом.

Я понял, к своему глубокому сожалению, что мой философский подход не воспринимается большинством христиан.

Предполагаю, что многие из просто верующих ограничатся вопросом: зачем нам нужен такой опасный интеллектуальный подход к религии? Разве недостаточно того, что мы можем положиться на веру христианским музам в доброй половине случаев, когда бессилён интеллект?

Где-то поздней осенью 1993 года почти случайно я наткнулся на работу Розмари Рутер, датированную 1974 годом. Книга называлась «Вера и братоубийство: теологические корни антисемитизма». Рутер, будучи католическим американским богословом, работала преподавателем теологии в американской христианской семинарии. Ее книга — это рассказ о серии бесподобного зла, растянутой на восемнадцать столетий. Речь идет о зле, корни которого лежат в антиеврейских писаниях ранней церкви, зле, прикрытом невежеством и нехристианской злобой. Апогеем этого можно считать печально знаменитый Холокост в Европе во время Второй мировой войны.

В связи с этим приведу отрывок из Евангелия от Иова, один из многих весьма проблематичных пассажей Нового Завета:

**«Повернувшись к евреям, которые верили ему, Иисус сказал: «Я знаю, вы перешли от Авраама, и вы намерены**

**убить меня, потому что мое учение не подходит вам. Отец ваш — дьявол, и вы хотите продолжать работу отца. Он был убийцей с самого начала. Истина не знакома ему, потому что в нем самом нет начала. Истина не знакома ему, потому что в нем самом нет истины. Он говорит на своем родном языке только лишь, когда лжет. Тот, для кого Бог отец, слушает лишь Бога. Вы не дети Бога. Вот почему вы не слушаете Его».**

К кому относятся эти слова Иисуса? Только ли к тем еврейским религиозным лидерам, которые были подкуплены римскими правителями? Едва ли. Иова часто использует слово «евреи». Иногда оно явно относится к еврейскому религиозному сообществу в целом. Неудачно используемый автором точный термин оставляет место для предположения, что Иисус говорит о еврейском религиозном обществе вообще, и именно так эти слова всегда воспринимались христианами.

Далее, рассмотрим версии главы 23 из Евангелия от Матфея.

**«Законники и фарисеи сидят в креслах Моисея, поэтому делайте то, что они говорят. Обращайте внимание на их слова. Но не повторяйте их дел, потому что говорят они одно, а делают другое. Они кладут тяжелую ношу на плечи других, но и пальца не поднимут, чтобы помочь нести груз. Что бы они ни делали, они делают напоказ».**

Возможно, Иисус адресовался лишь к особой и корумпированной группе «фарисеев», но контекст, опять-таки, не запрещает читать эти слова так, будто они относятся к фарисеям вообще, в том числе и к фарисеям из народа.

В 66 году н.э. евреи восстали в своих землях (на территории, которая называлась римлянами Палестиной и которая включала современный Израиль). Они восстали против попраения римлянами их прав. Римскими наместниками было объявлено, что обычай вести свое происхождение по линии матери заложен с давних времен и по-прежнему имеет силу, потому что всегда трудно распознать, кто истинный отец. Это заявление послужило для римских солдат и освобожденных заключенных разрешением к бесчинствам.

Иерусалим в 70 году н.э. был вовлечен в огромную, трудно поддающуюся оценке войну, в течение которой почти полмиллиона евреев были убиты под предлогом

защиты римлянами своих прав, — предлог, который использовался, чтобы сохранить в глазах людей доверие к имперскому правительству. По всей вероятности, ответственность за эти бесчинства, приведшие к восстанию евреев, должна ложиться и на презиравшего евреев Сенеку по имени Стоик — философа и наставника Нерона, во времена царствования которого все это и произошло.

После поражения, нанесенного евреям, именно фарисеи сохранили и развили традиции раввинства, а вместе с этим и появился Иисус, сам фарисей и, конечно, еврей. Он был евреем по рождению и по вере. В этом современная наука не сомневается. Скрижали, найденные на Мертвом море в 1948 году, ясно говорят о том, что на его мировоззрение сильно повлияла еврейская секта Essenes. Как заметил британско-канадский христианский ученый Виллиам Николло: «Либо мы знаем, что Иисус был евреем в сердце и в душе, либо мы не знаем о нем ничего, достойного знания».

В 324 году н.э. Константин — христианский император Римской Империи сделал Христианство государственной религией, хотя в Империи в то время христиан было меньше, чем евреев. Через сорок лет, после смерти императора Юлиана в 363 году, евреи вообще потеряли свое право участия в государственных делах Империи. Они были вынуждены жить согласно жестким предписаниям, впрочем, так же, как и язычники и другие не христиане. Так называемые «отцы церкви» были совершенно бесстыдны в своих оскорблениях евреев. Даже «святой» Августин принял участие в этом в своей постыдно известной работе «Contra Judaeos».

Наиболее опасным были оскорбления, исходящие из «Золотых уст» Джона Хризостома, который впоследствии стал патриархом Константинополя. В 386—387 н.э. годах Хризостом прочел серию проповедей, в которых синагоги назывались «борделем», «воровским притоном», «логовом диких животных», «местом встречи убийц». Для евреев «нет более подходящих слов, чем «свиньи и козлы», которые «живут в разврате и излишествах» и которые пролили кровь Христа!

Христуубийцы? А не были ли евреи и в самом деле тем народом, который убил Иисуса? Большинство христиан так и считают. Давайте попробуем проанализировать ряд выводов современной науки по этому вопросу.

Для евреев центром мира был Храм. Он был центром постоянных перемещений евреев и местом индивидуальных или семейных жертвоприношений животных. Храм обеспечивал кровом и работой приблизительно пятую часть населения Иерусалима. К этому времени так сложилось, что никто не мог занять высшие посты в религиозной иерархии без разрешения на то римского правительства.

Иисусу было предъявлено обвинение в подстрекательстве к мятежу против Рима. Это расценивалось как политическое дело. Евреи Иудеи или Галилеи допускали наличие божьего дара не только у Бога, тогда как римские руководители не допускали этого. Распятие никогда не было еврейским способом наказания. Иисус, пострадав от такого садистского римского обычая, был одним из, по крайней мере пятидесяти тысяч других евреев, поплатившихся жизнью в результате подобного обвинения. Без сомнения, Понтий Пилат, римский прокуратор, и Каяфос, верховный священник, манипулировали общественным мнением, поворачивая его против евреев, возможно, для того, чтобы высмеять симпатизирующих им.

Не надо было каких-то особых обстоятельств, чтобы осудить Иисуса за подстрекательство, достаточно было собрать нескольких тайных советников — фарисеев, которые имели основание опасаться силы Рима. Каяфос собрал их лично, и дело было сделано.

Американский еврейский историк Рывкин показывает, почему ответственность за казнь Иисуса была по своей сути неперсонализированной. Учитывая предыдущий опыт религиозно-политических волнений в Палестине, правители автоматически рассматривали любого еврея как потенциально опасного, обладающего божьим даром собирать вокруг себя сочувствующих, даже если этот лидер — мирный человек, говорящий только о религии и этике. Например, таким человеком был двоюродный брат Иисуса Иоанн Креститель, с которым расправился впоследствии Герод.



Религия в те времена была политикой. Рывкин строит доказательства своей теории на материалах историка Иосифа Флавия — ренегата и отступника, как впоследствии его называли в Риме.

Итак, в Христианстве укоренилась вера в то, что евреи должны нести ответственность за убийство Иисуса, ответственность за некое космическое жертвоприношение типа убийства Бога.

Давайте, с помощью английского историка Хайма Маккоби, попытаемся разобраться, откуда пришла эта вера. Человек, известный христианам под именем Святого Павла, конвертировал из Иудаизма. Очевидно, из греческих религиозных мистерий Павел воспринял концепцию морально павшего, беспомощного мира, в который является спаситель, в данном случае Иисус, но силы зла убивают его. Причем силы зла олицетворяют скептически настроенный народ, в данном случае еврейский народ. Однако, в конце концов, спаситель *возвращается к жизни, преодолевая* таким образом силы зла и искупая тем самым вину своих приверженцев.

Итак, еврейскому народу была отведена роль агентов Дьявола. Это было необходимой частью замысла. Павел полагал, что народ сделал эту необходимую «морально грязную работу» для того, чтобы верующие в Иерусалиме могли *рассчитывать на спасение от наказания за свою вину* в другом, посмертном мире.

Павел был, если можно так сказать, исключительным артистом и психологом, будучи преуспевающим торговцем. Вера в Иисуса, как сына Бога, снизошла на него, когда он шел по дороге в Дамаск и увидел вознесение Иисуса. Эта вера оказалась намного сильнее веры, которой тогда придерживалась иерусалимская церковь. Павел включил в свою новую веру, которую мы теперь называем Христианством, некое общее свойство религий язычников — надевать героя-жертву божественностью. Описываемый приезд Павла положил начало окончательному расколу между евреями-назаретцами и неевреями-христианами павловского толка, в большинстве своем, греками и римлянами.

Павел писал письма, которые датируются примерно

50—55 годами н.э. (достоверность большинства этих писем доказана). Кроме того, что он сделал из Иисуса божество, он разработал еще доктрину спасения «первородного греха», как неизбежного человеческого дефекта, т.е. «греха», который заложен Адамом и Евой и передается путем секса, как некий тип венерической болезни.

Учение Павла было воспринято, в основном, среди неевреев Греции и других римских владений. Для новообращенных переход в Христианство был привлекателен еще и тем, что освобождал от необходимости изучать Тору, т.е. основу писанных ритуальных и этических законов, где первые пять книг Библии на иврите или Старого Завета являются только лишь началом. Это книги, которые христиане называют Пятикнижием. К тому же Павел исключил из обихода болезненную операцию для мужчин. Она по-прежнему необходима во многих еврейских конгрегациях. В наше время, при современных достижениях медицины, эта процедура обрезания занимает не более двух дней в госпитале за свои собственные деньги. Обрезание воспринималось, как некоего рода таинство, посвящение в таинство, постоянно напоминающее о том, что секс священен и потому не должен быть легкомысленным.

За пятьдесят лет после Павла Евангелие приняло свою окончательную форму как работа неевреев-христиан, находящихся под влиянием Павла, которые никогда не видели Иисуса и не жили в тех местах, где жил он. Вновь образованная церковь также, как и сегодняшнее Христианство, продолжала и продолжает утверждать, что Иисус в своем земном существовании был Мессией или Христом, который был предсказан еврейскими пророками. При этом, согласно Христианству, он выступает как божественный сын Бога или, согласно отцам церкви впоследствии, самим Богом. Для христиан Мессия — это некое духовное начало, некто, не относящийся к земным делам, некто вне политики; для евреев Мессия это некто, принимающий мир, как он есть, участвующий также и в политических делах, т.е. некий теократ. Этот раскол становился все глубже и глубже. Он остается глубоким и поныне.

Для христиан мотивом наложения наказания на евреев

всегда было желание продемонстрировать — вот что происходит с людьми, которые должны, как им положено, благодарить Иисуса, как Мессию, но они отказываются делать это. Подобная политика привела к тому, что пора было прекращать наложение наказания, пока дело не дошло до полного уничтожения наказуемых. Таким образом, как говорит Маккоби, евреи стали «гарантией постоянства спасения, которую может обеспечить Распятие. Пока евреи продолжают свое существование в страданиях, тянущихся неимоверно долго, христиане могут быть уверенными в своем спасении». По словам Рутер, евреи были помещены в «негативное пространство божественного осуждения». Им разрешено существовать, но не дано никаких прав на успешное существование. Эта мрачная история продолжается, практически не изменившись, и в наши дни. Исключение представляет Израиль. Роберт А. Эверетт, пастор в Объединенной Церкви Христа, говорит:

**Теология жертвенности использовалась христианами на протяжении почти двух тысяч лет для поддержания веры в то, что евреям и положено быть жертвами. Однако эта теология оказалась раковой опухолью в душе Христианства. Она надсмеялась над христианской любовью. Она позволила христианам игнорировать зло, которое было следствием их теологических традиций. Теперь эта долго просуществовавшая теология жертвенности обернулась обвинителем Христианства. Христиане обвиняются, будучи жертвами своей собственной теологической веры. Доверие к Христианству, как к предприятию, теперь определяется тем, как оно относится к обвинениям, которые ему предъявляются.**

К лучшему или к худшему, но инструкторы — методисты во времена моего детства и юности (которые прошли до Холокоста) не уделяли особого внимания антииудаистским пассадам Библии. Однако, трудно было обойти проблему отношения Христианства к евреям, особенно трудно внимательным читателям, каким была моя мать, например. Прав был Николлс, когда сказал:

**Антисемита делает даже не интеллектуальная идеологическая обработка. Взгляды, тон голоса уже важен для чувствительного детского восприятия. Лояльность родителей закрепляет впечатление. Только строгая и непод-**

**купная совесть может выбить это рано внушенное предрасположение.**

Можно сказать, что те из нас, кто были воспитаны как христиане, впитали антисемитизм с молоком матери.

Конечно, Холокост объясняется более, чем одной причиной. Но можно не сомневаться, что он был подготовлен бесчисленными поношениями в текстах влиятельного Нового Завета и в писаниях отцов церкви.

Гитлер умалчивал о том, что существовала некая христианская оппозиция по отношению к нацистскому/ движению,

указывая на то, что он действовал согласно проповедям и практике Христианства, принятым на протяжении почти двух тысячелетий. Чтобы это утверждение звучало более правдоподобно, он должен был устранить разницу между антииудаизмом и антисемитизмом. Но и это было сделано до него. Начиная уже со времен Возрождения, с восемнадцатого века, антипатия к евреям стала приобретать расистский характер. Позже появились этнические евреи, которые искренне приняли Христианство и положили конец (во всяком случае, должны были положить) подобному отношению. Однако все эти различия были потеряны во лжи Христианства. Как говорит Рутер: «Многие из исконных христиан все время слышат одно и то же, а именно, что евреи — олицетворение зла. Они воспринимают евреев, как людей, которым выделена неприглядная роль лавочника или как сборщика налогов, и они прямо ненавидят их, не испытывая ни малейшего желания уберечь их путем перехода в Христианство».

Что надо сделать? А нельзя ли просто проигнорировать оскорбительные пассажи или, положим, даже убрать их из Нового Завета? К сожалению, это не так просто. Нельзя убрать антииудаизм из христианских Заветов, не разрушив при этом уникального мессианского утверждения, будто Иисус — это Спаситель во Христе, чья смерть искупает наши грехи и делает возможной вечную жизнь.

Что можно сделать с Заветами, в которые запакован антииудаизм, как начинка Холокоста? Это скрыто в самих структурах канонических документов. Могу ли я цепляться за удобства быть христианином, уважая Христианство лишь отчасти?

А что бы произошло, если бы христиане согласились с евреями, что Иисус не был божественным Мессией? Но тогда, что бы отличало христиан от евреев? Что бы осталось от этой великой религии, которая, несмотря на всевозможные течения, привела нашу цивилизацию к таким головокружительным высотам в развитии, а теперь, благодаря присущим ей ошибкам, является причиной катастрофических сбоев в нашей цивилизации?

Этот вопрос был вершиной всех христологических проблем, которые преследовали меня с моего шестнадцатилетнего возраста, и в конце концов, я перестал считать себя христианином.

Я получил христианское вероисповедание по наследству и считал его своим. Но теперь я не могу принадлежать церкви, чей Новый Завет относится к евреям так, как он относится. Или мне нужно прийти к каким-нибудь вероисповеданиям, свободным от этого? Но я уже успешно принадлежал трем таким течениям, и, в результате, всякий раз во мне вызывали неприязнь их аморфные амбиции и слабо обоснованное этническое содержание.

Согласно Евангелиям, все события, которые завершились распятием Христа, прошли на протяжении одной весенней недели. То, что он вошел в город верхом на осле, было политическим актом. Маккоби находит веский повод считать, что Иисус был в Иерусалиме, по крайней мере, шесть месяцев, войдя в город на своем осле предыдущей осенью. Два обоснования этому утверждению — чисто ботанические, они связаны с сезонностью свежих пальмовых ветвей на его пути и плодов на фиговом дереве.

**Следующее обоснование строится на том, что неделя — это слишком малый срок для того, чтобы любое политическое движение могло стать всеобщим. Поэтому Маккоби считает, что у Иисуса были более длительные отношения с Храмом, чем считалось до сих пор. Более длительные, чем разовое общение с денежными менялами за столом, после чего он выгнал их под всеобщий свист. Ученый разрешает некоторые противоречия Евангелия, полагая, что у Иисуса было шесть месяцев, в течение которых он развил движение, получившее большой политический резонанс. Он, по видимому, мало-помалу стал смотреть на себя, как на Мессию. Согласно Маккоби, Иисус довольно скоро стал**

**мастером Храма и окружающих его земель, действительно стал некоронованным Царем иудеев. Однако Маккоби полагает, что история Преображения Господня и сцена Коронации, описанная в Евангелиях, выглядят весьма загадочными, явно скрываемыми от римских правителей. Коронационный Псалом 2 Евангелия звучит так: «Ты мой сын, я породил тебя сегодня!» Иерусалим набирал силу. И здесь появился Иисус как законнорожденный лидер, чье предназначение — освободительная борьба против Рима. Но поскольку евреи Палестины в подавляющем большинстве поддерживали революционные идеи, римляне не спешили разгонять эти невооруженные толпы, которые, к тому же, по-прежнему подчинялись ежедневным установленным правилам Храма.**

Предположения Иисуса не оправдались. Ученый считает вполне вероятным, что когда Иисус молился в Гефсиманском саду, он ожидал божественного чуда, и это подтвердило бы его надежды на мессианство. Маккоби полагает, что Иисус никак не ожидал собственного ареста и смерти. Он молил бога поддержать его и его Храм в решительной борьбе против римлян, чтобы иметь возможность распространить по всему миру иудаистские принципы справедливости, свободы и морали, положив таким образом конец тому, что Маккоби называет «военной империей разбойников». Молитва провалилась. Иисус был арестован. Возможно, это произошло благодаря силе, которую он сам организовал, реализуя свой принцип «двух шпаг» в принципиальных спорах, действительно, более, чем двух шпаг, и не потребовалось. Какие бы планы ни были, спор закончился поражением Иисуса.

Но если Иисус, действительно, обладал политической силой, то почему Евангелия не акцентируют на этом внимание? Этот вопрос, который вполне правомерен после чтения работ Маккоби, подводит еще к одной причине того, почему Новый Завет чернил евреев и Иудаизм. Сначала Павел, а потом и составители Евангелия были вынуждены подчиняться власти Рима и не обсуждать громко позиции революционно настроенных евреев в Палестине, и уж тем более, не отзываться об этом положительно. Правители Рима кормили своих львов телами многих христиан. Не исключено, что среди них было и тело Павла. Павел умер

примерно в 65 году н.э. Ко времени, когда Марк вдали от Палестины написал свое Евангелие, Павел был давно мертв. Евангелие Марка было явно антииудаистским. Евреи Палестины проиграли войну с римлянами и были уничтожены или развезены по миру. Этот факт говорит о решающей роли римского наместника в осуществлении казни Иисуса и об отсутствии к евреям каких-либо прав на решение.

Все четыре Евангелия свидетельствуют о политической активности Иисуса. Все они утверждают, что была надпись на кресте, на котором распяли Христа: «Иисус — царь иудеев». Как убедительно показывает Маккоби, эта надпись явно соответствовала действительному положению вещей в тот исторический момент. Однако тексты Евангелий говорят, что эта надпись была написана лишь в насмешку. И христианами всегда это воспринималось как насмешка, не более того.

Насколько оригинальнее в своих речах был Иисус? Евреи знают, а христиане, в основном, не знают, что в речах Иисуса не было ничего нового, кроме способа выражения. Но вне всяких сомнений, живые, драматические, сугубо личностные беседы Иисуса представляют собой неоспоримый вклад в мировую цивилизацию.

Некоторые из бесед Иисуса кажутся выпадающими из общей картины Иудаизма того времени. Например, еврейский ученый Геза Вермес обращает внимание на предписание «подставь другую щеку» в ответ на удар по щеке. Иисус не сделал этого, он не выполнил своего собственного предписания, когда его схватил и ударил стражник. Может, предписание имеет другой смысл? И опять Маккоби, теперь уже на основе лингвистического анализа, делает предположение, что Иисус, скорей всего, не говорил «не сопротивляйся злу», а сказал «не плати злом за зло».

Иисус не много говорил о жизни семьи и из того, что он говорил, похоже, следует, что он не был энтузиастом семейной жизни для себя лично. Однако вполне разумно предположить, что иметь семью ему помешала та ответственность, которую он возложил на себя.

Некто может скептически заметить, что количество теорий относительно того, что произошло в первом веке Хрис-

тианства, зависит от числа писателей, выбравших эту тему объектом внимания. Я нашел теорию Маккоби вполне убедительной хотя бы потому, что она связывает вместе бесчисленные оборванные концы, многих из которых другие теории вообще не касаются. Теория Маккоби обнаруживает новые достойные черты характера Иисуса, которые оказались весьма привлекательными для Христианства прошлых лет, как и для нас с вами. Хотя мы и не так верим, как наши предки, но, все-таки, полны уважения к нему, особенно к таким понятиям, к которым призывал Иисус — справедливости, состраданию, добродетели. Иисус, в изображении Маккоби, был очень верующим. Он не был настолько эксцентричен, чтобы искать своей собственной смерти, и не был настолько глуп, чтобы причислять себя к божественному началу. Я думаю, что такая по-человечески добродетельная личность, как Иисус, вполне могла оказаться во главе супремальных общественных сил, хотя бы временно. Иисус был смелым и видным — он мог сильно рисковать и сильно страдать, если был убежден, что повод достоин этого. То, что Иисус взял на себя смелость вообразить прекрасное будущее всего человечества с религией этнического монотеизма, вселяет в нас надежду. Он остается высочайшим героем для всех поколений.

**Маккоби полагает, что история забыла об Иисусе, как о просто прекрасном человеке, с подачи тех, кто не мог понять, что придавать ему божественные черты — значит умалять его собственные достоинства. Он ратовал за царство Бога на земле, и он потерпел поражение. Но значение его жизни в попытке сделать это, а не в поражении.**

**Будучи евреем, он боролся не против какого-то метафизического зла, а конкретно против Рима. Уже само общественное движение, которое отрицало его собственную человеческую жизнь, придавая ей божественные черты, неверно представляло его, как человека, будто бы, настроенного против тех, кого он, по сути дела, любил и в чьих интересах боролся.**

Некоторые ученые явно недооценивая его, хотели бы, чтобы Иисус принадлежал только Иудаизму. Историк Шалом Бен-Хорин пишет: «Иисус, как блудный сын, после двух тысяч лет скитаний вернулся в отчий дом, к своим людям евреям». Теолог Мартин Бубер добавляет: «В истории веры

Израиля ему принадлежит особое, великое место». Раби Инелю в своей книге «Точка зрения евреев на Иисуса» пишет:

**Кто может вычислить, что значит Иисус для человечества? Любовь, которую он внушил, утешение, которое он дал, добро, которое он излучал, надежда и радость, которую он зажег, — нет ничего равного этому в истории человечества. Среди всех великих, которых человечество дало миру, ни один не приблизился к Иисусу по универсальности воздействия на умы и власти над умами. Он стал наиболее влиятельной фигурой в истории. В нем объединилось все, что есть лучшего, что есть наиболее чудесного и очаровывающего в Израиле, в его народе, дитя которого он был. Евреи испытывают великую гордость за то, что Иисус сделал для мира, и великую надежду на то, что Иисус может оказаться объединяющим звеном между евреями и христианами, по мере того, как будет ослабевать отравляющая непонимания его слов и его идей.**

Я считаю, что мотивация религиозных верований никак не может быть сильнее интеллекта. Однако если интеллект завел нас в неверие, то может ли он вывести нас оттуда? Я верю, что может.

По профессии я инженер. В своей работе нам — инженерам приходится ежедневно сталкиваться лицом к лицу с такими вопросами, которые требуют воспринимать мир во всей его сложности. Этика и точки зрения на мир, основанные на этике, являются подходящим полем деятельности, где может пригодиться подобное инженерное умение. Здесь следует сказать, что этика — это винтовая лестница, а не развертывающаяся единичная идея. Чтобы ее вполне понять, требуются концептуальные основания, как это сделано в философии, психологии, религии и естественных науках. Размышляя над различными концепциями, можно придти к прекрасному выводу, что практически все человечество достигло высокой степени этической компетенции. Когда мы осуждаем этические промахи других или свои собственные, нам следует с благодарностью осознать, в какое светлое время мы живем. Благодаря упорству и ясности мысли можно достичь даже конца винтовой лестницы и постичь сокровенную всеобщую внутреннюю взаимосвязность, можно достичь такого места в мире,

куда критический ум может попасть только лишь этим путем.

В древней Греции Сократ утверждал, что «жить не задумываясь — нестоящая вещь». Весь парадокс в том, что, часто, жить, задумываясь, тоже нестоящая вещь. Многие правдоискатели получили лишь разочарование от философии, которая завела их в болото, где завязли их мечты и потерялись амбиции. Студенты университетов, предупрежденные о подобных ситуациях, могут сделать вывод, что ни у кого нет адекватного ответа на вопросы философско-скептиков, чьи вопросы, утверждения и идеалы заметно определяли, в прошлом, линию поведения общества. Они могут решить, что в наше время утрачена добродетель, утрачена вместе с осознанием того, что должно быть нечто, заставляющее и позволяющее миру функционировать. Если философы теряют надежды, это отражается на миллионах людей.

Джонатан Эдвардс — лишь эпизод в истории христианской Америки восемнадцатого века, но как священнику церковной конгрегации от Нортэмптона (штат Массачусетс), ему удалось за счет своего личного влияния добиться значительного усиления религиозности среди населения по всей долине Коннектикут Ривер. Перри Миллер, биограф Эдвардса, перечисляет перемены, происшедшие за это время.

**«Молодым людям было запрещено проказничать, коверкать язык, орать песни. Была проведена реформа в одежде и пользовании тавернами, пресекались любые дурные выпады по отношению к женщинам. По всей Новой Англии, в знак почитания Библии, начал отмечаться День Лорда. В этот день примирялись все распри и исповедывались во всех грехах, старые раздоры и давно тянущиеся препирательства сменялись дружескими отношениями. В Нортэмптоне дух этой компании заходил так далеко, что городские митинги обезображивались антихристианским пылом, и это трудно представить, но, в конце концов, люди приходили к соглашению».**

Эйфория постепенно развеялась, и конгрегация выслала Эдвардса из Нортэмптона, уверенная в чрезмерности его пуританизма и проводимых им совершенствований. Он умер в 1758 году от оспы, первым в Принстоне добровольно

испытав на себе только что открытую вакцину. Доза оказалась такой большой для его слабого здоровья, что он умер быстро, даже не успев, будучи президентом, сформулировать президентские обязанности того, что теперь называется Принстонским Университетом.

Иногда мы спрашиваем себя: была ли реальная разница между моралью неверующих с одной стороны и верующих христиан, иудеев, магометан с другой? Пример Эдвардса, положим, говорит да, подразумевая Христианство. Французский государственный деятель и автор Алексис де Токвиль также отвечает да, имея в виду Америку начала девятнадцатого века, где он нашел повсеместную христианскую религиозность. Авраам Линкольн в свое время сказал: «Простой народ, в основном, счастлив настолько, насколько он подготовил свои мозги к этому». Вспоминая религиозных людей из моего детского окружения, я думаю, что замечание Линкольна более подходит к американскому поколению девятнадцатого века, чем к современному, весьма слабо религиозному.

Может быть и можно обвинить верующих христиан, или верующих иудеев, или верующих магометан в том, что основа их веры — одна лишь слепая вера, но не стоит винить верующих в наших социальных болезнях, потому что с ослаблением веры упадок в обществе становится еще более явным.

Любая работа на философскую тему представляет собой хорошую мишень для критики. Не лишне предупредить читателей об осторожности в отношении философов которые, как правило, стреляют от бедра. Философы печально известны своей грубостью друг с другом. Эта грубость идет, частично, от по-человечески непосильной задачи разобраться во множестве возможных положений в этой абстрактной области. Для большинства искателей истины философия оказалась Великим Мрачным Болотом. Почему? Мне кажется, потому, что только одна вещь помогла бы разобраться во всем этом, та вещь, которой так не хватает философам в их размышлениях, а именно, сдержанность и способность сведения сложной задачи к обозримо простой.

Здесь уместно вспомнить Питера Бертокки, старого, заслуженного профессора философии Бостонского Университета, который всегда ворчал, что если бы профессора хорошо учили своих студентов, то книги по этике, украденные из университетской библиотеки, должны были бы возвращаться туда согласно вновь обращенной воле воров. Однако он что-то не замечал, чтобы так, хоть раз, было. Я хотел бы надеяться, что любой вор моей книги вернет ее хозяину после прочтения.

*Перевод с английского  
Татьяны Мушат*

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

## ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

**В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:**

**Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605**

ИНТЕРВЬЮ  
«ВРЕМЯ И МЫ»



## КИНО НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

*Интервью корреспондента журнала «Время и мы» В. Александровского с кинорежиссером Славой Цукерманом, создателем фильма «Жидкое небо»*

*Слава Цукерман, может быть, одна из самых интересных фигур нашей эмиграции. Будучи очень молодым, но уже профессионально работая в тогдашнем московском кино, он в 1973 году эмигрировал в Израиль, затем переехал в США, где, стремясь войти в новую для себя жизнь, многие годы с невероятным упорством искал свое место в американском кино. Мало кто знает, через какие трудности и мытарства ему пришлось пройти, пока им был сделан полнометражный художественный фильм «Жидкое небо», который с большим успехом обошел весь мир. В те годы писали, что русскому режиссеру Славе Цукерману удалось переиграть американцев на их собственном поле — в этом, кажется, и была его главная заслуга как вчерашнего российского режиссера, может быть, неповторимость его пути. За годы, что мы не*

*виделись, он очень мало изменился, разве лишь чуть пополнился, но та же энергия, увлеченность своим делом, нет, даже не увлеченность, а какая-то стопроцентная самоотдача. Встретились в его манхэттенской студии на 14 улице, студия разрывалась от телефонных звонков, неухающего грохота улиц, я всегда себя спрашиваю, как это люди существуют в этом аду! Усадив меня в старинное невероятных размеров кресло, в котором я едва не провалился по уши, Слава начинает разговор с того, что он человек городской и потому жить может только в Нью-Йорке, где он чувствует себя великолепно. Новые фильмы? Планы? Одну минуту! Он только сварит капучино, без которого, как и без Нью-Йорка, не может существовать. Затем с удовольствием ответит на любой вопрос. Но при одном условии: не спрашивать о том, что он делает сейчас. «Я ведь в некоторых делах давно уже суеверен. Давайте раньше достанем деньги и начнем что-нибудь стоящее творить, а интервью... за интервью дело не станет! Кино — это область, о которой мне всегда интересно говорить и в которой не может быть скучных тем». Но разговор наш начался не с кино.*

**— С Нью-Йорком у вас абсолютная гармония? Это — прекрасно... Но у меня совсем другой вопрос — как вы себя чувствуете на пороге третьего тысячелетия? Немыслимо представить, осталось каких-то четыре с половиной года! У меня ощущение, что грядет совершенно другой мир... Другая психология, другое искусство...**

— Я не очень себе представляю, что вы имеете в виду, когда говорите о другом мире. Но что верно, то верно: перемены, происшедшие за последнее десятилетие, невероятны. Подобное даже вряд ли можно было наблюдать в расцвет индустриальной революции. Конечно, может быть, на эти оценки влияет возраст, когда время летит куда быстрее. Помните, в школе просто невозможно было дождаться конца года. А посмотрите что творится в мире сейчас. Бессмысленным становится само понятие «Последнее слово науки и техники». Когда мы говорили о научно-технической революции, то ведь прежде всего имели в виду технологию: автомобили, ракеты, новые оглушающие скорости. И вот теперь вся эта будоражившая умы технология отходит на второй план. Переворот происходит в средствах массовой

коммуникации: это компьютеры, видео, спутниковая связь. Я бы сказал, что это переворот в самой организации жизни общества, в стиле жизни людей. И, естественно, переворот в их сознании. Эта революция менее заметна, но на самом деле ее воздействие на всю нашу жизнь оказывается куда более сильным.

**— Может быть, вы очертите ее период?**

— Я думаю, что все началось с семидесятых годов, хотя в основном — это 80-е годы. По крайней мере, несколько крупных открытий, которые меняют лицо мира, произошли в последние 20 лет. Лично для меня (да, вероятно, и для многих, кто это будет читать) границей стала наша эмиграция. Вся моя жизнь — это жизнь «до переезда» и «после переезда». Вот это самое время — около двадцати лет! — и оказалось крайне революционным. Нас оглоушило то, что случилось в России, там произошли события, которых никто не ждал. Но перемены охватили не только Россию, а и весь мир, они происходили повсюду, во всех сферах жизни. И, конечно же в кино, может быть, в первую очередь в кино. Например, до нашего переезда (сейчас это немыслимо представить!) не было вообще видеокассет. Они просто не существовали, а появились около пятнадцати лет назад. И где-то, в то же время, может быть, лет на пять позже, иной облик стала обретать сама киноиндустрия. Наступили времена, когда видеокассеты стали приносить большие доходы, чем кинотеатры. То есть фактически в корне изменилась вся структура киноиндустрии. Но не успели опомниться — и вот уже эпоха кассет подходит к концу. Думаю, что скоро их никто и видеть не будет. Так же точно как за это время полностью исчезли пластинки. А сколько мы жили с пластинками, вся наша молодость прошла под их музыку! Но вот появились Си-Ди, и за невероятно короткий срок пластинки вместе с патефонами ушли в историю.

**— Один попутный вопрос, раз уж вы завели речь о закате эры видеокассет. Что-то ведь придет на их место? Что же именно?**

— Возникнут иные формы записи, которые принесут нам совершенно другие варианты жизни. Во-первых, кинопродукция не будет распространяться при помощи видеофиль-



мов. Что такое кассета? Кассету вы или покупаете, или берете напрокат. Так вот, вся эта накатанная система проката исчезнет. Думаю, что не за горами время, когда в распоряжении зрителя будет несколько сотен каналов телевидения и простым нажатием кнопки можно будет буквально в секунду вызвать любой фильм и автоматически за него заплатить. Зачем же тогда видеокассеты?

— То есть, скажем 2000 год уже будет таким годом?

— Этого я не берусь утверждать. Предсказания эти, возможно, на более далекое время. Какие-то вещи происходят очень медленно, но никогда по техническим причинам, а как правило, по причинам юридическим, связанным с разного рода проблемами оплаты, копирайта, международных прав и т.д. Технически, как правило, все происходит гораздо быстрее. Да вот вам школьный пример — с компьютерами. Подобно тому, как никто не мог предвидеть крах социалистической системы, никто не мог предсказать и будущей роли компьютеров. Те из них, которые очень часто являлись прерогативой крупных секретных учреждений, — сегодня может иметь каждый человек. Даже низкооплачиваемый человек может позволить себе роскошь иметь такой же мощности компьютер. Я прекрасно помню один из моих первых профессиональных фильмов, который я делал на студии «Центрнаучфильм», назывался он «Большие колокола». Все это, конечно, сейчас смешно. Оказывается, еще Ленин сказал, что о технике и технической информации мы должны бить в большие колокола. Поэтому все, что касалось технической информации, проходило в фильме под этой ленинской цитатой. Речь шла, как помню, о каких-то громоздких и мощных копировальных машинах и таких же невероятных для нашего времени компьютерах. Снимал я тогда все самое передовое в России, да в общем и во всем мире, — в те дни на ВДНХ проходила первая закрытая выставка технических достижений, которым как раз и была посвящена эта лента. Выставка буквально потрясала умы. Но что представляла собой компьютерная техника? В основном тасовалось множество различных карточек. Были машины — прародители нынешних ксероксов: крутились какие-то гигантские цилиндры, творившие всякого рода копии. Все это казалось чудом — сейчас,

почти у каждого человека есть ксерокс, у каждого есть факс — кстати еще одно чудо, которого никто себе представить не мог. Но вернемся к кино...

**— Да, вернемся к кино — и уточним, о чем все-таки идет речь — о вытеснении кино телевидением или о слиянии кино и телевидения?**

— Ни о том, ни о другом. Просто и телевидение и кино получают новые технические формы, которые могут решительным образом все изменить. Прежде всего кино изменится с точки зрения художественной. Следует сказать, что компьютер за последние год-два ввел, по существу, новый киноязык. С чего начиналось? Начиналось с того, что лет десять назад компьютер впервые стал использоваться для комбинированных съемок. Но это были только первые шаги, ибо за десять лет пройден такой путь, который просто невозможно представить — от создания в фантастических фильмах разного рода эффектов и кинотрюков, до воистину потрясающей стадии, когда с помощью компьютера в кино стали делать буквально все. Конечно, и до этого знали, что применение компьютеров не знает границ, но теперь все начали делать практически. Несколько фильмов прошлого года это довольно убедительно показывают: я говорю о пленках, уже точно не имеющих к фантастике никакого отношения, как например, «Форест Гамп», где компьютером созданы и впрямь немислимые вещи — от создания образа безногого инвалида (актер играет с ногами, которые с помощью компьютера затем убрали) до создания сцен, в которых герой общается с реальными существовавшими президентами, кинозвездами, давно отошедшими в мир иной. И так, сегодня компьютер может быть употреблен для создания любой реальности. И он, собственно, это уже делает, нацеленный на выполнение самых дерзких задач. Если создателям фильма позволяет бюджет, то они используют деньги, заложенные на компьютер, не для получения каких-то фантастических эффектов, — чем дальше, тем меньше этим довольствуются — а для воссоздания картин реальной, живой жизни. Допустим, режиссера не устраивает, чтобы в фильме актер выглядел усталым, с недостаточно выбритым лицом — и вот с помощью компьютера ему изменяют выражение лица, бреют его на

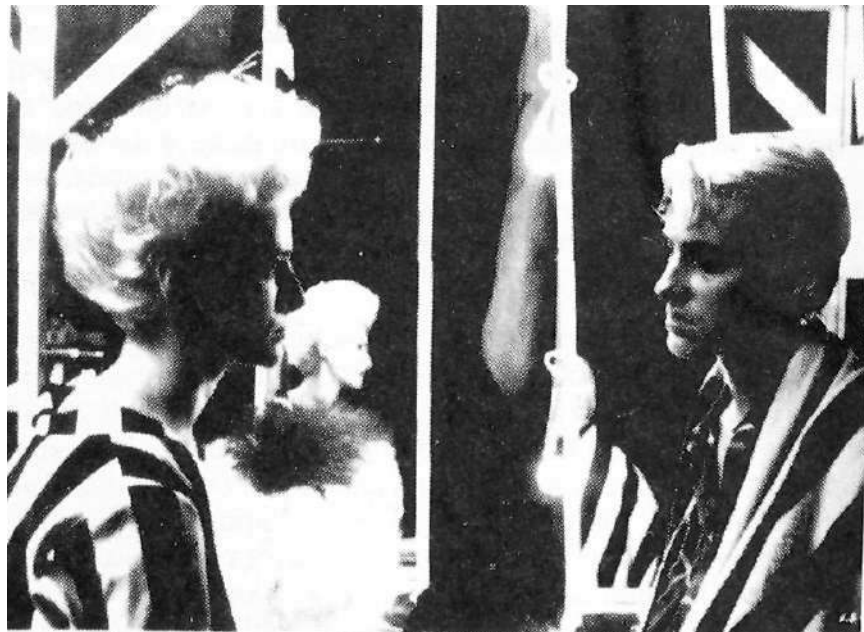
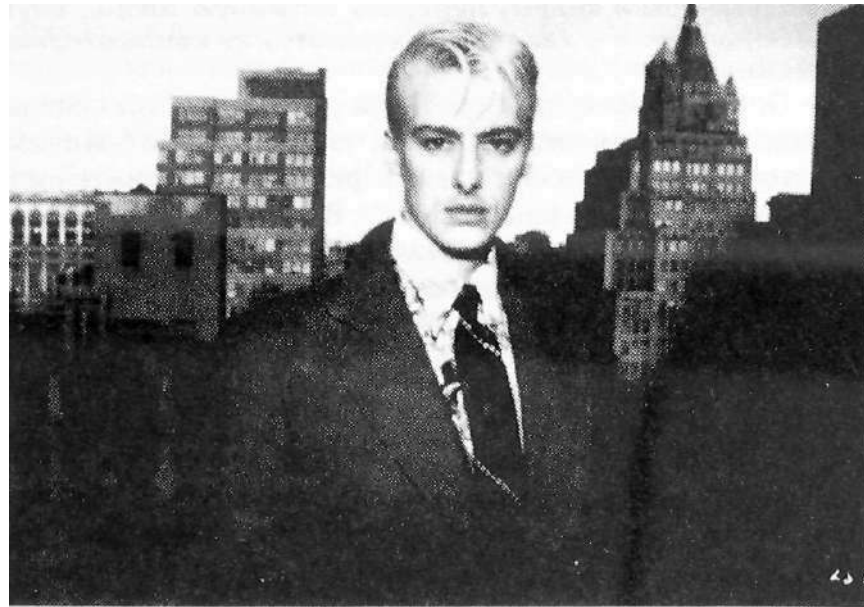
экране уже снятого. Или девочка в одном эпизоде играет хорошо, а в другом плохо — и тогда эту же девочку, игравшую в совершенно определенной обстановке, вырезают из фона и перемещают в другой эпизод, переозвучивают его, — все это и значит, что компьютерам сегодня под силу создание какой угодно реальности. Вспомним, например, фильм «Маска», появившийся в 1995 году — год, по-моему, переломный, когда компьютер стал применяться для производства любых фильмов. Так вот, маска прирастает к лицу человека и начинает играть как живая карикатура, появляется мимика, которая нормальному человеку просто недоступна. Это был первый случай, когда игра актера и компьютерная анимация слились воедино, в одном образе — нельзя сказать, что нарисовал художник, а что сыграл актер, их просто невозможно разделить: один и тот же характер создан и компьютером и актером. Идет настоящая компьютерная экспансия — с одной стороны экспансия идет в кино. Пока что довольно дорого творить на киноэкране подобные вещи. Но в больших голливудских картинах, где бюджеты часто неограниченны, режиссеры уже позволяют себе применять компьютеры настолько, насколько хотят. На другом конце этого процесса также творятся чудеса, но уже в смысле удешевления кино. Дело дошло до того, что стало возможным, употребляя домашнюю любительскую видеокамеру, снять полнометражный фильм и выпустить его на экран — я довожу это, конечно, до крайности, но в действительности оно почти так и есть. То есть можно сделать фильм, практически не затрачивая более или менее серьезных денег. Доказательством служит идущий с успехом по всей Америке фильм «Братья МакМюллен», который был снят за 17 тысяч долларов. Можно переводить отснятую видеопленку на фильм и отличить этот фильм от обычного, снятого для кино, невозможно. Это все также благодаря компьютерной технике, с помощью которой осуществляется превращение «полосатого» видеофильма в настоящее кино. Поистине, становится возможно все — от создания на экране какой угодно реальности, любых картин жизни, которые компьютеры способны изменить в любом направлении — если у вас много денег, до съемок почти бесплатных фильмов, если у вас денег нет.

**— И все же: если требуется выполнить какие-то глубоко психологические кадры, передать интимную жизнь, внутреннее волнение — как тут? Не сужаются ли компьютерные возможности?**

— О, нет, скорее, наоборот! Как ни странно, но если вы снимаете с очень легкой, дешевой техникой, почти без света, как это делается в любительских фильмах, то возможности компьютеров только расширяются. Ведь в той же интимной жизни не всякий еще интимно сыграет, когда рядом огромная группа, да еще под мощным освещением, а если вы снимаете простой видеокамерой, без света, в абсолютно естественной обстановке, то можно достигнуть такой степени реализма и натуральности, о которой в добрые, старые времена могли только мечтать. Другое дело, что с изменением структуры проката произойдет неизбежное разделение между кино и видео. Уже сейчас очень многие фильмы не выходят на экраны, но продаются на видеокассетах и демонстрируются по телевидению. Причем зарабатывают на этих фильмах очень и очень неплохо. Несмотря на то, что в кино выходит дикое количество картин — буквально каждый день! — тем не менее находятся люди, которые этим не довольствуются. И вот они получают возможность смотреть по телевидению, по каким-то кабельным каналам, фильмы, которые не вышли и возможно, никогда не выйдут на экраны.

**— Теперь вопрос из совершенно другой области, — о школах современного кино. Как мы знаем, в мире всегда существовали две школы — европейского кино и американского кино. Что с этим происходит? И происходит ли что-то вообще?**

— Конечно, происходит! Эти школы не просто существовали. Я, например, хорошо помню, что, когда я впервые начал думать об отъезде, я именно по причине существования этих двух школ, никогда не мог себе представить, что окажусь в Америке. Поскольку я кинематографист, я был твердо уверен, что подлинное искусство кино — в Европе, а в Америке коммерческое кино, к настоящему искусству не имеющее никакого отношения. Когда я эмигрировал, то, во-первых, понял, что на западе все не совсем так, как я себе представлял. Кроме того, на моих глазах происходил некий интересный процесс (это для меня стало очевидно уже в начале



Кадры из фильма Славы Цукермана «Жидкое небо». © Z-film  
Фото Юрия Неймана

Кадры из фильма Славы Цукермана «Жидкое небо». © Z-film

Фото Юрия Неймана

70-х годов, когда я приехал в Израиль) — с одной стороны это был процесс европеизации американского кино, с другой — исчезновения и отмирания европейского кино. Трудно сказать, завершился этот процесс или нет — в нем могут происходить какие-то совершенно неожиданные повороты, — но, если взять режиссеров даже в чисто арифметическом выражении (естественно тех, кто делают что-то новое, обогащающее современный киноязык, и которые получают премии на европейских кинофестивалях), то таких режиссеров в Америке окажется в несколько раз больше, чем во всех европейских странах вместе взятых. Я затрудняюсь сказать, почему происходит такое обеднение Европы — поскольку о европейском кино я, вообще, не так уж много знаю, — но сам по себе факт очевиден. Американский фильм всегда имеет больше шансов на сборы, мы не говорим о всякого рода боевиках, которые, естественно, имеют больше шансов на рыночный успех, а говорим об экспериментально-эстетических фильмах, которые сделаны в Америке, но имеют больше шансов на сборы в Европе, чем фильмы европейские.

— **Выходит, все это только разговоры, что европейцы умеют лучше, чем американцы, показать человеческую проблематику, показать живую жизнь, психологию людей?**

— Но если нет вообще настоящего фильма, то какая у него может быть проблематика? И если мы говорим, что тамошние поклонники киноискусства предпочитают европейским фильмам американские, то по всей вероятности, в этих фильмах больше искусства. Поэтому я думаю, что с какого-то определенного момента говорить, что европейские фильмы ближе к живой жизни, что они там человечнее, реалистичнее и т.д. — вряд ли будет правильным.

— **Ну, а итальянская школа — Феллини, Антониони, Бертолуччи — многих ли мы можем поставить рядом с ними в Америке?**

— Но ведь это прошлое. Уже многие годы мы не видели ничего нового, пришедшего из Италии. Вы говорите об уходящем поколении, которое, в сущности, уже дорабатывает свое. А вот, чтобы за последние годы в той же Италии появился новый режиссер, который всех потряс, такого я не помню. В Англии появляются: очень быстро сделав несколько успешных английских фильмов, приезжают в Голливуд и

начинают делать американские. И поскольку существует вот такой широкий кинообмен между многими странами, то с англоязычной кинематографией дело обстоит как-то лучше. Можно сделать сугубо эстетский фильм в Англии, чего в Америке вы никогда не произведете, но при этом иметь американский и другие англоязычные рынки. Но это опять-таки не область культуры и эстетики (поскольку культурный вопрос здесь второстепенен), а область коммерческая. Вспомним, что европейское кино входит в государственные структуры. Не просто кино поддерживается государством, а оно существует на государственные деньги. Тогда как в Америке кино — это всегда частный бизнес, до которого не так-то просто добраться. Это и объясняет то, что даже многие американские фильмы делаются на европейские деньги. То есть, если попытаться это определить в двух словах, то можно сказать, что и в области артистического кино Америка стала лидирующей страной. Но с другой стороны сравнивать современное кино с фильмами 50—60-х годов (когда как раз и появились такие фигуры, как Феллини, Антониони, Бергман), не приходится. Ни в Америке, ни в Европе ничего особенного не происходит. Можно сравнивать страны, а можно сравнивать эпохи. Если сравнивать эпохи, то гигантов, о которых мы только что говорили, ни там, ни здесь нет. То есть это время без эстетических открытий. Зато повторю снова, что произошел настоящий взрыв в техническом развитии и в массовом интересе к кино. И кто знает — возможно происходит какое-то постепенное накопление технических открытий, чтобы потом произошел взрыв эстетический. Такова создавшаяся объективная ситуация, которая, впрочем, не дает нам основания впадать в пессимизм. Если мы окинем взором американский «мэйн стрим», магистральный путь американского кино, то все-таки он включает сильнейших режиссеров мира, возьмите, например, Френсиса Капполу («Крестный отец», «Апокалипсис сегодня») Мартина Скарсезе («Водитель такси»), я уже не говорю о Роберте Олтмене («Нашвилл»), поскольку его взлет относится скорее к прошлому — так вот, эти и ряд других режиссеров уже сделали свой скачок, они более европеизованы, чем предыдущее поколение режиссеров. Тут происхо-

дит как бы известное смешение школ, смысл которого не всегда просто понять. Ведь когда мы пытаемся оценить достигнутое, мы отталкиваемся от той теории, с которой я уехал, что вообще-то искусство и культура в Европе. Большую часть кинопродукции Голливуда и создаваемое им коммерческое кино, мы, вообще, не рассматривали как эстетическую данность, подлинных старых американских мастеров оцениваем с точки зрения европейского стандарта. В этом, думаю, и заключается суть дела. Но кроме того, произошел любопытный процесс лично со мной. Смысл его в том, что я сегодня уже не смотрю на вещи, как раньше, — де все, что делалось в Европе — это и есть настоящее искусство, а все, что делалось в Америке, да в том же Голливуде, — все это какая-то коммерческая макулатура. Мои личные взгляды на это полностью изменились. Все дело в том, что американское кино подходит к реальности с несколько другой стороны, которая для нашего российского воспитания была совершенно не приемлема. Мы просто блокировали предлагаемое нам американское восприятие, поскольку оно противоречило той системе верований, из которой мы вышли. Это были взгляды, в которых все, что называлось искусством, основывалось на постоянной борьбе с обывателем. Обыватель, мещанин — это всегда плохо. Немецкая, романтическая точка зрения, подхваченная и развитая в России, сводится к тому, что хорошо то, что элитарно, дурно все массовое. Извращенным коммунистическим путем, которым мы воспитывались, каким-то образом все время говорилось о народе, все для народа, но при этом в действительности провозглашалась антимассовость и элитарность. Такой вот парадокс был заложен в предлагавшейся нам системе верований. Этот вытекающий из коммунистических взглядов подход, представлявший собой эклектику разных взглядов, и приводил к определенным оценкам американского кино. Я читал все или почти все, что было известно мне и моему окружению об американском кино, и прежде всего, путевые заметки писателей и кинематографистов в 30-е годы — все они сходились во мнении, что американские фильмы ужасны. И вот теперь, когда я снова смотрю эти ленты, я вижу насколько эти фильмы были выше всего, что делалось в Европе. Повто-

рю, в Америке существует другой угол зрения на жизнь. Нету слова «обыватель» в американском языке, нету слова «мещанин». Здесь масса всегда права, а «элитарное» бессмысленно, потому что непонятно массам. Ясно, что нужно сильно перестроиться, перейти в другой мир, чтобы воспринять эту систему верований. Есть тут и другой парадокс: то, что в 30—40-е годы предназначалось для масс, в 90-е годы опять становится принадлежностью элиты. Все это эстетические вопросы, которые не очень просто понять, тем более сами оценки с течением времени меняются. Поэтому, скажем, те фильмы, которые сегодня нравятся мне и могут нравиться элите, 20—30 лет назад вызывали диаметрально противоположную реакцию — тогдашняя элита просто плевалась, когда смотрела их.

**— Вы говорили о революции, происходящей в кинематографии. Значит ли это, что кино в старых, традиционных формах вообще не сохранится. Попили, как говорится, вечером чайку и отправились в соседний кинотеатр в кино. Уйдут ли в принципе эти вещи из жизни?**

— Но это о другом — о формах существования кино. Никто здесь пророком быть не может. В 50-е годы считали, что кино, вообще, отживает свой век. При том великом расцвете, который происходил в Европе, в Америке, все было по-другому. Телевидение развивалось с такой скоростью, что казалось, не за горами время, когда оно вообще отберет у кино публику. Что, кстати, и происходит сейчас в России. Мне кажется, что этот кризис был связан с тем, что к тому времени изменилось лицо Америки — появился как бы новый класс — класс тинейджеров. Раньше этот класс просто не замечали, вначале были дети, потом они становились взрослыми и все. Так, собственно, всегда было в России. Если мы возьмем «Войну и мир», да и любое произведение 19 века, там мы не найдем никаких тинейджеров, ни вообще юношей. Были опять же дети, которые сразу становились взрослыми. Так вот, тинейджеры вошли в общество со своими интересами, которые оформились в области рок-н-рола, а кино для них не делалось вовсе. Просто не знали, что для них надо делать кино. Фильмы создавали для взрослых, а взрослые, которым было за тридцать-сорок, сидели дома у телевизоров и в кино не ходили. Но, когда стали делать фильмы, ориентируясь

именно на тинейджеров, залы кинотеатров снова заполнились. У кино появилась чрезвычайно мощная аудитория. Поразительный факт: те фильмы, которые были сделаны за последние 15—20 лет, дали больше сборов, чем было собрано за все предыдущие годы, за всю историю американского кино.

— Кажется, мы прямо подошли к «Жидкому небу», его зрители ведь как раз и были тинейджеры. Так ведь?

— «Жидкое небо» был довольно хитрый фильм, рассчитанный и на тинейджеров и на эстетов сразу. Он, может быть, не был ориентирован на старую часть общей публики, но его зрители составляли именно эти два очень разных потока. Последнее во многом и определило его популярность и сборы. Но сегодня, кстати, упомянутых нами тинейджеров уже нет. Они выросли, привыкнув ходить в кино и оставаясь его многочисленной аудиторией. Тинейджеры взрослеют, и кино, вместе с этой своей аудиторией, тоже взрослеет.

— И наконец, о России. Как вы относитесь к сегодняшнему российскому кино и, в частности, к экспортируемому оттуда на Запад фильмам?

— В России я был пять лет назад, с тех пор там очень многое изменилось. К сожалению, живя в Америке, я вижу очень немного российских фильмов. Тогда как выпускается там их огромное количество. Может статься, что я что-то упускаю, и там выходит нечто значительное, хотя думаю, что, если бы было на самом деле что-то замечательное, его бы обязательно сюда привезли.

— Хорошо, тогда у меня более конкретный вопрос: как вы относитесь к михалковским фильмам, ну, скажем, к «Утомленному солнцу»?

— На это я могу ответить однозначно: мне этот фильм понравился, он произвел на меня сильное впечатление. Как всякий интеллигент я бы хотел прежде всего сказать, что он мне понравился потому, что взгляды автора не противоречат моим собственным взглядам. Откровенно говоря, я меньше всего ожидал от такого режиссера, как Михалков, что его взгляды на события в России не будут отличаться от моих.

— Это вы об идее, а что же режиссерская работа?

— Этот фильм мне понравился во всех отношениях. Помимо всех прочих, у него есть еще одно достоинство,

которое, вообще, свойственно Никите Михалкову, но в этом фильме это трудно было ожидать даже от него: фильм сделан так, что его понимают и принимают американцы, пусть даже в том малом количестве, которое, вообще, смотрит русские фильмы.

— А если возьмем картину брата Никиты Михалкова Кончаловского — «Ближний круг», вы, конечно, знаете этот фильм, со Сталиным, с Берией, с развернувшейся на экране эпопеей. Или вот другой фильм «Прорва» — я недавно его видел по московскому телевидению — о 37-м годе, но как бы показанного с черного хода, об интимных отношениях людей в этот страшный год...

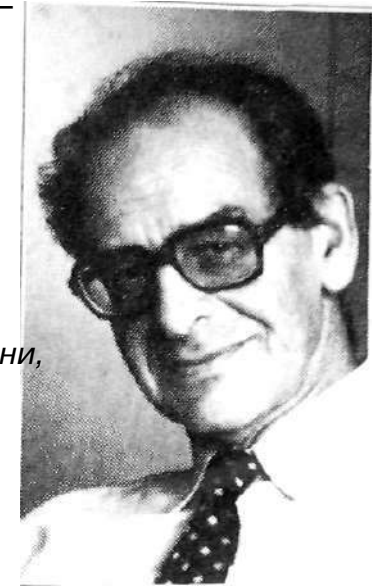
— «Ближний круг» мне, откровенно говоря, не понравился. Из чисто личных соображений. Хотя в этом фильме и есть кинематографические достоинства, для меня сам подход режиссера к теме не приемлем, в отличие от картины Михалкова. Вообще-то, среди увиденных мной фильмов о сталинской России, был только один, который по-настоящему потряс меня, но опять же это очень лично. Правда, этот фильм абсолютно недоступен американской аудитории. Я говорю о картине Петра Тодоровского «Анкор, еще анкор». Об этом фильме можно спорить, он многим не нравится, но в нем отсутствуют вещи, которые меня больше всего раздражают в фильмах перестройки. В картине Тодоровского абсолютно нет того, что называют «чернухой», которой в последние годы переполнены российские экраны. Чернуха — и есть основной термин, определяющий кино эпохи перестройки. Вот вы упомянули фильм «Прорва», который, кстати, я очень ждал, именно потому что он тоже на тему, которая меня сильно волнует. Но когда я его посмотрел, то был сильно разочарован. Именно из-за этой самой чернухи. Дело, конечно, не в том, что в нем много секса. Я говорю о вкусе его создателей, об эстетике их подхода к материалу, о способности передать некую красоту жизни. Герои «Прорвы» отвратительны — и это мне мешает его принять, согласиться с ним. В отличие от «Прорвы» герои Михалкова, и вся атмосфера их жизни вызывает симпатию. Думаю, потому, что Михалков смотрит на российскую жизнь глазами, которыми и надо на нее смотреть. Ведь если вы не принимаете эту страну, то и жить в ней не следует, как и не следует делать о ней кино. А фильм

Тодоровского в этом отношении замечателен. Своим подтекстом что ли. Там тоже есть секс, КГБ, — все, что в других российских фильмах. Действие происходит в маленькой воинской части, в атмосфере очень типичной для русской литературы, если вспомнить хотя бы Куприна или Чехова. Но люди, которые там действуют, в отличие от «Прорвы» — вызывают к себе другое отношение. Жизнь их страшна. Но этот ужасный мир в то же время и прекрасен. Именно таким его показывали Платонов, Бабель. Такое восприятие мира мне и близко.



Издательство „АТРИУМ“  
предлагает  
вниманию коллекционеров  
и любителей книжных редкостей  
издание романа А. С. ПУШКИНА  
„ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН“  
Текст романа сопровождается  
серией новых иллюстраций художника А. КОСТИНА;  
впервые публикуемое  
цветное факсимильное воспроизведение  
рукописи „осьмой главы“;  
фундаментальный комментарий  
известного семиотика Ю. М. ЛОТМАНА  
Контактный тел. (095) 258-1992

## ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО



*Вижу идущего через горы времени,  
Которого не видит никто.*

В. МАЯКОВСКИЙ

Ефим ЭТКИНД

## ДАВНО УЖ ВЕТРЕНАЯ ЛЕТА

### Лещик, лещик, милый лещик...

В альманахе «Тарусские страницы», появившемся вопреки всякой логике в 1961 году, было напечатано загадочное стихотворение Давида Самойлова «Памяти А.Р.». Я обратил внимание на строки:

**Он был убогим инвалидом  
Не бывшей — будущей войны...**

И внезапно догадался: да ведь «А.Р.» — это Алик Ривин! Самойлов имеет в виду стихотворение, оставшееся неопубликованным, как все, что сочинял Ривин: его начало вспоминалось мне в военные годы:

**Вот придет война большая,  
Заберемся мы в подвал.  
Тишину с душой мешая,  
Ляжем на пол наповал...**

Вероятно, он погиб от голода во время блокады в 1942 году — лет двадцати пяти. Или покончил с собой. Впрочем, голодной смертью он мог умереть и без всякой блокады, в самое благополучное довоенное время.

\* \* \*

К нам он приходил неожиданно, ставил на обеденный стол замызганный чемоданчик и произносил: «Гиб гелд» (дай денег). «Гелд» у нас не было — обеих месячных стипендий едва хватало недели на две, и мы сами, Катя\* и я, редко бывали сыты. Ривину мы отдавали бутылки. Он складывал их в чемоданчик, где обычно уже сидела кошка, и уходил на промысел: кошку за три рубля сдавал в университетскую лабораторию, бутылки — на приемный пункт. Кажется, только этим «гешефтом» (так он обозначал свою нехитрую коммерцию) Ривин и существовал; других источников дохода не помню. Две женщины иногда поддерживали его: критик и переводчица Тамара Юрьевна Хмельницкая и германистка Раиса (Леля) Френкель. С последней был, кажется, роман; в стихах Ривина об этом грубовато и невнятно сказано:

**Оставьте меня, я простой и хороший,  
Я делал всю жизнь, что делали вы.  
В передних я путал любовь, как калоши,  
И цацкался с Лелькой на спусках Невы...**

Что же до Тамары Хмельницкой, то она поверила в гениальность Ривина, услышав в его воющем чтении поэму «Рыбки вечные», и просто купила у автора рукопись — те засаленные, измазанные сажей бумажные лохмотья, на которых во все стороны прыгали корявые буквы, складывающиеся в песенные куплеты:

**Лещик, лещик, милый лещик,  
Кругло выпуклый щиток!  
Ах, какой хороший резчик  
Нарезал тебе бочок!**

**Как расплющенный бочонок,  
Как горбатый тонкий лист,**

**Как блестящий пяточенок,  
Как зеркальный оптимист.**

**Лещик, лещик мой хороший,  
Серебристый, нарезной!  
Как расплавленные гроши,  
Ты лежишь передо мной,**

**Плавниками колыхая,  
Разевая тонкий рот...  
А жизнь проходит, штанами махая,  
И в лицо тебе плюет!**

Заунывно и тихо напевал он эти стихи и вдруг без всякой паузы начинал надрывно кричать — голосом, поднимавшимся все выше:

**Не пройдет такого года,  
Не пройдет такого года,  
Не пройдет такого дня,  
Чтобы новая погода,  
Чтобы новая погода,  
Чтобы новая погода  
Не покомкала меня!**

Он картавил — «р» звучало как «х», твердое «л» как «у» («Пуавниками коухая...»), шепелявил, гнусавил. Но в его чтении была магнетическая сила — оно затягивало, оглушало, пугало, иногда внушало нечто, близкое к отчаянию. Когда он в нашем доме появился впервые — в феврале 1940 года — мы в самом деле испугались: неподвижного взгляда черных глаз, мелькавшей в воздухе правой руки, на которой не было пальцев, оглушительного воя стихов с видениями из ночного кошмара, в которых звучала зрелая решимость покончить с жизнью:

**Вниз головой, вниз головой,  
Грызть кукурузу мостовой!**

«Кукурузу мостовой» — можно ли точнее и страшнее сказать о мощеной булыжниками улице, которую самоубийца видит из окна, прежде чем на нее упасть? В стихах Ривина постоянен такой предсмертный взгляд: последнее впечатление обреченного на казнь. Или решившегося на самоубийство.

\* Екатерина Федоровна Зворыкина, жена автора.



Мы жили легко, даже весело: нам было чуть больше двадцати. Любили, сочиняли пародии, пели смешные песни, читали романы по курсу французского Просвещения, играли в покер. А страна утопала в крови — наша молодость старалась — или пыталась — этого не видеть. Пишу эти строки в феврале 1994 года, 54 года спустя, а вот сегодня утром, еще не зная, что мне предстоит писать, я прочел впервые опубликованное (в «Московских новостях») последнее слово Н.И. Ежова — он произнес его в заседании Военного Трибунала 3 февраля 1940 года, а 4 февраля был расстрелян. Ежова, ответственного за пытки и убийства многих сотен тысяч ни в чем не повинных людей, подвергли самого избиениям и пыткам («На предварительном следствии я говорил, что я не шпион, что я не террорист, но мне не верили и применили ко мне сильнейшие избиения»); он признал свою вину, как он ее понимал — совершенное им преступление сводилось к тому, что он казнил недостаточно врагов. («Я почистил 14000 чекистов. Но огромная моя вина заключается в том, что я их мало почистил».) Это происходит 3 февраля — а ведь я именно об этом времени рассказываю. В эти самые дни у нас бывал Ривин и, зажмуриваясь, срывающимся голосом не то пел, не то рыдал:

**Это было под черным платаном,  
На дорожке, где жабы поют.  
Там застыл Купидон великаном,  
Там зеленый и черный уют.**

**Там лежала в рассыпанных косах,  
Золотистая харя лица,  
И в глазах, удивленно раскосых,  
Колотилось два темных кольца.**

**А потом они стукнулись дружно  
И упали под веко в белки.  
Ничего им не свете не нужно,  
Ни любви, ни цветов у реки...**

А дальше шли строфы, в которых концентрировано воспоминание о терроре 1937-1939 годов, и даже как бы отразилась судьба самого Ежова, сказавшего о себе в

последнем слове «я признался во всех обвинениях, потому что по своей натуре не мог выносить над собой насилия»:

**Я поднял удивленную ручку,  
Удивленную ручку поднял,  
Подмахнул на листе закорючку  
И судьбу на судьбу променял.**

**И меня положили за стены,  
На холодный, на каменный пол.  
Дали мне на подстилку две смены  
И расшатанный старенький стол...  
После смерти земные убийцы  
Удаляются жить на луну...**

Его не сажали. Подвалов Лубянки и Шпалерной он не видел. Мог ли Алик Ривин знать, что в те самые дни, когда он сходил с ума от ужаса, когда выл свои фантазмагории, в России расстреливали тысячи людей в сутки, не меньше одного в секунду? Переходя Литейный проспект, мог ли он догадываться, что происходило внизу, под его ногами? Там были пыточные камеры и расстрельные подземелья; потоки крови по специальным трубам сливались в канализацию и в Неву. Представим себе на мгновение, что Божественному Оку дано увидеть то, что происходит одновременно в один и тот же день 3 февраля 1940 года: Ривина, который, жмурясь от ужаса и стихового напева, орет свои рифмованные кошмары, полумертвого Ежова, который, ожидая казни, почти шепотом раскаивается в собственной либеральности, профессора Д.Д. Плетнева, который напишет про эти самые дни Ворошилову: «Ко мне применялась ужасающая ругань, угрозы смертной казнью, таскания за шиворот, душение за горло... угрозы вырвать у меня глотку и вместе с ней признание... Всем этим я доведен до паралича половины тела...» Таким Божественным Оком может быть только поэт: ему дано прозрение — способность чувствовать и переживать то, что не переживает никто. Сверстники Ривина играли в покер, а рядом с ними — в том же трехмерном пространстве, в котором они жили, — скитался уродливый, никчемный мальчишка, торговавший бродячими кошками и пустыми бутылками, и смотрел сквозь стены, видел горы мертвецов и потоки

крови там, где они видели физкультурные парады и «Лебединое озеро». Когда Пушкин написал «Пророка», он не выдумал ничего небывалого: поэт слышит «И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье»; поэт угадывает будущее («Вижу идущего через горы Времени...»), прозревает сквозь толщу земли и стен.

\* \* \*

Каким-то непостижимым образом поэту дано знать то, что скрыто от всех. Не надо отмахиваться от этой правды — она важнее всего, что может открыть людям литературоведение. Мандельштам многое сказал людям, но что сравнится с угаданным им в тридцатые годы? Он умолял судьбу увести его туда, «где не видно ни труса, ни хлипкой грязи, ни кровавых костей в колесе», он в 1932 году знал о кровавых костях. И Маяковский знал о том, чем был год «великого перелома» — он тоже смотрел сквозь стены; потому и застрелился. Это куда существеннее, чем крушение «любвонной лодки», которая «разбилась о быт». Тот еврейский мальчик, о котором я вспоминаю, погиб, не прославившись, даже не увидев ни одной напечатанной страницы. Но он был поэтом, в самом истинном смысле этого понятия — прозорливцем. Всем окружающим он казался не то безумцем, не то юродивым; потому что они и он жили в разных мирах. Они собирались по вечерам, потягивали вино и пели модную в конце тридцатых годов, беззаботно лихую песню Лебедева-Кумача и Дунаевского из кинофильма «Веселые ребята»:

**Капитан, капитан, улыбнитесь,  
Ведь улыбка — это флаг корабля.  
Капитан, капитан, подтянитесь,  
Только смелым покоряются моря!..\***

Ривин жил с ними рядом, видел в кино «Веселых ребят», но смотрел сквозь стены, чувствовал, что Лебедев-Кумач существует как заслон, а позади «улыбки», которая — флаг корабля, провал в черный ужас. И пел он ту же песню тридцатых годов — иначе. От еврейского гротеска в его «Капитане» кровь холодеет в жилах:

\*Песня из фильма "Дети капитана Гранта" (Д.Т.)

**Капитан, капитан улыбнитесь,  
Кус ии тохес\*, это флаг корабля...  
Наш корабль — без флагов и правительств,  
Во Вселенной наш корабль — Земля.**

**Мы плывем, только брызжем звездами.  
Как веслом, мы кометой гребем.  
Мы на поезд судьбы опоздали.  
Позади наш корабль времен.**

**Так над жизнью, над смертью, над валом,  
Над разбрызганным зеркалом звезд,  
Улыбнись, капитан, над штурвалом.  
Наступи этим волнам на хвост.**

**Раньше взлета волну не поймаешь,  
Раньше света не встанет звезда...  
Капитан, капитан, понимаешь?..  
Раньше жизни не будет судьба!..**

**Так над жизнью, над валом, над смертью,  
Над разбрызганным зеркалом звезд,  
Улыбайся, товарищ, бессмертью,  
Наступи ему сердцем на хвост.**

Можно ли забыть о том, что свою «Песенку о капитане» В. Лебедев-Кумач написал в 1937 году\*\*, как, впрочем, и «Веселый ветер» и «Песню о Волге»\*\*\*, где весь смысл сводится к строкам: «Наше счастье, как, молодое, Нашу силу нельзя сокрушить. Под счастливой советской звездой Хорошо и работать, и жить...» Это, повторяю, 1937 год. Примерно в то же время созданы строки, звучащие — сегодня — пародийно: «Всех лучше советские скрипки На конкурсах мира звучат, Всех ярче сияют улыбки Советских веселых девчат...».

А в Ленинграде бродил по переулкам и дворам Алик Ривин, перепевавший все песни своих современников. Шагая с торжествующим оптимизмом в первомайских колоннах демонстрантов, молодые люди горланили «Каховку» Михаила Светлова, увековечившую романтику гражданской войны — лучшую легитимацию режима:

\* Поцелуй в зад (идиш).

\*\*Фильм снят в 1936 г. (См. Википедию — Д.Т.)

\*\*\*Фильм "Волга-Волга", в котором звучит "Песня о Волге" снят в 1938 г. (См. Википедию — Д.Т.)

**Каховка! Каховка! Родная винтовка!  
Горячая пуля, лети!  
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка —  
Этапы большого пути.**

**Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались,  
Как нас обнимала гроза?  
Тогда нам обоим сквозь дым улыбались  
Ее голубые глаза...**

Ривин распахивал окно в другой мир:

**Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались,  
Как небо за нами бежало дождем,  
Как вихри дождя завивались и мчались,  
И мы говорили дождю: подождем.**

**И он подходил и лизал наши руки,  
И бился в колени беззубым лицом...**

Романтика братоубийственных сражений уступала место бесконечности мироздания. Многие стихи Ривина отталкивались от всем известных куплетов или строк, продолжали их по-новому и всякий раз опровергали привычные представления. Кто же не помнил стихов Пастернака, навлекших на него ироническое прозвище «гениальный дачник»?

**Годами когда-нибудь в зале концертной  
Мне Брамса сыграют — тоской изойду.  
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,  
Прогоулки, купанье и клумбу в саду...**

*Гениальный?* Конечно. Но и несомненно — *дачник*. Ривин меньше всего был дачником: в его перепеве — мироощущение трагической и неотвратимой бездомности:

**Годами когда-нибудь в зале концертной  
Мне Боря сыграет свой новый хорал,  
И я закричу как баран мягкосердый,  
Как время кричит, как Керенский орал.**

**Оставьте меня, я смешной и хороший,  
Я делал всю жизнь, что делали вы.  
В передних я путал любовь, как калоши,  
И цацкался с Лелькой на спусках Невы.**

**Годами когда-нибудь в зале концертной  
Я встречу Бориса и Лелю вдвоем.  
А после в «Европе», за столом десертным,  
Без женщин, спокойно, мы все разберем.**

**И Боря ударится взглядом собачьим  
Об наши живые, как души, глаза,  
И мы, наплевавши на женщин, заплачем,  
Без женщин нельзя, и без звуков нельзя.**

Не помню, кто такой в этих стихах Боря — возможно, Пастернак. (Наверное, я спрашивал, да забыл.) Жаль, что поэзия Ривина до Пастернака не дошла, он ее оценил бы — и как стихи, и как прорыв в неведомое. Зато ее запомнил другой замечательный современник, Давид Самойлов. В стихотворении «Памяти А.Р.», с которого я начал, говорится:

Памяти А.Р.

**Жил в Ленинграде странный малый.  
Угрюмый, мрачный и больной.  
Был у него талант немалый.  
Я знал его перед войной.  
Вел счет неведомым обидам,  
Нес груз невидимой вины.  
Он был убогим инвалидом  
Не бывшей, будущей войны.**

**Мы ждали славы и победы,  
Лихого грома медных труб.  
А он провидел только беды,  
Он видел свой убогий труп,  
Его шатали бомбовозы  
Своею воющей волной,  
Блокады будущей морозы  
Его покрыли сединой.**

**Читая странные баллады,  
Мы не угадывали в нем  
Провидца будущей блокады,  
Что приближалась день за днем.  
Где он погиб? В каком подвале?  
Как он окончил бытие?**

Какие люди подавали  
Ему последнее питье?  
Какую страждущую строчку  
Он дописать уже не мог?  
Какой несчастный по листочку  
Его стихи в печурке сжег?

Стихи, наверное, сгорели,  
Не много было в них тепла.  
А люди эти постарели.  
А может, жизнь их утекла.  
И сгинул он. На белом свете  
Он не оставил ничего.  
И мы не судим о поэте,  
Как будто не было его\*.

## Тихой сапой

*Это время тихой сапой  
Убивает маму с папой.  
И. Бродский,  
«Представление», 1988.*

Лет двадцать подряд, в пятидесятые и шестидесятые годы, я неизменно приезжал в Москву к нему, в его крохотную квартиру в проезде МХАТа, где мне были родственно знакомы каждый узор на обоях, каждая фотография на стене. Теперь, в 1971 году, я тоже приехал к нему — к его мертвому телу. Гроб стоял в Малом зала ЦДЛ, подле гроба застыла Лена — с годами она становилась все более похожа на отца — и еще какой-то мужчина; закрывая лицо ладонями, он сотрясался от рыданий. Позже я рассмотрел его: изрытое морщинами, умученное годами и горечью лицо. «Кто это?» — шепнул я Лене. Она произнесла в ответ фамилию — которая мне ничего не говорила — сначала. Потом я вспомнил.

В Беломорск, в штаб Карельского фронта, я приехал в апреле 1942 года. Седьмой отдел Политуправления — там

\* Сб. «Тарусские страницы», Калуга, 1961, с. 204.

занимались «пропагандой среди войск противника» — помещался поблизости от Девятнадцатого шлюза Беломорканала, в грязном деревянном доме, получившем у нас, сотрудников Седьмого отдела, ласково-презрительное наименование «рыжий барак». Оно впервые родилось в стихотворении Игоря Дьяконова, где была такая строфа:

**Скучный Север, царство мрака,  
Как болезнь в моем мозгу.  
Только рыжего барака  
Я покинуть не могу...**

Это, однако, особая тема; сейчас речь о другом.

Всего несколько дней был я в «рыжем бараке» — однажды утром Игорь Дьяконов подозвал меня к самому окну; по улице в направлении Девятнадцатого шлюза шла группа арестантов в засаленных ватниках — на одного из них Игорь указал: «Видите, тот с черной бородой? Это московский критик, Левин, Федор Маркович. Недавно его арестовали». Майор Левин был литературным сотрудником фронтовой газеты «В бой за Родину», помешавшейся напротив Седьмого отдела, через дорогу; он писал репортажи с театра военных действий — театра вполне мирного, война у нас была позиционной. Внезапно Левин исчез — незадолго до моего приезда — и, как это всегда бывало, загадочно; недавние собеседники увидели его из окна — он шел под конвоем на работу. О причинах ареста ходили темные слухи; в действующей армии хватали редко, в особенности, штабных, тем более политических офицеров. Говорилось нечто смутное о его дружбе с давно, в конце тридцатых годов, арестованным Исааком Бабелем — Левин в самом деле писал о нем — о «Конармии» и «Одесских рассказах» опубликовал восторженные рецензии. Назывались имена других писателей, зачисленных в категорию «врагов народа»: Бориса Пильняка, Бруно Ясенского, — не из-за них ли сел Левин? Впрочем, мы отдавали себе отчет в том, что таких, как Левин, в 37—38 годах «репрессировали» непременно; он был коммунистом с 1920 года, учился в Институте Красной профессуры, никогда не сомневался в истинности не только марксистского учения, но и ленинизма. В годы «большого террора» этого было достаточно, чтобы загре-

меть в лагерь или даже получить «вышку». Левину повезло: в ежовщину он уцелел — теперь, в военные дни *они* подчищают; об этом и многом другом мы беседовали с Игорем Дьяконовым, бродя вечерами на пронзительном северном ветру («гиена воет», — говорили мы) вдоль канала. Ему было жаль Левина — Игорь успел привязаться к этому незаурядному, часто блестящему рассказчику и добрейшему человеку. В том, что Левин исчез навсегда, мы не сомневались. Уже тогда было известно: «органы не ошибаются», в их работе «не бывает брака»; эти мифические утверждения еще в большей степени относились к армейским «особым отделам», носившим в военное время устрашающее название «Смерш»: *смерть шпионам*. Говорили, что это людоедское сокращение придумал сам Верховный, — скорее всего, так оно и было, очень уж на него похоже. В аббревиатуре «Смерш» содержится несколько смыслов: первый: неременная казнь; второй: мгновенность бессудных процедур; третий: арестованный органами заранее числился в шпионах. Все это вместе было основой сталинского правосудия, да и не только в военное время. Так вот, Левин был во власти Смерша — в лучшем случае, его отправят на Воркуту, и там он погибнет от побоев или от дистрофии. В 1942 году мы знали мало, однако, понимали достаточно, чтобы не сомневаться в судьбе, ожидавшей Левина.

Несколько месяцев спустя меня послали в Мурманск, откуда мы, «седьмоотдельцы», вещали по радио для немецких солдат, убеждая их сдаваться в плен. Ночевал я в гостинице «Арктика» — хрупкой, сотрясавшейся от любой, даже самой далекой бомбы; за ночь бывало, что постояльцы по пять-шесть раз бегали в подвал — пережидать в ненадежном убежище налеты немецкой авиации. Все же в «Арктике» были комфортабельные номера: на кровати были постелены простыни и теплые одеяла, всюду стоял сказочный запах заграничных сигарет — их курили американские и британские моряки. В перерыве между бомбежками я уснул, разбудил меня настойчивый стук в дверь. Была поздняя ночь — я перепугался. За дверью стоял немолодой военный: майорская шпала в петлице, умное лицо с широким горбатым носом, выразительными черными глазами и

глубокими морщинами. Он был смущен и долго извинялся: номеров не было, даже кресла внизу были заняты, обо мне он слышал раньше и решил попроситься на ночь ко мне в номер — кроме кровати, у меня стоял диван. Потом он представился: это был Федор Маркович Левин. Несколько дней назад его освободили. Освободили... Ну, понятно, что освободили, — он же ни в чем не виноват! Говорил он глухим, рокочущим басом, постоянно поглядывая на потолок, — в ту пору мы под потолками не откровенничали; вероятность микрофонов, особенно в гостинице для иностранных моряков, была слишком велика. Все же мы беседовали до утра — о литературе, о семьях, о наших журналистских делах. Главные темы мы обсудили назавтра, прогуливаясь по Мурманску. Левин был измучен долгим заключением и работой на канале — длилась его тюремно-каторжная жизнь более полугода. Потом его освободили — «за отсутствием события преступления», он вернулся в редакцию газеты «В бой за Родину» и вот приехал в Мурманск, в командировку. С первого же часа установились те отношения, которые, углубляясь, продержались тридцать лет: я был гораздо моложе, он сразу обратился ко мне — «Фима», для меня же он оставался «Федор Маркович». Нашей дружбе суждено было пережить немало тяжелейших лет.

Через несколько недель, уже в Беломорске, Левин рассказал мне то, о чем умолчал в Мурманске. Арестовали его по доносу сослуживцев по редакции — трех московских литераторов: поэта Коваленкова, прозаика Курочкина и критика Гольцева. В доносе сообщалось, что Левин вел пораженческие разговоры, выражал возмущение неготовностью страны к нападению немцев, критиковал верховное командование за паническое отступление и огромные потери в людях и технике, выражал неверие в победу. Почему те трое подали в Особый отдел такой убийственный донос? Вероятно, предполагал Левин, они боялись друг друга; каждый из них, принимавший участие в разговорах, подобные которым в то время вели все, мог обезопасить себя, лишь подписавшись рядом с двумя другими. Все трое предпочли низость постоянному смертельному страху друг перед другом. К тому же они были уверены, что жертва их

разоблачений не возвратится, и никто об их верноподданническом рапорте никогда не узнает.

Случилось, однако, чудо: Левин вернулся. В том же звании, на ту же должность, в ту же газету. И объявился рядом с теми тремя. Федор Маркович рассказывал тщательно, хотя и без всякого злорадства — скорее, даже с жалостью — как *они* увидели *его*, свалившегося с неба. Первым повстречался ему щеголеватый и, как всегда, самоуверенно-стремительный Александр Коваленков — остолбенел, потом, побелев, выскочил в подвернувшуюся дверь. Всех троих Левин увидел позднее, в офицерской столовой; они, видимо, уже подготовились к встрече с выходцем с того света — здоровались, заговаривали, как ни в чем не бывало (могли разве они предположить, что на следствии Левину показали донос?), а он так же должен был отвечать, играя в неведение (следователь нарушил порядок, подводить его нельзя было). Мучительная игра длилась долго, но тогда мы все вели такую жизнь. Редакция «В бой за Родину» стала крохотной моделью советского общества, где, по слову Глеба Семенова, «отсидевшие, отсажавшие, — Все едины под кумачом!..».

У Федора Марковича оказался рассудительный и благородный следователь, который с первого же вопроса понял: перед ним ни в чем не повинный человек, настроенный не менее патриотично, чем, вероятно, он сам; Левин — жертва трусливого коварства своих собратьев. И следователь решил сделать все, что было в его силах, для оправдания и освобождения майора Левина. Через несколько месяцев ему это удалось. Он вызвал к себе арестанта для последнего разговора. «Федор Маркович, — сказал он, — сегодня я могу вас освободить. Но хочу поставить перед вами одно условие: дайте мне слово, что этот конверт вы откроете через три дня, не прежде». Левин удивился, но слово дал. Вернулся в редакцию. Представился полковнику — редактору газеты, глядевшему на него как на привидение. Потом полковник не раз вспоминал о разговоре с человеком, вернувшемся *с того света*, — он запомнил деталь, характерную для военных будней: майор Левин был подпоясан брезентовым ремнем, и через плечо была перекинута бре-

зентовая портупеля. Понятно — кожаное снаряжение отобрали при аресте, оно пропало: кожаные ремни — главное и даже единственное щегольство фронтового офицера.

Три дня спустя Левин открыл конверт: в нем лежало извещение о гибели сына.

Следователь, полюбивший за шесть месяцев Федора Марковича, хотел подарить ему хотя бы три дня безоблачного счастья.

После войны в Москве они встречались; оба были заядлыми шахматистами. С Ф.М. Левиным было опасно поддерживать приятельство: он числился одним из самых опасных космополитов; во всех газетах его оплевывали как врага русской литературы. Прежний следователь пренебрегал угрозой и дружил с человеком, которого спас в 1942 году. Это он стоял над гробом, закрыв ладонями лицо и сотрясаясь от рыданий.

\* \* \*

Да, дружить с Ф.М. Левиным в те годы — с 1948 по 1954 — было опасно. Анतिकосмополитическая кампания обрушилась на него со всей мощью. Помню подвальную статью в «Литературной газете», озаглавленную «Тихой сапой»; оказывается, Левин, много лет заботливо следивший за ростом советской литературы и отмечавший рецензиями ее новинки, только тем и занимался, что «тихой сапой» подрывал ее. Одним из тяжелейших обвинений было совершенное им, якобы, нападение на Антона Макаренко. Ф.М. Левин, который одним из первых высоко поднял «Педагогическую поэму» Макаренко, весьма строго разобрал его неудачную книгу «Флаги на башнях»; во время писательского собрания, где Левина топтали как «антипатриота» и «космополита» (т.е. еврея), ему из зала кричали: «Вы — убийца Макаренко!» Макаренко умер вскоре после дискуссии вокруг «Флагов на башнях», в 1939 году, но рецензия Левина к его смерти отношения не имела. Левина обвиняли в травле русских писателей, а возвышал он, якобы, одних евреев — таких, как враг народа и социалистического реализма Бабель. Что только в те годы не писалось в газетах! Каждый раз, когда я читал эти поношения, мне

казалось, что пережить такое нельзя: сердце должно разорваться на куски. Ф.М. Левину все это было тем тяжелее, что он оставался убежденным коммунистом и преданным ленинцем. Незадолго до смерти, в одном из мемуарных очерков, посвященном Петрограду 1922—1924 годов, Ф.М. Левин написал: «Вспоминая прошлое, я не упрекаю себя. Иначе я тогда и мыслить не мог. Для меня было совершенно естественным требовать от каждого писателя, чтобы революция и борьба за нее были не только главной, но и единственной темой в обстановке тех лет».

Сегодня, в 1994 году, такая позиция может показаться нелепой, недостойной умного и честного человека. Поколение Ф.М. Левина смотрело на жизнь иначе: преданность доктрине абстрактного социализма — вопреки злокозненным и даже чудовищным искажениям ее — было для них делом чести. В дни хрущевской оттепели Левина восстановили в партии, и он, уже зная многое о ее преступлениях и злодействах, воспринял это как победу исторической справедливости. Разве не так восприняли появление Хрущева, его доклад на двадцатом съезде партии, его поддержку Солженицына, его распоряжение — опубликовать в «Известиях» поэму Твардовского «Теркин на том свете» лучшие люди левинского поколения, да и более молодые, такие, как Твардовский? Недаром «Новый мир» был Левину очень близок; появившиеся там в 1962 году рассказы Солженицына и, прежде всего, «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор», вызвали не только его одобрение, но и восторг; движение шестидесятников в литературе и политике внушало ему все возраставшие надежды. Но литературный процесс шел теперь мимо него, Левин все больше казался архаистом и чудаком. Сегодня его статьи и книги представляются наивными, устаревшими; но будем справедливы: эта простодушная вера в непрременную победу добра несет в себе свет.

Ф.М. Левин был талантливым человеком — его подлинные дарования проявлялись, однако, скорее за пределами литературы, и не только в шахматах. Уже освободившись, он приходил к нам в Седьмой отдел и, сидя на столе, рассказывал французские и американские фильмы, кото-

рые видел до войны на закрытых просмотрах; потом я убедился, что рассказы его часто были лучше самих фильмов. В годы войны он был влюблен в совсем молоденькую девушку, служившую в штабе, и ей, этой прелестной Вале, посвящено немало его стихотворений — я бережно храню тетрадку, в которую он записывал их крупным, отчетливым, таким же наивным, каким было его мироощущение, почерком. Стихи — старомодно романтические, но и они пронизаны светом его личности и его любви. Вот одно из них, датированное 21—22 марта 1945 года и написанное в венгерском городе Шагваре:

**Предвижу наше расставанье,  
В конце войны в случайный час,  
Нежданный час, хотя заранее  
Я знал, что он настигнет нас.**

**Но все ж меня врасплох захватит  
Разлуки неизбежный день  
В какой-нибудь немецкой хате  
В одной из многих деревень.**

**Все будет наспех. И невольно  
Не те слова, и все не так.  
Я после вспомню с острой болью,  
Что мы простились кое-как.**

**Но кончено. И новой встречи  
Уже не будет. День прошел.  
Судьба-гадалка карты мечет,  
Мне дама пик легла на стол.**

**Я улыбаюсь неумело,  
Махнув рукой в последний раз.  
И вот стою, осиротелый,  
А ты скрываешься из глаз.**

**Все дальше облик твой желанный,  
Звучит все глуше голос твой.  
И ночь, как волны океана,  
Смыкается над головой.**

Эта военная любовь была для Левина большой и мучительной страстью. Она была страданием — и не только

потому, что оказалась безответной, но еще и потому, что он продолжал любить другую женщину — другую Валентину ожидавшую его в Москве. Его мучило то, о чем он писал в стихах, адресованных ей в том же 1945 году:

**...Всегдашним письмо говорит языком,  
И все же оно — глухонемое.  
Как илом, как пеплом, как мертвым песком,  
Разлука заносит бывшее.**

**Пробейся ко мне! Хоть во сне появись!  
Как духов, тебя вызываю!..  
...Вернется любовь? Возвратится ли жизнь?  
Не знаю, не знаю, не знаю...**

Он был мужественный человек. Это проявилось и на войне, когда он спокойно шагал из роты в роту — на переднем крае; и в послевоенное время, когда недавние товарищи кричали ему на собраниях, что он «убийца Макаренко»; и в последние недели и дни жизни, когда он, зная, что умирает, прощался в записанных дрожащей рукой стихах:

### Прощание

**Меня ты часто провожала,  
И горек был прощанья час,  
Но не с обычного вокзала  
Я уезжаю в этот раз.**

**Не с Ярославского, не с Курского.,,  
Я еду в мой последний путь,  
И просто нашу землю русскую  
Ты горстью бросишь мне на грудь.**

**Ты много раз меня встречала,  
Но в этот раз не будешь ждать,  
Ведь от последнего причала  
Пришла пора мне отплывать.**

**Среди чужих чужой, непрошенной,  
Я знаю, трудно жить одной,  
Жить, точно камень в воду брошенной,  
Не охраняемую мной.**

**Мы никогда с тобой не встретимся...  
Нас ложью веры не купить...  
Пусть прошлым путь тебе осветится.  
Ты силы собери, чтоб жить.  
(Из записей 1970—1971 гг.)**

### «В бутылке скрытая блондинка»

Директору Тульского педагогического института доложили, что доцент Чемоданов еще ни разу не вышел к студентам в трезвом виде. Комаров встревожился. Он отлично знал, что был и сам в опасном положении — в любой день его мог вызвать в Москву министр просвещения и снять с работы.

Страну лихорадило; шло партийное наступление на космополитов — их тысячами выгоняли из университетов, исследовательских и педагогических институтов, издательств, библиотек. Шла чистка от этнически-чуждых элементов, иначе говоря, от евреев, составлявших значительный процент российской интеллигенции.

Антикосмополитическая кампания достигла своего почти неправдоподобного апогея в конце 1949 года, когда Вождю и Учителю передового человечества исполнилось семьдесят лет. В этот великий день — 21 декабря 1949 года меня вызвал к себе в кабинет Георгий Павлович Бердников, возглавлявший Ленинградский Институт иностранных языков, и сообщил, что я уволен с доцентской должности — «за ошибки космополитического характера». В чем они заключались, я толком не знал; кажется, где-то публично заметил, что «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого похожа на рассказы Джека Лондона. Некоторое время я существовал диссертациями для малограмотных партийцев; я изготавлял их, как тогда говаривали, «из материала заказчика». Работа была противная, но не сложная; только раз я столкнулся с большими трудностями — когда пришлось сочинять две кандидатские на одну и ту же тему: «Критика и самокритика — движущий стимул советского общества».

В поисках работы я написал во множество педагогических институтов: отовсюду поступали краткие отрицатель-



ные ответы. Вдруг пришло письмо из Тулы, приглашение для знакомства и переговоров с директором тов. Комаровым. Это было абсолютно неожиданно и необыкновенно привлекательно: старинная Тула — в двухстах километрах от Москвы; множество поездов, идущих из Москвы на юг, там останавливаются, рядом толстовская Ясная Поляна. Я сразу приехал. Комаров принял меня приветливо, и в тот же день велел оформить на доцентскую должность: читать курсы западно-европейской литературы. Мне дали комнату в институтском общежитии, на четвертом этаже учебного корпуса, расположенного рядом с живописным тульским Кремлем; неделю спустя я снова приехал — теперь уже на постоянное жительство.

На четвертом этаже жили многие преподаватели. Среди них оказались историк Византии Александр Петрович Каждан, историк Запада Шустерман, литературовед Эвентов. Всех их принял на работу Комаров. Иногда собираясь вечером, мы удивлялись мужеству тульского директора.

Что и говорить, он рисковал: принимая на работу изгнанных евреев, он повышал уровень института, но и приобретал врагов. Тульские партийцы, процветавшие в обстановке провинциального невежества, оказались ущемленными. Новые доценты были авторами книг и статей, обладали знанием иностранных языков, опытом исследовательской работы и университетского преподавания. Понятно, что тульские «умывальники» нас не могли терпеть и, главное, возненавидели Комарова. Почти открыто его называли оппортунистом «на поводу» у антипатриотов.

Комаров, при всем своем мужестве, сознавал, что под ним — вулкан; недоброжелатели только и ждут предлога, чтобы начать против него партийное дело. Поведение Чемоданова вполне могло стать таким предлогом. Вот-де каких подонков директор поощряет, позволяя алкоголику безобразничать на глазах у студентов; да и все они такие, любимцы нашего директора — все нарушители социалистической нравственности, проповедники буржуазного аморализма...

Комарову надо было прежде всего убедиться лично в

справедливости обвинений — неужто и впрямь Чемоданов появляется в аудитории пьяным? На очередную лекцию по «Введению в языкознание» он пришел сам.

Большой зал был полон — лекции Чемоданова предназначались для студентов-гуманитариев первого курса, но среди слушателей директор увидел биологов, физиков, математиков. Комаров пристроился сзади, его мало кто заметил. Было, как всегда, шумно, студенты кричали и толкались. Минут через пять после звонка вошел поддерживаемый двумя мальчиками Чемоданов; он передвигался на костылях — вследствие детского полиомиелита у него были парализованы ноги. Однако, нельзя было не видеть, что он пьян. Взгромоздившись на кафедру, он уронил на нее голову и, с трудом приподняв ее, начал говорить. Речь его, сбивчивая и невнятная, становилась увереннее и тверже. Перед ним не было бумажки. Комаров никогда еще такого не видел: лектор смотрел в зал, импровизировал, но казалось, будто он читает по незримому экрану; определения лингвистических понятий, даваемые им, отличались четкостью, изяществом, к тому же они с безукоризненной логикой переходили одно в другое, выстраивались в строгую концепцию. Комаров не мог опомниться от изумления. В громадном зале, набитом слушателями, только скрипели перья.

В том 1951 году нельзя было говорить о лингвистике, не ссылаясь на статьи Сталина — они недавно были опубликованы, их называли не иначе, как «гениальные труды по языкознанию», умолчание о них могло повлечь за собой скандал. Комаров, увлеченный лекцией, с трепетом ожидал: неужели не прозвучит ритуальная формула? Это было чревато партийным делом прежде всего для директора... Чемоданов дочитал до звонка, не назвав великого основоположника. Ритуал ему был безразличен, его интересовала наука, которую он хотел донести до слушателей. Потом он рассказывал, что Комаров пригласил его к себе и с мягкой настойчивостью упрашивал соблюдать условия — во имя безопасности института. В другой раз Чемоданов, сохраняя достоинство, привел цитату из Сталина; видимо, он понимал правила игры и необходимость их соблюдать.

Комаров был в восторге. Вторая лекция окончилась, Чемоданов с помощью тех же мальчиков спустился с кафедры и еще долго стоял, опираясь на костыли; он отвечал на вопросы.

Комаров не пропустил ни одной лекции Чемоданова. Теперь обвинения могли быть еще более грозными: директор не только знал о безобразиях алкоголика, но поощрял их своим присутствием.

\* \* \*

С Александром Александровичем Чемодановым я сблизился с первых недель в Туле. Его комната была на том же четвертом этаже; изредка я заходил к нему; это было тяжким испытанием. Дышать становилось все труднее — он прикуривал одну беломорину от другой; окурки складывал на столе посреди комнаты так, что они образовывали высокую пирамиду. Ел ли он что-нибудь? Не знаю. Иногда наблюдал рано утром, как Чемоданов подходил к только что открывшемуся пивному ларьку и, опираясь на костыли, произносил: «Сто пятьдесят с прицепом» — то есть стакан водки и кружку пива. Закусывал он увядшим виногретом — ничего другого там не было. Еще долго он стоял у ларька, потом тащился на лекцию — читал он четыре часа в неделю, два разных курса. Все остальное время курил и, глядя вдаль, сочинял про себя следующую лекцию.

Со мной он был откровенен — посвящал в дела семьи, оставшейся в Горьком («отношения трудные — мою жену можно понять»), рассказывал о той единственной женщине, которую любил всю жизнь. Хочу надеяться, что Нина Яковлевна Дьяконова не будет на меня в претензии, если я назову ее имя — понимая всю безнадежность этой любви, Чемоданов говорил о ней со слезами отчаяния. Английская филология, которая считалась его прямой специальностью, была ему интересна; но он ничего не писал — вся его творческая энергия уходила на лекции. Ничего другого он в Туле не делал; только готовил лекции и произносил их. Он был гениальный лектор, ничего подобного я больше не встречал. Может быть, если когда-нибудь найдутся студенческие записи, родится книга, им устно созданная. Но не к

этому он стремился: он строил лекцию, как архитектурное сооружение, он продумывал повороты и переходы, отступления и умолчания. Останется это или нет, ему было безразлично. Если существует искусство лекции, то он был классиком этого искусства. Он понимал, что подобен ваятелю статуй изо льда: статуя растает, останется лужа. Что ж из этого? К иному он не стремился. Иногда он говорил о театре: ведь и спектакль исчезает навсегда, остаются восторженные возгласы зрителей и мучительные попытки аналитиков — закрепить мизансцены в слове.

Мы часто говорили об этих «статуях изо льда»; я убеждал его записывать, закреплять находки — хотя бы для самого себя, чтобы на другой год не начинать все сначала. Он сердился: не стану я ремесленником; чем повторять самого себя из года в год, лучше буду башмаки тачать! Смысл в творчестве — всякий раз создавать заново! Иначе лучше бросить все это, да и вообще все бросить. Мотив самоуничтожения время от времени возвращался, но я к нему не относился серьезно.

Я только позднее стал понимать трагизм его мироощущения. Во время наших вечерних бесед меня отвлекали мелочи: вдруг он, посреди разговора, засыпал; или зажженная папироса падала на кучу газет; или он, покачиваясь на табуретке, терял равновесие. Говорил он безотносительно к собеседнику, глядя в угол, сбивчиво, но с настойчивостью маньяка. Его особенно мучила мысль о тирании коллективных идей. «Разве вы не видите, Эткинд (он называл меня по фамилии), что миром владеет безумие? В прошлые годы они требовали, чтобы я учил студентов первоэлементам Марра. Вы их помните? Сол, йон, бер, рош. Ну, Марр был сумасшедший, при чем тут Я? Теперь они требуют, чтобы я повторял другие нелепости... Знаете, меня вызвал Комаров, просил не подводить институт... Мне не жалко, сошлюсь на корифея, но разве можно так жить? Все верили, что Марр — гений, теперь верят, что Марр — дурак... Зато верят, что корифей... Эх, что тут говорить! Вот вы космополит, Эткинд, а ведь и я космополит... И тоже все повторяют, все несут околесицу... Да мне все равно, что они такое несут, — меня пугает,

что все вместе, дружно, хором. Сегодня орут одно, завтра будут орать другое: вчера за Марра, сегодня против Марра. Пусть орут, почему я должен орать с ними?..» Этот монолог я привожу по беглой записи того времени; я только очистил его от слов, которые лингвист Чемоданов называл «экспрессивной лексикой» — заполняя паузы, он обильно уснащал ими свою речь.

\* \* \*

В Москву из Тулы я уезжал часто и оставлял Чемоданова на общих приятелей. В последнее время — после его лекций в Орле и в Курске — появилась девица; она то и дело приезжала, проветривала его берлогу, выбрасывала пирамиды окурков — значит, имела громадное влияние: нам же не разрешалось и разговаривать об этом; иногда она даже кормила его. В очередной раз, вернувшись в Тулу, я застал опустевший четвертый этаж. Зашел к Чемоданову — в комнате было чище, чем обычно; пирамида исчезла; было проветрено, но стоял какой-то сладкий запах. Соседка, увидев меня, со слезами рассказала: накануне, та самая девица, открыв дверь, увидела мертвое тело. Он удавился сидя, привязав шнур к трубе парового отопления. На столе лежала записка, адресованная мне. Я прочел:

**Ах, Эткинд, Эткинд, в наши лета  
Как с водкою равнять любовь!  
Давно уж ветреная Лета  
Нам в жилах остудила кровь.**

**Во тьме блистает четвертинка  
Брильянтом в тысячу карат.  
В бутылке скрытая блондинка  
Живых прекрасней во сто крат.**

**На опьяненья тонкой нити  
Скользят любовницы, друзья...  
А вы о трезвости бубните.  
Ах, Эткинд, Эткинд, так нельзя!**

Мне потом говорили, что если бы в ту ночь нашелся глоток водки, он был бы жив. Не думаю.

## **Вверх по лестнице, ведущей вниз**

*Abyssus abyssum invocat*

Прочитав утром «Ленинградскую правду», я сразу позвонил Дымшицу и сказал, что приеду. Понял ли он, зачем? Кажется, понял. Он жил недалеко, в другом конце Кировского проспекта, я оказался у него полчаса спустя. «Так скоро?» — спросил он, не здороваясь. Это могло значить: «Я не успел подготовиться, а вы уже здесь...» Мы прошли в кабинет. «Зачем вы это сделали? — проговорил я с трудом и, помнится, без вопросительной интонации. — Ведь вы обо всем думаете иначе. Я-то ведь знаю, как вы думаете...»

Мои слова могли показаться дерзостью. Ведь он был много старше меня: до войны, в университете, я числился его студентом — он читал курс русской литературы XX века, и я сдавал ему экзамены. Тогда я был мальчишкой, а он молодым многообещающим доцентом. Но потом отношения изменились.

\* \* \*

В середине пятидесятых годов Александр Львович Дымшиц предложил мне с ним сотрудничать. Мы мало знали друг друга, он казался мне чужим и далеким. Даже внешность его — я испытывал нечто вроде классовой неприязни к спокойно-самодовольному благополучию, которым дышало его сытое, розовое лицо, к его буржуазной полноте и комическому брюшку. О научной и литературной карьере Дымшица я знал лишь кое-что, но это не внушало ни симпатии, ни даже доверия. Рассказывали о его докторской защите перед самой войной — она стала своего рода сенсацией. Дымшиц занимался Маяковским — неужели он не отдавал себе отчета в том, что это смешно: карикатурное соединение маленького буржуйчика с революционным гигантом? — о нем и была диссертация. Одним из оппонентов выступил Б.М.Эйхенбаум, который изящно сказал: «Начну свое выступление с того, чем принято кончать: диссертант вполне достоин искомой ученой степени доктора наук. Я произношу эту формулу в начале, потому что — как увидит

ученый совет — мне будет трудно вернуться к ней впоследствии». Затем он, с той же любезно-благожелательной улыбкой и тем же тихим голосом, разнес диссертацию, не оставив камня на камне. Голосование оказалось катастрофическим. Дымшиц не стал доктором, подготовленный пышный банкет не состоялся: в холодильнике и за окнами осталось множество консервов и копченых колбас. Провал защиты спас жизнь семье: припасы, купленные для «шмауса», пригодились во время блокады.

Фальшивая революционность Дымшица мне претила — не доверял я его панегирикам в честь позднего Маяковского, не верил в его увлечение пролетарскими поэтами, в искренность его рассуждений о социалистическом реализме. И все-таки я согласился на сотрудничество — очень уж соблазнительными мне представлялись его намерения и, главное, возможности. Речь была о совместном издании однотомника Фердинанда Фрейлиграта; он хотел написать предисловие, на мою долю выпадало составление, подбор переводчиков и, конечно, перевод стихотворений, которые я для себя выберу. Моему решению способствовало еще одно обстоятельство, которое теперь, несколько десятилетий спустя, может показаться неправдоподобным. Расскажу о нем словами свидетеля.

В 1957 году в Ленинград приехал «Берлинский ансамбль» — театр, созданный и возвращенный Брехтом. Привезенные им спектакли нас покорили — больше всего поразила «Матушка Кураж», где заглавную роль играла Елена Вайгель, вдова Брехта, гениальная артистка. После одного из спектаклей состоялся торжественный ужин в Европейской гостинице; кто-то поднял бокал за здоровье человека, добившегося приезда к нам берлинского театра — Александра Львовича Дымшица. Елена Вайгель, сидевшая за столом рядом со мной, наклонилась и тихо сказала: «Знаете ли вы, чем был Дымшиц для каждого из нас? Он — наш спаситель». Потом она рассказала подробно то, что я уже знал из других источников. Сразу после победы майор Дымшиц был назначен ответственным за немецкую культуру — в составе оккупационных властей он был как бы министром. Он воспользовался своими возможностями, чтобы организовать

пайки для голодавшей в ту пору интеллигенции — об этом мне в разное время говорили писатели, актеры, художники; кроме того, он способствовал субсидиям для театров, изданий, оркестров. Его роль в послевоенной Германии была в самом деле огромной; сам он, позднее, смеясь, уверял, что исполнял обязанности Геббельса — точнее, Антигеббельса. Уже после ужина Вайгель подозвала Эрнста Буша и велела ему рассказать про Дымшица; Буш чуть ли не в стихах повторил ее слова о Дымшице-спасителе. Мне это показалось убедительно: Эрнст Буш был живой легендой; его неповторимый баритональный бас создал песенную утопию Брехта, определившую революционную атмосферу антифашистского поколения: «Und weil der Mensch ein Mensch ist/ Drum braucht er was zu essen, bitte sehr...» Эрнсту Бушу, как, впрочем, и Елене Вайгель, я верил безоговорочно. Значит, был и такой Дымшиц — немецкий: человек, спасший культуру Германии и деятелей этой культуры. Не раз позднее я задавал себе неразрешимый вопрос: почему благодетель немецкой культуры стал душителем своей, российской?

Итак, на сотрудничество с Дымшицем я согласился — ведь мне придется иметь дело с «немецким Дымшицем», который мне импонировал. Я ведь и сам пережил конец войны в побежденной Австрии; по собственному горькому опыту я знал, как мучительно трудно убедить малограмотных советских генералов в том, что не все немцы — фашисты. Ну, а кроме того, мне Фрейлиграт давно нравился — он произвел на меня сильное впечатление переводом «Песни о Гайявате» Лонгфелло (я сравнивал его перевод с бунинским — оба, и немецкий, и русский, великолепны, хотя по-разному) и революционными стихами 1848 года; теперь я внимательно все прочел и увлекся чисто лирическими стихами — немцы их забыли, а мне захотелось воскресить их по-русски. Первое, что я тогда сделал, было маленькое стихотворение — оно оказалось пробой пера:

**Три чайки надо мной,  
Но я не поднял взгляд,  
Я знал, не глядя вверх,  
Куда они летят...**

А.Л. Дымшиц ободрил и мои собственные опыты, и предложенный ему список переводчиков, среди которых были М.Зенкевич, Г.Гинзбург, В.Шор. Над книгой Фрейлиграта мы работали дружно; ничего он мне не навязывал, быстро соглашался, умел ценить переводческие удачи. Нарядная голубая книжка вышла в 1956 году; мы были довольны друг другом. Он предложил продолжить сотрудничество — теперь предстояло издание другого немецкого поэта середины XIX века, Георга Веерта. Его я почти не знал; прочитав, согласился. Веерт пользовался у нас известностью как стихотворец, близкий к Карлу Марксу; такой биографический факт требовал обращать на него особое внимание, что, конечно, вызывало у меня законные подозрения. Оказалось, однако, что он добропорядочный лирический поэт; цикл «Любовь» был близок к «Книге Песен» Генриха Гейне, и я перевел его с восторгом — может быть, преувеличенным. Веерт вышел двумя изданиями — с небольшим интервалом: сперва однотомное, потом в двух книгах. Нас хвалили; мне было ценно то, что одобрения шли из разных литературных лагерей — помню отзывы В.М.Жирмунского и В.Г.Адмони, письма Маршака, Л.Гинзбурга, И.Фрадкина, Д.Самойлова. Дымшиц радовался успеху наших книг. Да и было чему радоваться; в России с давних пор признавали немецких поэтов первого ряда — таких, как Шиллер и Гейне; второстепенных не знали совсем.

Работать с Дымшицем было по-прежнему легко и весело. Его предисловия казались мне поверхностными, но ведь наши сборники предназначались для широкой публики — углубляться в проблемы эстетические и философские было немислимо. Лишь очень медленно во мне стала расти досада; слишком уж явно мой сотрудник напирал на выгодные для издания идеологические и биографические детали: на близость наших поэтов к Марксу и Энгельсу, к рабочему движению, к радикальной революционности. Дымшиц знал, как расположить начальство: знакомство с основоположниками обеспечивало Георгу Веерту особое место в поэзии XIX века. Время от времени возникал все тот же разговор: ведь это очень похоже на демагогию, — твердил я, — зачем она нам? Дымшиц отшучивался: не

объяснять же нашим жлобам, что Фрейлиграт обновил стих «Песни о Нибелунгах» или что он связан с поэтикой Лонгфелло! А вот про Маркса они сразу все понимают — как же можно не издать у нас поэта-марксиста? Хотите выпустить книжку — пойдите им навстречу.

Предложенный Дымшицем компромисс был, в сущности, приемлем: небольшое искажение пропорций в предисловии, зато представительная книжка стихов, изданная солидным тиражом в новых переводах. Так поступали многие. Кто станет публиковать стихи Артюра Рембо, загадочные и порой провокационные, если не сделать упор на то, что он был сторонником Парижской Коммуны? То же относится к Верлену. Разве советское издательство позволит себе выпускать упадочного эстета Элюара, если не подчеркнуть во вступительной статье, что он коммунист? Даже Бертольд Брехт не перешагнул бы порога Гослитиздата, если бы мы забыли о его стихах во славу строителей московского метрополитена; скверные, даже постыдные стишки служили ключом, открывавшим ворота для великих пьес — «Жизнь Галилео Галилея», «Матушка Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сычуани». Таковы были правила игры, и Дымшиц был виртуозом в области таких компромиссов.

Но одни уступки были чреватые другими: спускаясь по лестнице, ведущей в преисподнюю, остановиться нельзя. Предисловия к Фрейлиграту, Веерту и даже Брехту казались более или менее безобидными зигзагами; но потом Дымшиц написал предисловие к стихам Мандельштама — книга появилась в 1973 году, много лет спустя после того, как была приготовлена к изданию.

\* \* \*

Когда я, прочитав его рукопись, сказал, что он извратил поэзию Мандельштама, что его статья набита ложными осмыслениями и лживыми сведениями, он был вне себя: «Все вы белоручки и снобы, — почти кричал на меня Дымшиц. — Конечно, я какие-то пропорции нарушил. А вы не заметили, что Мандельштам вышел в свет впервые — после почти полувека? Было издание 1928 года. Теперь вот появится мое, сорок лет спустя. Скажите спасибо. Я принес в

жертву свое доброе имя — ради стихов Мандельштама... Знаю, знаю, что стихотворение «За гремучую доблесть...» я изложил неверно. Но ведь его удалось опубликовать. Только это важно...»

Напомню, о чем идет речь. В стихотворении 1932 года, которое упоминает Дымшиц, поэт говорит о том, как он «лишился и чаши на пире отцов,/ и веселья, и чести своей». Он молит судьбу увести его подальше от «кровавых костей в колесе»: «Уведи меня в ночь, где течет Енисей,/ Где сосна до звезды достает,/ Потому что не волк я по крови своей,/ И меня только равный убьет». Пронзительные строки, осуждающие террор начала тридцатых годов, у Дымшица истолкованы как осуждение империализма; строку «Мне на плечи кидается век-волкодав» Дымшиц расшифровывал как преследование поэта буржуазными идеологами, врагами социализма.

«Но вы-то понимаете, что перетолковали это стихотворение, исказили его до неузнаваемости?» — «Я добился его опубликования», — с гордостью повторял Дымшиц. И добавлял: «Вы вот, горе-рыцари, меня осуждаете. Каждый из вас, демократов, написал бы статью, заботясь о чистоте своих белоснежных риз. Ваших статей бы никто никогда не увидел. Это и хорошо, кому интересны ваши рассуждения! Беда в том, что и стихов Мандельштама никто бы не увидел. А я их напечатал. Русская литература мне обязана многим. Ради нее я навлек на себя упреки, даже плевки всяких ханжей...» Воспроизвожу его монолог очень близко — я тогда же его записал. «Помните рассказ Леонида Андреева «Иуда Искариот»? — спросил я Дымшица. — Андреев как бы даже возвышает Иуду, который предал Христа, зная, что его проклянут все последующие поколения; но кто-то должен был взять на себя эту роль, иначе Иисус не совершил бы своего подвига! Не так ли воспринимаете вы свою функцию?» Дымшиц, не задумавшись, произнес: «Мы живем в сложное время. В руках тех, кто Мандельштама издавать не желает и ничего в нем не понимает, диктаторская власть. Наша задача — любой ценой издать Мандельштама. Любой ценой...» «Если так, — не удивляйтесь, если вам не будут подавать руки». «Я на это шел, — по-прежнему гордо сказал

Дымшиц. — Я знал, что ваши чистоплюи меня отвергнут — вместо того, чтобы поблагодарить. Ну, и пес с ними. Стихи Мандельштама вышли в свет, и это моя заслуга».

Анна Ахматова, по поводу такой же позиции, презрительно поморщившись, как-то сказала: «К тому же это еще и выгодно». В самом деле, Дымшиц неуклонно возвышался в рядах номенклатуры: несмотря на свое еврейство, он стал чуть ли не замминистра кинематографии, членом разных правлений и секретариатов — его признали своим. А либеральная интеллигенция все решительнее отвергала его. Не слишком-то последовательный демократ, но редкостно остроумный З.Паперный сказал о нем, перефразируя пушкинские строки:

**Там на неведомых дорожках  
Следы невиданных зверей;  
Там Дымшиц на коротких ножках,  
Погрома жаждущий еврей.**

\* \* \*

Вернусь к тому разговору, с которого начал — это был первый шаг вниз по inferнальной лестнице. Только что вышел роман В.Дудинцева «Не хлебом единым», где впервые была сказана правда о новом господствующем классе — о номенклатуре, душившей все живое. Робко-сочувственные отклики с трудом пробивались в прессе; Дымшиц ударил по ним и по роману. В его рецензии Дудинцев осуждался за клевету: он-де не показал руководящей роли партии в нашем обществе — партии, которая поддерживает все передовое и неизменно торжествует победу над реакционерами.

Дымшиц выслушал мое тревожное осуждение его статьи - в то утро я понял, что она поставила точку под нашим сотрудничеством и даже нашими добрыми отношениями. Выслушав, он произнес длинную защитительную речь «Поглядите на те два фонаря, — сказал он, показывая в окно. — На одном из них будете висеть вы, на другом я — если мы будем раскачивать стихию. Дудинцев этого не понимает, ему хочется вызвать бурю. А те, кто хвалит его роман, дураки и самоубийцы. Только твердая власть может

защитить нас от ярости народных масс». Он тогда впервые произнес слово, запавшее мне в память: «Жлобократия». И добавил: «Это и есть то самое, что построено в этой стране и что они называют социализмом». Я слушал с изумлением: он так отчетливо все понимал — что же пишет его перо в партийной газете «Ленинградская правда»?

Он спускался все ниже по лестнице, которая вела в преисподнюю, и поднимался все выше по другой, по лестнице номенклатурных привилегий. Чем ниже по одной, тем выше по другой: это было законом нашей жизни.

### *Постскриптум*

Больше тридцати лет спустя после статьи Дымшица о романе Дудинцева и нашего — из-за этой его статьи — разрыва — я впервые встретил Дудинцева. Было это в Дании, близ Копенгагена, в Луизиане. В 1988 году там впервые состоялась встреча литераторов метрополии и эмиграции. Один из открывавших встречу докладов был поручен мне — и я, помимо прочего, тогда сказал: всю жизнь нам приходилось кого-нибудь ненавидеть — то формалистов, то вейсманистов-морганистов, то декадентов, то немцев, то эмигрантов; как славно, что наступило другое время, когда взаимопонимание выше вражды! На меня обрушился Г.Бакланов, редактор журнала «Знамя», напомнивший о том, что в тридцатые годы царила не только одна ненависть — то было время подвигов и свершений: эпопеи Челюскина, полетов Валерия Чкалова, индустриализации. Мне было неловко за него, но я понимал, что он такой ценой покупает себе журнал «Знамя». Вслед за ним взял слово Владимир Дудинцев — он уже был стар, едва ворочал языком и сбивался; он почти повторил демагогическую речь Бакланова — только добавил, что как ни трудно было сохранить преданность социализму после арестов, например, Бабеля, он — сохранил. Вечером один из участников конференции с советской стороны, историк Юрий Афанасьев, рассказывал мне о том, как настойчиво инструктировали («накачивали») писателей в Москве и в советском посольстве в Копенгагене; им говорили, что предстоит — впервые! — встреча с эмигрантами, врагами СССР, и что после первого

же эмигрантского выступления необходимо дать отпор. Бакланов и Дудинцев исполнили партийное требование. Вспоминать об этом горько: Бакланов был надеждой российских демократов, а Дудинцев — автором романа «Не хлебом единым», с которого — в 1957 году — многое началось в нашей стране. Мне это показалось не только странным, но и характерным для эпохи. Она породила двойных людей. Двойным был Бакланов, издававший свободолобное «Знамя», и, журнала ради, восхвалявший подвиги тридцатых годов. Двойным был Дудинцев, написавший роман о смертоносности советского социализма, и, во имя тиражей новых своих книг, выступавший в защиту этого социализма. Вероятно, оба они осуждали Дымшица, который прислуживал коммунистическому режиму; но ведь и Дымшиц был двойным: спасителем — в Германии, душителем — в России.

### **Обошлось!**

«Мне нужно два билета на премьеру», — сказал я завлиту театра Дине Шварц. Она засмеялась: «Где же их взять? И одного-то не найду. Кто же вам даст билеты накануне спектакля?» Она была права, я это хорошо понимал. БДТ — Большой Драматический театр Ленинграда — пользовался в то время, в 1963 году, огромной популярностью; публика валила валом на представления с участием Юрского, Басилашвили, Зинаиды Шарко, Копеляна, Лебедева, Лаврова, ценила руководителя театра Георгия Товстоногова — в его спектаклях публика дышала свободой. А тот, на который я по наивности просил билеты, был, к тому же, поставлен польским режиссером Эрвином Аксером. пьеса была Бертольда Брехта. Аксера любители знали по статьям о варшавском «Театре Всполчесны», которым он давно руководил и поднял на уровень одного из первых театров Европы; Брехт шел уже прежде на ленинградских сценах — «Добрый человек из Сычуани» и «Трехгрошовая опера» завоевали ему громкое имя; зрители видели в Брехте альтернативу официальной театральной эстетике, он казался анти-Станиславским, к нему тянулись, как к освободителю. Против Станиславского восставали все те, кто ненавидел «во-

ждизм». В каждой области должен был быть один — и только один! — непререкаемый авторитет, «монарх» или «вождь»: в биологии был назначен Павлов, в прозе — Горький, в поэзии — Маяковский, в сельском хозяйстве — Лысенко, в ботанике — Мичурин, в живописи — Герасимов, в скульптуре — Вучетич, в музыке — Хренников, в театре — Станиславский. Все знали, что Бертольд Брехт был близок к коммунизму, что его театр «Берлинский ансамбль» — официальный, государственный театр ГДР. Но Брехт, в противоположность Станиславскому, строил «театр показа», а не переживаниями, и выше патетики ставил иронию — этого было достаточно, чтобы в нем искали союзника для ниспровержения «сценической монархии». Вот почему Брехт еще в пятидесятые годы привлек симпатии интеллигенции.

О пьесе «Карьера Артура Уи, которой могло не быть» толком ничего не знали — по-русски она еще не была опубликована, да о ней и не писали. Ходили темные слухи, будто бы в этой пьесе, созданной в 1938 году, Брехт имел в виду не только немецкий фашизм, расовый, но и русский, классовый; однако, по тактическим соображениям был принужден скрывать двойственность своей пьесы. Слухи такого рода способствовали сенсационности. Какие уж тут «два билета на премьеру»!

Все это я знал. И все-таки настойчиво повторил свою нелепую просьбу насчет билетов, добавив: «О них просит Солженицын».

Дина Морисовна Шварц достала из сумочки два билета: «Это мои собственные, — сказала она. — Александру Исавичу отказать нельзя». Потом она, смеясь, добавила, что английской королеве их бы не отдала. Но Солженицын...

В ту пору он был легендой. В «Новом мире» недавно появился «Один день Ивана Денисовича», который вызвал фурор. Пресса разрывалась от славословий; статью-панегирик написал даже законопослушный Дымшиц. Для либеральной интеллигенции Солженицын стал кумиром; после хрущевских разоблачений на Двадцатом съезде было сделано столько шагов назад, что никто такого прорыва не ожидал. Он произошел, это было чудом. И не в докладе очередного вождя, не в передовой статье «Правды», а в

художественном произведении — это внушало уважение к литературе, на которую уже было махнули рукой; казалось, что победа долгожданной истины обеспечена неопровержимостью подлинного искусства. На премьеру «Артуро Уи» придет Солженицын — Дина Шварц разнесла сенсационную весть по всему театру, ожидание премьеры стало еще торжественней.

\* \* \*

В нашем доме он появился накануне вечером. Мы знали о нем намного раньше. Как-то раз Лев Гинзбург назвал мне эту фамилию, заметив: «Трудно, а запомнить придется», — я тогда услышал ее впервые. Потом московские друзья дали нам рукопись — напечатано было без полей и интервалов с обеих сторон листа — под заглавием: «Щ 854»; автором числился А.Рязанский. Фрида Вигдорова, которой я отдавал папку, ошеломившую нас, произнесла тогда: «Гениальная проза». Прочитав еще раз «Один день» в журнале, Екатерина Федоровна написала Солженицыну; кажется, первый раз в жизни она адресовала письмо автору; помнится, в нем шла речь о том, как ужас целой эпохи показан на благополучном дне советского каторжанина, как честность этого повествования возрождает честь нашей изолгавшейся литературы; как счастливы читатели, дождавшиеся праздника на своей улице (впоследствии мы видели это письмо — адресат вложил его в папку с надписью «Романтические»). Около месяца спустя Солженицын позвонил нам по телефону, сказал, что приехал на несколько дней в Ленинград и хотел бы зайти — познакомиться и побеседовать; мы условились на вечер. Ждали напряженно и, пожалуй, с опаской; на фотографиях был угрюмо-насупленный, мрачный арестант — таким и должен быть человек с его биографией. Он пришел с женой, Натальей Алексеевной Решетовской, и мы весь вечер не могли преодолеть изумления: гость оказался широкоплечим, бодрым, энергично-быстрым, он без умолку говорил, охотно улыбался и даже громко смеялся, замечал бытовые мелочи и детей. На стене висела афиша БДТ — «Карьера Артуро Уи...»; он подошел, стремительно прочитал, увидел, что пьеса пойдет в моем перево-



де, спросил, трудно ли было — я рассказал, что драма Брехта пародийная, что написана она шекспировским стихом — белыми ямбами, и что передавать этот пятистопник по-русски после Пушкина и А.К.Толстого весело. Он еще раз взглянул на афишу: «В театр я не хожу, — сказал он, — Натусенька, когда мы были в последний раз?» И, не дожидаясь ответа, добавил: «Пойдем, а?» Потом, повернувшись ко мне: «Знаете, на этот спектакль мне хочется сходить. Это возможно?» Еще он что-то вежливое объяснил — насчет интереса к моему переводу. Позднее я узнал, что у него были свои планы: хотел отдать Товстоногову одну из уже готовых пьес — «Свеча на ветру» или «Олень и шалашовка». «Конечно, возможно!» — пылко сказал я, подозревая предстоящие трудности, но понимая, что я их преодолеею.

\* \* \*

Нас поместили во втором ряду, рядом. Впереди слева сидели партийные отцы города, я знал их по газетным фотографиям: лоснящийся, толстомордый секретарь обкома, известный своей жестокой тупостью Василий Толстик и более благообразный, похожий на инженера Лавриков, секретарь горкома; между ними — их одинаково крашенные жены. Говорить Солженицыну о соседях я не стал — какое ему дело до ленинградских секретарей? Только порой, когда он начинал шумно реагировать, я пожимал ему локоть; он умолкал. Реакций я опасался прежде всего потому, что Толстик официально принимать спектакль; ничего не стоило его запретить. Первая половина прошла спокойно; на вторую мне пришлось подняться — по приглашению Товстоногова — в верхнюю боковую ложу. Поглядев вниз, в партер, я пришел в ужас: для удобства Солженицын пересел вперед и оказался рядом с Толстиком; теперь он делал свои комментарии, поворачиваясь всем корпусом к нашим, сидящим позади него женам. Никто его за локоть не хватал, и он — наверное, достаточно громко! — реагировал на двусмысленные пассажи. Таких было немало. Ночью к Артуру Уи является призрак убитого им соратника Эрнесто Ромы. Его обвинительный монолог можно воспринять как речь главы штурмовиков Рема, обращенную к Гитлеру,

который с ним расправился, но одновременно и как речь Бухарина, обращенную к Сталину:

**Своих не трогай! Слышишь, Уи, не трогай!  
Пусть заговор твой оплетет весь мир,  
Но заговорщиков не трогай! Все  
Топчи ногами — береги лишь ноги,  
Их не топчи! Лги всем в лицо, однако,  
Не вздумай оболгать вон то лицо,  
В том зеркале! Ты мне нанес удар,  
Но ты нанес удар себе, Артуро!  
Я другом был тебе, когда еще  
Ты был известен только вышибалам.  
Теперь я перешел в небытие,  
А ты на «ты» с хозяевами жизни.  
Предательство возвысило тебя,  
Предательство тебя низвергнет. Так же,  
Как предал ты помощника и друга  
Эрнесто Рому — так ты всех предашь,  
И так же всеми будешь предан сам...  
...Настанет день,  
Когда восстанут все, кого убил ты,  
Восстанут все, кого еще убьешь,  
И двинется стеною на тебя,  
Ты, окруженный ненавистью, будешь  
Искать защиты... Да, как я искал,  
Как я кричал и проклинал, моля, —  
Грози, моли. — Безмолвствует земля.**

Со своей верхотуры я видел, как мой гость волнуется, слушая этот монолог. — он то и дело оборачивался и что-то говорил, а ведь мог просто и соседу выразить свои чувства. Ему особенно пришло по душе сцена, когда Уи уговаривает зеленщика Чикаго голосовать за него:

**Я снова обращаюсь к вам, чикагцы.  
Меня вы лучше знаете и, верю,  
Вы по заслугам цените меня.  
Так вот: кто за меня? Замечу в скобках,  
Что кто не за, тот против, и пускай  
Сам на себя пеняет. Все. Я кончил.  
Вы можете свободно выбирать!**

Начинается голосование — кое-кто из зеленщиков поднимает руки. Один спрашивает:

— Ну, а выйти можно?

Подручный предводителя, Дживола (Геббельс), патетично отвечает:

Любой свободен делать все, что хочет

Торговец нерешительно выходит. Следом за ним — два телохранителя. Раздается выстрел.

Гири (Геринг):

Так. Вы теперь! Как ваш свободный выбор?

Все поднимают руки — каждый тянет вверх обе руки.

Солженицын, смеясь, круто повернулся ко второму ряду — что он такое произнес, я, конечно, не слышал, но мог, зная его и свой текст, вообразить его реплику; теперь я уже не сомневался, что Толстикова запретит крамольное зрелище. Чувствовал я себя как во сне: все видел, все понимал — и был бессилён изменить ход событий: сверху не крикнешь, записки не сбросишь! Мы были во власти судьбы, олицетворенной в обоих соседях, которые не знали друг друга. А если бы они знали?.. Теперь я еще думаю — каждый — догадывались о будущем? Толстикова станет советским послом в Китае, Солженицын — Нобелевским лауреатом и автором «Архипелага ГУЛАГ», потом изгнанником, потом победителем.

Спектакль окончился, успех был шумный. Оба секретаря сразу ушли — видимо, поднялись за кулисы. Я побрел в кабинет Товстоногова — я был исполнен дурных предчувствий и сознания вины перед театром: зачем я привел Солженицына — чтобы похвастать перед ним своим переводом? Чтобы похвастать перед театром знакомством с ним? Неужели я — виновник гибели хорошего спектакля, к тому же и общественно-полезного? Через несколько минут пришел Товстоногов. «Обошлось, — сказал он сумрачно, — обошлось. Толстикова не решился на международный конфликт-режиссер-то поляк!» «И ничего не велел убирать?» — все еще дрожа, спросил я. «Две вещи. Ему не понравилось, что Артуро Уи держит руки на причинном месте. Лебедев и я говорили ему, что Гитлер именно так держал ладони и что Аксер ничего не придумал. Он сказал: «Убрать!» И второе: ожидая Артуро Уи в гараже, Эрнесто Рома говорит своему помощнику:

**Давно убрать бы этих крыс — Дживолу  
И Гири. Уи колеблется и медлит,  
Воюет сам с собой. Так может длиться  
До двух часов, до трех... Но он придет.  
...Только**

**Когда увижу труп мерзавца Гири,  
Мне полегчает, будто я держался  
И наконец отлил.**

Толстикова был очень рассержен — его благовоспитанность не позволяла ему — в обществе дамы! — слышать такие непристойные речи. «Держался... отлил...», — повторил он, пылая негодованием. И добавил: «Может быть, в Польше это принято. Но вы-то, неужели вы не понимаете, что это не в традициях русского театра?»

— Что будем делать? — спросил я.

— А ничего. Больше он не придет. В этих упреках нет никакой политики, мы останемся при своем.

Таким фарсом все и обошлось. Спектакль сыграли более трехсот раз, и Артуро Уи неизменно прикрывал ладонями причинное место.

## Трусость храбреца

После почти пятнадцатилетнего перерыва мы неожиданно встретились в каком-то итальянском аэропорту. На юге Италии, в Бари, открывался через день симпозиум к столетию Мандельштама; я летел туда из Парижа, он — из Ленинграда. В толпе я увидел несколько знакомых; то были ленинградцы и москвичи, направляющиеся на пересадку и, как всегда советские, шедшие плотной кучкой. Среди них были близкие мне люди — Саша Кушнер, его жена Лена Невзглядова, кто-то еще, мы обнялись. Позади них стоял прямой, по-военному неподвижный (по стойке смирно!), высоченный человек; я поднял на него глаза и увидел пугающе постаревшего, измятого Дудина. Он держал руки по швам и пытался глядеть в сторону; я понял: он боялся, что я — протяну ему руки, и не знал, как с этим быть. Я вывел его из смущения, произнеся обыденным тоном, словно мы расстались вчера: «Здравствуй, Миша». «Здравствуй...» — сказал он высоко и громко, пожал мою

ладонь обеими руками и с того момента от меня не отходил.

В Бари, в гостинице, мы встретились и вечером, за ужином, и утром, до заседания. Дудин был подчеркнута дружелюбен, рассказывал мне, не умолкая, о событиях последних лет в ленинградском Союзе писателей, о браках и смертях; я слушал молча, лишь изредка вставляя междометия. Наконец, я дождался паузы и сказал: «Миша, прежде чем мы будем так уж любить друг друга, давай все же выясним, что было пятнадцать лет назад». «Пятнадцать лет назад? — переспросил он с напряженной естественностью. — А что было?»

Я взглянул на его мятое лицо молоджавого старика, мне стало его чуть жалко, но я продолжал: «Ты не помнишь свое выступление на секретариате, когда меня исключали из Союза?»

— Не помню, — сказал он, и повторил: — Не помню. А что я тогда сказал?

Чем это было — мальчишеской глупой ложью или искренним забвением того, что очень хочется забыть? Не знаю, до сих пор не знаю. «Миша, — сказал я, смущаясь собственной прямоты, — ты был храбрый солдат и благородный человек. Ты редко совершал низкие поступки. В тот раз, на секретариате, ты сделал подлость. Может ли быть, что ты не помнишь?» «Ей-богу, не помню», — сказал Дудин. И мне пришлось рассказать ему — хотя очень уж не хотелось: не верилось, что он забыл.

\* \* \*

Близки мы не были, но знакомство восходило к пятидесятым годам; с тех послевоенных лет, когда мы оба ходили в военных гимнастерках и шинелях, мы были на ты. Его стихи мне нравились (я намеренно поставил этот слабенький глагол) — в них дрожал далекий отблеск Гумилева и Николая Тихонова: им свойственны порывистость, четкий и динамичный ритм, мужественная гордость. Но я слишком хорошо понимал, что на фоне предшественников Дудин исчезающе мал и даже рядом с такими современниками, как Глеб Семенов, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, Борис Слуц-

кий он неинтересен. Все же у него был свой тембр, некое подобие индивидуальности (нет, не личности), и мне это внушало симпатию. Тем более, что он казался разносторонне одаренным: рисовал уморительные шаржи на приятелей и на самого себя, сочинял смешные эпиграммы — их главным достоинством часто была абсурдность, дурацкая, но обаятельная словесная игра. Ведь это он придумал четверостишие, которое вызывает смех каждый раз, как его вспомнишь:

**Железная старуха,  
Марьетта Шагинян,  
Искусственное ухо  
Рабочих и крестьян.**

Эпиграмма, конечно, дурацкая, но есть в ней лихость, даже бесшабашность, есть озорная игра со штампами. Таким Дудин был всегда: лихим до бесшабашности, поверхностно обаятельным, легкомысленно озорным. Это ставило его на особое место — в стороне от поэтов военных лет: мрачно-строгого Слуцкого, мудрого и изящного Самойлова, иронического цадика Светлова, патетического храбрца Симонова, певца солдатской дисциплины Тихонова.

Однако, я отклонился от моего предмета — я ведь пишу не статью о стихах Дудина, а рассказ о человеке. Встречались мы изредка, всегда с теплотой и чувством военного товарищества, даже близости поэтических вкусов. Помню, как он однажды, увидев меня в Доме писателя, кинулся навстречу — он только что прочел «Лунную сонату» Янниса Рицоса, которую я перевел, и бурно выражал свое одобрение; громко декламировал какие-то строчки, запавшие ему в душу.

Любопытный эпизод произошел где-то в середине шестидесятых, когда он был уполномочен жилищной комиссией Союза писателей проверять бытовые условия тех литераторов, которые претендовали на квартиру. Мы жили тогда в огромной коммунальной квартире на Кировском проспекте 59 — девять комнат, столько же семей при одной кухне. Среди наших соседей был Павлик, коллекционировавший попугайчиков-неразлучников; их у него было более

сотни, в маленькой комнате за кухней. Посулив Павлику поллитра, я упросил его — когда придет комиссия — выпустить зеленых птичек на волю; пусть полетают по коммунальному коридору. Когда явилась писательская комиссия во главе с Дудиным, над головами гостей стали носиться попугайчики; они радостно верещали и заодно уж какали на Мишину фетровую шляпу. Смущенно хихикая, комиссия удалилась; один только Дудин, оценивший мою тактику, громко хохотал. Осознав, что в таких условиях писатель творить не может, Литфонд предоставил мне квартиру на улице Александра Невского (Б. улица Красной Площади!) — это и было наше последнее жилье в Ленинграде, конфискованное в 1974 году. Мы не забывали, что прямо обязаны им Мише Дудину и только косвенно — Павлику и его неразлучникам.

Дудин был солдатом; это определило его достоинства и недостатки. Солдатские его достоинства — простота мужского товарищества, безусловность взаимной выручки, любовь к дружному застолью. А недостатки — безоговорочное подчинение начальству, преклонение перед приказом. Обмануть, даже предать он мог, но не по злобе, не из коварства или стремления к власти, а только из бессмысленного послушания. Эта его слабость была известна; да впрочем, и он сам ее сознавал и прощал себе со свойственным ему чуть вульгарным юмором. Однажды в ресторан Дома писателя вошел Заводчиков, стихотворец и переводчик, и сидевший за столиком пьяноватый Дудин громко рявкнул: «Пришел Заводчиков, король переводчиков». Тот сказал: «Миша, на твою фамилию все рифмы уже израсходованы: нуден, блуден, труден, паскуден. Но я знаю еще одну. Погоди минуту».

Заводчиков, вероятно, помнил эпиграмму, имевшую широкое хождение, несмотря на ее нелепость (а, может быть, и благодаря таковой):

**Михаил Александрович Шолохов**  
**Для простого читателя труден.**  
**И поэтому пишет для олухов**  
**Михаил Александрович Дудин.**

Возможно, что он помнил еще одну, обидную, но в самом деле содержащую приведенные выше рифмы:

**Умишком скуден,  
 <Членишком> блуден»  
 Товарищ Дудин.**

(Впрочем, говорили, что это — автошарж. Вполне возможно — Дудин был озорник, это вполне отвечает представлению о нем. Недаром ему нравилась автоэпиграмма Безыменского; Дудин прочел ее мне, хохоча:

**Большой живот и малый фаллос —  
 Вот все, что от меня осталось!)**

Вернемся, однако, к Заводчикову. Через несколько минут он подошел к Дудину и прочел ему эпиграмму-экспромт, в которой, в самом деле, оказалась новая (и беспощадная!) рифма:

**Простоватый Миша Дудин**  
**Сто очков любому даст.**  
**Миша Дудин, сын иудин,**  
**Как посмотрит, так продаст.**

Смеялся ли Дудин на этот раз? Едва ли. Эта эпиграмма — из тех, которые остаются — клеймом на лбу.

25 апреля 1974 года в три часа дня собрался секретариат Союза писателей — рассматривался лишь один вопрос: об исключении из Союза Эткинда Е.Г. На заседании присутствовал чиновник из ГБ; он прочитал справку, согласно которой Эткинд был систематическим противником советского режима. Затем выступали один за другим секретари — Холопов, В.Н.Орлов, С.Ботвинник, Чепуров, Дудин. Согласно протоколу, Дудин сказал: «Письмо Эткинда молодым евреям говорит о его сионизме, который граничит с фашизмом». Это было, прежде всего, глупостью: в письме я убеждал молодых евреев не уезжать в Израиль, не стремиться к чужой свободе, а бороться за свою собственную у себя дома. Такую позицию можно назвать антисоветской, но никак не сионистской — ведь она открыто полемична по отношению к сионизму. Узнав через несколько дней, что

именно говорил Дудин, я подумал: а ведь он нарочно твердил нелепости, чтобы мне было легче обороняться. Это было не так; Дудин просто выполнял приказ. Он был по-солдатски послушен. И я не мог не повторять про себя с горечью и тоской:

**Миша Дудин, сын иудин...**

Впоследствии я не раз вспоминал этот эпизод — в книге «Записки незаговорщика» я рассказал его, но он заслуживает психологического анализа. В самом деле, Дудин выступил с краткой, но убийственной речью, обличая старого товарища. «Сионизм, который граничит с фашизмом»: такое чудовищное обвинение могло привести меня к аресту и лагерному сроку — даже в 1974 году; срока давали за гораздо меньшие грехи. Как он мог это позволить себе? Тут сошлись разные обстоятельства: во-первых, он полагал, что об этом его выступлении никто не узнает — стенограммы не было; во-вторых, тут сидел чиновник из ГБ; в-третьих, Дудин ожидал издания двух- или трехтомника своих стихов; в-четвертых, он говорил не первым — и все до него вели себя так же; в-пятых, речь была о недавно изгнанном из страны Солженицыне, с которым Эткинд был тесно связан — и это было особенно страшно; в-шестых, Дудин до заседания выпил полбутылки коньяка. Ну, можно ли было не сказать того, что ожидало начальство? Необходимость подчиниться приказу, проявить солдатское послушание — это, вероятно, главное обстоятельство, седьмое.

Меня, конечно, интересует психология Дудина, поэта и солдата. Но мне хочется понять, почему в советское время столько порядочных, храбрых, достойных людей вели себя как трусливые рабы.

\* \* \*

Мы стоим в холле гостиницы в городе Бари, и я кратко излагаю Дудину рассказанное им. Дудин говорит: «Это неправда. Этого не может быть. Откуда ты взял?» «Из протокола», — отвечаю. «Протокола никто не вел», — говорит Дудин. «Официально не вел, но запись — очень подробная запись заседания — до меня сразу же дошла».

Дудин долго молчал. Потом сказал: «В каком году это было?» «Ты редко совершал подлости, — повторил я, — неужели ты забыл, что это было в 1974-м?» Он опять помолчал, наконец, выдал из себя странную фразу: «Я тогда еще пил». Я удивился: «Неужели ты ничего больше не скажешь?» Но больше он не сказал ничего. Только на другой день принес и подарил мне миниатюрное издание своих стихов с надписью: «Ефиму Эткинду. После многих и долгих лет взаимного неведения».

**Душа устала.**

**Обветшало тело.**

**У песни на последнем рубеже.**

**Мечта сгорела.**

**Радость улетела.**

**И жизнь давно прохлопана уже.**

28 июня 1988

Михаил Дудин».

Бари

\* \* \*

Симпозиум кончился, мы разъехались. Через некоторое время я получил от Дудина длинное письмо — оно было, по сути, покаянным. Мне снова стало его жаль, особенно когда я его увидел, что знаменитый поэт и Герой Социалистического Труда пишет слово «беспомощный» с мягким знаком после «щ»: «беспомощный». Прошел год, я был в Бостоне, он позвонил из Нью-Йорка: «Приезжай, непременно приезжай. Я привез тебе подарок». Я не мог — были лекции; свой подарок он прислал почтой: тяжелый, переплетенный том антологии поэзии XX века Ежова и Шамурина, первое издание — 1925 года. На титульном листе этой редчайшей книги была тщательно выведена надпись:

*«Ефиму Григорьевичу Эткинду  
на память о Ленинграде и Русской Поэзии.  
М.Д., 1989.»*

М.Дудин исправлял свою биографию — он понимал, что стоит на пороге смерти и что поэту нельзя оставить на себе грязное пятно.

Второго января 1994 года я позвонил из Бретани в Петербург — поздравить с 75-летием моего давнего това-

рища, Даниила Гранина. Поблагодарив, он сказал: «Умер Миша Дудин». Они были многолетними соседями и любили друг друга. Смерть Дудина была для него тяжелым переживанием, она и для меня оказалась ударом. Дудин был человеком своей страны и своего поколения: героем и трусом, преданным другом и низким предателем — одновременно. Понять Дудина значит понять гнусную и прекрасную эпоху, в которую мы с ним жили.

\* \* \*

#### *Постскриптум:*

«Литературная газета» поместила 12 января 1994 г. некролог, подписанный поэтом Игорем Шкляревским. Тут сказано очень эффектно: «Веселый, статный, благородный, умеющий делать добро не обаявая, по-олимпийски пребывающий над ненавистью и склокой, один из последних поэтов-фронтовиков, звонкий мастер стиха...» Все это верно. И все это — начало мифа. У некролога свои законы. И у мифа — свои. Но не следует забывать, что есть и справедливость.



*Зинаида ГИППИУС*

## **CONTES D'AMOUR**

### *Дневник любовных историй*

#### Предисловие\*

«Дневник любовных историй» Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869—1945) печатается впервые. Начало его датируется записью от 19 февраля 1893 г., последняя в нем запись была сделана 16 февраля 1904 г. *Contes d'amour* имеет ценность не только как замечательное по искренности изображение поэтессой своего темперамента и отношения к «любителям» ее ума и женского обаяния, но и как документ историко-литературного значения о русской интеллигенции на рубеже двух столетий, которая сыграла большую роль в эпоху религиозно-философского Возрождения России XX века. Особый интерес представляет запись тех мыслей, которые зародились у юной Гиппиус и позже легли в основу ее метафизической философии — свобода, верность, «любовь, вознесенная до Бога. До Небес. До Христа».

\* Предлагаемый текст представляет собой фрагменты из предисловия Темиры Пахмусс к первому изданию дневников Зинаиды Гиппиус, напечатанному в журнале «Возрождение» (Париж, 1968).

Сугубо непосредственного отношения к занимающим ее уже в то время мыслям «любовные истории» не имеют: их, собственно, и нет в обычном смысле. Автор настоящего предисловия поставил себе целью снять с Гиппиус тот «миф» о ее «грехах», например, приписываемых ей «отклонениях от нормы» в физиологическом смысле, ее мнимой «жестокости», «церебральности» ее натуры, «отсутствия в ней живого чувства», — который сложился еще во время ее жизни и передавался из поколения в поколение без критической проверки и без анализа.

В этической и религиозной философии Гиппиус концепция свободы играет большую роль. Размышляя о метафизической основе понятия свободы, поэтесса заносит в свой дневник 15 декабря 1893 г.: «Свобода, ты — самое прекрасное из моих мыслей. Убью боль оскорблений, съем, сожгу свою душу. ...Мысли о Свободе не покидают меня. Даже знаю путь к ней. Без правды, прямой, как математическая черта, нельзя подойти к Свободе. Свобода от людей, от всего людского, от своих желаний, от — судьбы... Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любишь ли Бога или себя. Но здесь не место об этом. И я еще так слаба...»

Слова Гиппиус о необходимости полюбить себя, как Бога, составляющие центральную тему одного из ее стихотворений, «Люблю себя — как Бога», искаженные почти до неузнаваемости в интерпретации некоторых из ее современников, могут и сейчас смутить наивного читателя, смешивающего понятия «себялюбия» и «любви к себе». Тесно связана с понятием свободы мысль о равенстве, которую Гиппиус подчеркивала в человеческих взаимоотношениях. Интимное русское «ты» и французское «tu» она разрешала себе только с близкими друзьями — и только на взаимной почве, несмотря на то, что некоторые из них были значительно моложе ее. Даже в поцелуе, как символе любви и дружбы, она требовала абсолютного равенства. «Поцелуй — это печать близости и равенства двух «я». Он принадлежит влюбленности, т.е. «любви, вознесенной до Бога. До Небес». «Желание, страсть, отжадности украли у нее (возлюбленности) поцелуй — давно, когда она еще спала, — и приспособили его для себя, окрасив в свой цвет... Поцелуй — это первое звено в цепи явлений телесной близости, рожденное влюбленностью; первый шаг его жизненного пути. Но, благодаря тому, что страсть его украли, изменив, — сделала его доступным, — нам теперь и о поцелуе так же страшно и трудно говорить, страшно употреблять «слово», как слово «влюбленность».

Гиппиус видела в любви возможность триумфа над

смертью, воскресения личности, таинственный акт Божественного происхождения. Любовь — это активная сила, необходимая для облагораживания человеческой сущности и, в конечном счете, для перевоплощения земной реальности. Бог даровал человеку любовь как великое задание: пройдя через хаос и сложность людских взаимоотношений, с их порочностью, пассивностью и ложью, очистить человеческую природу.

Отношение Гиппиус к плотской любви менялось с течением времени, как и принцип ее *Contes d'amour*. В 1899 г. она так размышляла о возможности плотской любви: «И любовь, и сладострастие, *теперешнее*, — принимаю и могу принять только во имя возможности — изменения их в другую, новую любовь, новое, безграничное сладострастие; огонь его в моей крови». В «новой любви» врожденное противоречие между духом и плотью должно исчезнуть; святость плоти и необходимость любви для бессмертия человеческой личности должны не только проявить, но и утвердить себя. О своей собственной чувственности Гиппиус сделала следующее признание от 21 ноября 1895 г.: «О, если б совсем потерять эту возможность сладострастной грязи, которая, знаю, таится во мне, и которую даже не понимаю, ибо я, ведь, и при сладострастии, при всей чувственности — *не хочу* определенной формы любви, той, смешной, про которую знаю. Я умру, ничего не поняв. Я принадлежу себе. Я своя и Божья». 16 августа 1899 г. Гиппиус пишет дальше об акте половой любви:

«Всякому человеку одинаково хорошо и естественно любить *всякого* человека. Любовь между мужчинами *может БЫТЬ* бесконечно прекрасна, божественна, как и всякая другая. Меня *равно* влечет ко всем Божьим существам, — когда влечет. Я говорю о специализации и об акте, который имеет форму уже совсем звериную и кончается быстрым и обоюдным удовлетворением, только извращенным слегка. И при чем тут любовь? Так, занятие... И педерастия, *как акт*, должна быть ужасно смешна. Ведь тут то, что оскорбительно между мужчиной и женщиной, — неравенство, — тут оно все налицо, да еще созданное насильственно!»

Свои метафизические взгляды на телесную любовь Гиппиус изложила в деталях в своих письмах к Философову, например, от 16 июня 1905 г. Гиппиус утверждала, что сексуальное переживание не может и не должно кончаться в любимом существе. «Если плотью не любить — то как же *чувствовать* любовь и в духе, и в душе?» — задает себе вопрос Гиппиус. «*Чувство* любви именно плотское. В феноменальном мире все феноменально. Совершенная, т.е. я

хочу сказать, настоящая любовь на земле, здесь — должна быть и *здешней*: проявляться». В письме к Грете Герель, шведской художнице и близкой по мыслям приятельнице, Гиппиус выражает следующее мнение о телесной любви: «Мой темперамент, который любит жизнь во всех ее проявлениях, не может исключить человеческое тело, такое несовершенное здесь, на земле. Разве не сказал Иисус Христос: «Как можете унижать плоть? Разве в нее не вселена жизнь Духом?»»

Последовательность мысли Гиппиус о плотской любви приводит ее к парадоксальному заключению, что в будущем половой акт «исчезнет сам собою». «Акт толкает нас назад, вниз, в деторождение», — поясняет Гиппиус в одном из писем к Философову, разделявшему многие из ее сокровенных мыслей. «Когда деторождение больше не необходимо, оно прекратится. С его прекращением исчезнет и акт сам по себе — не по закону, а из-за его незаконности». Люди будущего достигнут своей «идеальной, индивидуальной формы страсти»: по временам они будут еще подвластны старой, им знакомой форме половой любви. Но, уяснив себе природу этого «старого соединения», человек будущего не даст ему стать препятствием в его движении к идеальному и духовному.

Зинаиде Гиппиус не принадлежит идея «возвышенной и возвышающей» любви: в основе ее концепции заложена идея Вл. Соловьева. Развитие этой мысли в философской системе Гиппиус отличается, однако, самобытностью и оригинальностью. Видя в любви единственную возможность для достижения «Гармонии Целого», Гиппиус особенно останавливалась на значении любви в человеческих *живых* взаимоотношениях, в ее метафизических размышлениях, помимо того, любовь тесно связана с понятием времени и равенства, смерти и воскресения человеческой личности, преобразования пола и необходимости для человека принять на себя крест страдания и развить до последней возможности самосознание ради приближения к духовной реальности Христа. В то время как многие из ее современников — достаточно упомянуть Леонида Андреева, Михаила Арцыбашева, Александра Куприна, Сергея Сергеева-Ценского или Ивана Бунина — изображали любовь прежде всего как преходящее, мимолетное чувство, Гиппиус останавливалась на ее непреходимости. В то время как они подчеркивали биологический аспект любви, Гиппиус интересовалась ее духовным содержанием и ее активной силой в преобразовании реальности жизни духа и плоти.

«Она искала встреч — и шла всегда назад,  
И потому ни с кем, ни разу, не встречалась».

Буренин  
6 мая 1901 г.

19 февраля 1893 г.

Так я запуталась и так беспомощна, что меня тянет к перу, хочется оправдать себя, или хоть объяснить себе, что это такое? Ни Solitudo, ни Ricordo, мои дневники афоризмов, здесь не помогут. Нужны факты и, по мере сил, чувства, их освещающие. Я не говорю, что в этой черной тетради, вот здесь, я буду писать правду абсолютную, — я ее не знаю. Но всякую подлую и нечистую мысль, про которую только буду знать, что она была — я скажу в словах неутайно. Только мне нужен *специальный* дневник. Иначе выйдет оскорбительно для всего другого. Отделить эту непонятную мерзость от хорошей части души. Смогу ли только? А если мерзость так велика, что ничего и не останется? Попробуем.

И не надо выводов. Факты — и какая я в них. Больше ничего. Моя любовная грязь, любовная жизнь. Любовная непонятность.

Но все теперешнее... о, оно не по фактам так мучительно, а по сознанию моей беспредельной слабости. Лучше бы я была просто низкой и подлой. Быть подлой по слабости — вдвойне низко.

Идем за фактами, скучно.

Теперь мое время убивается двумя людьми, к которым я отношусь глубоко различно и между тем одинаково хотела бы, чтобы их совсем не было на свете, чтобы они умерли, что ли... Если б я могла уехать за границу, я была бы истинно счастлива.

Один из этих людей — Минский\*, другой — Червинский\*\*.

\* Минский (Виленкин) Николай Михайлович (1855—1936) — поэт, сотрудник журнала «Вестник Европы и др.; позднее примкнул к символистам. Член одного из религиозных кружков Мережковских в С.-Петербурге.

\*\* Червинский Федор Алексеевич (1864—1917) — поэт, писал также пьесы и рассказы.



21 февраля

Продолжаю через два дня, когда прибавилось много новых фактов. Но не надо забывать хронологию. Я даже думаю вот что: мои «специальные» мемуары будут куцыми, если я возьму факты с теперешнего момента. Нельзя. Надо коснуться прошлого. Но чуть-чуть, потому что некогда. На каждую историю две-три строки.

Учителя, кузины — Бог с ними! В 15 лет, на даче под Москвой, влюбление хозяйского сына, красивого рыжебородого магистра (чего?). Впрочем я о взаимности не мечтала, а хотела, чтоб он влюбился в Анету\*. При свете зеленой лампадки (я спала с бабушкой) я глядела на свою тонкую-тонкую детскую руку с узким золотым браслетом и ужасно чему-то радовалась, хотя уже боялась греха. Потом? Не помню. Долго ничего. Но такой во мне бес сидел, что всем казалось, что я со всеми кокетничаю, а и не с кем было, и я ничего не думала. (Наивность белая до 20 лет.) — Пропускаю всех тифлисских «женихов», все, где *только* тщеславие, примитивное, которое я уж потом стала маскировать перед собою, называть «желанием власти над людьми». В 18 лет, в Тифлисе, настоящая любовь — Jegote. Он — молод, добр, наивно-фатоват, неумен, очень красив, музыкант, смертельно болен. Похож на Христа на нестаром образе. Ни разу даже руки моей не поцеловал. Хотя я ему очень нравилась — знаю это теперь, а тогда ничего не видала. Первая душевная мука. Кажется, я думала: «Ах, если б выйти за него замуж! Тогда можно его поцеловать». Мы, однако, расстались. Через три месяца он, действительно, умер, от чахотки. Эта моя любовь меня все-таки немного оскорбляла, я, ведь, и тогда знала, что он глуп.

Через год, следующей весной — Ваня. Ему 18 лет, мне тоже. Стройный мальчик, синие глаза, слабо вьющиеся, льняные волосы. Неразвит, глуп, нежно-слаб. Отлично все понимала и любовь мою к нему презирала. Страшно влекло к нему. До ужаса. До проклятия. Первая поцеловала его, хотя думала, что поцелуй и есть — падение. Непонятно без обстановки, но это факт.

Относясь к себе как к уже погибшей девушке, я совер-

\* Анета — кузина З.Н.Гиппиус по матери.

шенно спокойно согласилась на его предложение (как он осмелел!) влезать ко мне каждую ночь в окно. (Мы жили в одноэтажном доме на тихой, пустой улице, напротив был сад.) Почему же и не влезать? Я ждала его одетая (так естественно при моей наивности), мы садились на маленький диванчик и целовались. Не знаю, что он думал. Но не помню ничего, что бы меня тогда оскорбляло, испугало или хоть удивило. Ничего не было, А вот я один раз его испугала. После одного поцелуя (уж не помню его) он отшатнулся и прошептал боязливо:

— Кто вас научил? Что это?

(Он мне почти всегда «вы» говорил, а я ему «ты», я так хотела.)

Я и не поняла его, только сама испугалась: кто мог и чему меня выучить?

Нарочно пишу все, весь этот цинизм, — и в первый раз. То, что себе не говорила. Грубое, уродливое, пусть будет грубо. Слишком изолгалась, разыгрывая Мадонну. А вот эта черная тетрадь, тетрадь «ни для кого» — пусть будет изнанкой этой Мадонны.

Физически влекло к Ване. Но презирала его за глупость и слабость. Надо было расстаться. Я предложила ему умереть вместе (!!!). Это, все-таки, его оправдало бы, да и меня. (Надо сказать, что я себя вообще тогда считала «лишней» на свете.)

Ждала его в Боржом. Он не приехал. (Родители его сразу отправили в Киев и умно сделали.) Презрение к обоим и сознание, что меня все-таки влечет к нему — чуть это все меня тогда пополам не перегрызло. Но решила оборвать все, сразу, и оборвала, хотя все-таки влекло.

Какая детскость! Точно необходимо, в любовной истории, равенство умов! (Главное, это трудно до отчаяния. Думаю, что необходимо потому, что для мужчины это еще труднее. Ведь среди женщин даже и такой, душевно-нарядный ум, как мой — редкость. Тогда бы мало кто кого любил! Вздор, да ведь никто никого и любил еще. Не бывало. Надо покориться и пользоваться тем, что есть.)

Бедный Ваня! Я потом, через долго, видала его. Но меня уже не влекло. Все-таки, когда я узнала о его конце (он

повесился, вдолге) на меня эта смерть удручающе подействовала.

Встреча с Дмитрием Сергеевичем\*, сейчас же после Вани. Отдохновение от глупости. Но зато страх за себя, оскорбление собою, — ведь он сильнее и умнее? Через 10 лет после знакомства — объяснение в любви и предложение. Чуть не ушла от ложного самолюбия. Но опомнилась. Как бы я его потеряла?..

Вот Минский. (Ребяческую, тщеславную суету пропускаю.)

С Минским тоже тщеславие, детскость, отвращение: «А я вас не люблю!» И при этом никакой серьезности, почти грубая (моя) глупость, и стыд, и тошнота, и мука от всякого прикосновения даже к моему платью!

Но не гоню, вглядываюсь в чужую любовь (страсть), терплю эту мерзость протянутых ко мне рук и... ну, все говорить! горю странным огнем влюбленности в себя через него. О, как я была рада, когда вырвалась весной на Ривьеру, к Плещееву\*\*, из-под моих темных потолков.

(Плещеев — скучно, неважно.)

На Ривьере — доктор. История вроде Ваниной, только без детства. Мне казалось, что я играю, шучу. Искание любви, безумие возможности (чего?) — яркая влюбленность (вилла Элленрок, дача М.Ковалевского) — и вдруг опять, несмотря на все мужество во имя влюбленности, холод и омертвление. А между тем ведь мне дан крест чувственности. Неужели животная страсть во мне так сильна? Да и для чего она? Для борьбы с нею? Да, была борьба, но не хочу скрывать, я тут ни при чем, если чистота победила. Я только присутствовала при борьбе. Двое боролись во мне, а я смотрела. Впрочем, я кажется, знала, что чистота победит. Теперь она во мне еще сильнее. Тело должно быть побеждено.

Всегда так. Влюблена, иду. Потом — терплю, долго, во

\* Дмитрий Сергеевич Мережковский — выдающийся русский поэт, муж Зинаиды Гиппиус.

\*\* Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт, заведовал литературным отделом в журн. «Северный вестник». Автор прекрасных переводов Гейне на русский язык; большой друг и «благожелатель» Гиппиус.

имя влюбленности. Потом хлоп, все кончено. Я — мертвая, не вижу того человека...

Зачем же я вечно иду к любви? Я не знаю: может быть это все потому, что никто из них меня, в сущности, не любил? То есть, любили, но даже не по своему росту. У Дмитрия Сергеевича тоже не такая, не «моя» любовь. Но хочу верить, что если кто-нибудь полюбит меня вполне, и я это почувствую, полюбит «чудесно»... Ах, ничего не знаю, не могу выразить! Как скучно...

Устала писать. Не могу дойти до теперешнего. Завтра.

22 февраля

Ну-ка, фактики!

Минский, после всех разрывов, опять около меня. А я даже и в себя через него больше не влюблена. Держу потому, что другие находят его замечательным, тоже за цветы и духи. В бессильности закрываю глаза на грязь его взоров.

Червинский — другое.

Этой зимой, 17 ноября, мы долго рассуждали о любви. Я думала:

«Нет, я не во всякого могу влюбиться. До чего с этим безнадежно»

«Я мог бы полюбить вас только, если бы отнеслись ко мне... Но я вас боюсь». Я смеялась.

— Да я уж влюблена в вас!..

Он поцеловал кончик моих волос, увлечен не был, но я почувствовала, что *могу*...

Письма, неуверенность, неопределенность, моя полуправда, игра... Два месяца. В жестах неоскорбительный, допоцелуйный прогресс. Это ничего. Нет ли во мне просто физиологической ненормальности? Как только кончен февраль любви (с иными апрель, май — с разными разно) — в мое чувственное отношение к человеку вливается чувственная ненависть. Она иногда сосредоточивается в одной внешней черте... Но это обман, это не к человеку.

Милая, бесхитростная влюбленность! Буду тебе помогать. Если б я умела довольствоваться маленьким, коротеньким, так хорошо и легко бы жилось. Пусть демон хранит мое целомудрие, я люблю и позволяю себе ангельски приятные поцелуи...

После первого, полуслучайного, поцелуя в дверях — я ужасно хорошо влюбилась. Было темно, я провожала его (Минского) в третьем часу. От него недурно пахло, духами и табаком. (Душиться, говорят, mauvais genre, но я люблю.)

Скользнула щекой вниз по его лицу и встретилась с его нежными и молодыми губами.

Я дурно спала и улыбалась во сне.

Вот и отлично бы, а я не удовольствовалась. Как я знаю, что он ничтожен? А если нет? Если может не флирт — а любовь? Нет, не могу флирта. Стыжусь. Одно письмо мне понравилось. Он неумен и ничтожен? Да как я знаю? Я стала говорить о «большом чувстве».

Пошли «выверты». Хорошо, что мало поцелуев. Явилась и ложь. Я преувеличиваю перед ним мою веру в него.

Он сказал мне раз, тоже в дверях: «Зина, пришло большое...» Нет, не верю. Не влюблена в его любовь.

Господи, как я люблю какую-то любовь. Свою, чужую — ничего не знаю.

### 23 февраля

Иногда мне кажется, что у Червинского душа такая же мясистая, короткая и грузная, как его тело.

В понедельник на прошлой неделе был Минский. Я сидела в ванне. Я позвала его в дверях, говорила какой-то вздор и внутренне смеялась тому, что у него голос изменился. Издеваюсь над тобой, власть тела! Пользуюсь тобой в других! Сама — ей не подчинюсь...

Да, верю в любовь, как в силу великую, как в чудо земли. Верю, но знаю, что чуда нет и не будет. Сегодня сижу и плачу целый вечер. Но теперь довольно. Я потому плакала, что Червинский написал несколько нежно-милых строк, а они так не шли к моему настроению, точно их офицер писал. Да и офицер их не написал бы, если б любил.

Хочу того, чего не бывает.

Хочу освобождения...

Я люблю Дмитрия Сергеевича, его одного. И он меня любит, но как любят здоровье и жизнь.

А я хочу... Я даже определить словами моего чуда не могу.

Не буду писать Червинскому. Слишком безнадежно. Я останусь одна со своим безумием. Солнце, солнце!

### 7 марта

Чтоб покончить с моими «сказками любви» — надо корень жизни изменить...

Да, все наперекор себе, все наизнанку, боюсь грубого, отвратительного, некрасивого — а тут все грубо и некрасиво. Отдать свою душу не тому, чему хочешь отдать — а чему не хочешь, вот где беспредельная гордость и власть.

И только для себя, потому что ведь никто не узнает, *чьим* это было до меня. Я буду для других только одна из многих самоотверженных женщин. Любвеобильное, альтруистическое, женское сердце... Господи! Нет. Я сумасшедшая...

### 13 марта

У меня много тоскливой, туманной нежности... Я так редко нежна...

### 15 марта, понедельник

Мутит меня.

Опять этот Минский, обедает у нас, ерзает по мне ревниво жадными глазами, лезет ко мне... Не могу. И не могу не мочь.

Я улыбаюсь от злости.

Вчера у Репина\* было отвратительно скучно. Те, Шишкин\*\*, Куинджи\*\*\*, Манассеин\*\*\*\*, Прахов\*\*\*\*\*,

\* Репин Иван Васильевич (1874—1936) — писатель, участник Суриковского кружка, основателем которого был поэт Иван Захарович Суриков (1841-1880).

\*\* Шишкин Иван Иванович (1831—1898) — живописец-пейзажист; связан с кружком поэтов «Вечера К.К.Случевского», основанным известным поэтом Константином Константиновичем Случевским (1837—1904).

\*\*\* Куинджи Архип Иванович (1840—1910) — живописец, первый русский импрессионист.

\*\*\*\* Манассеин Вячеслав Авксентьевич (1841—1901) — врач, председатель Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, редактор газеты «Врач».

\*\*\*\*\* Прахов Адриан Викторович (1846—1916) — историк искусства и археолог; профессор СПб Университета, где читал лекции по истории искусства древней Греции.

Тарханов\* — старье, идола глупости. Тромбон — Стасов\*\*, Гинцбург\*\*\*, рожи дамы...

Нет жизни, нет культуры.

Что бы сделать с собой?..

Нет красивых и чистых отношений между людьми (разве только духовными). Нет чуда, и горько мне, и все в темноте...

*19 марта, пятница*

Вероятно, я пишу здесь в последний раз. Если возвращусь к этим страницам, то через долгое время, когда будут новые «сказки любви», потому что эти — кончены.

Во вторник вечером я написала Червинскому такое письмо, которое привела бы здесь, если б он его возвратил. Я сказала все, что думала. И как переменялись мои мысли. Я говорила, что надо проститься, надо оборвать отношения сразу.

Просила придти вечером, 17-го марта (ровно 4 месяца). Когда получила в постели записку с одним словом: «приду» (я не хотела других слов) — мне стало так жаль себя, что расплакалась. Но потом стыдно сделалось самой.

Плохо спала. Рано проснулась. Целый день ходила. Вечером поехала во Французский театр. И когда вернулась — была измучена и физически, и нравственно.

Он ждал меня. А я ничего не чувствовала, кроме досады.

Я знала, что мы расстаемся серьезно. Но теперь даже мне хуже, чем тогда.

Мучительный вечер! Этого человека я не понимаю. Не понимаю, любит он меня, или нет. И он меня определенно не понимает.

(Например, он совершенно не понимает, что это не плохо, что я ему никогда не говорю «люблю». Чудесной,

\* Кн. Тарханов Иван Романович (1846—1908) — физиолог, профессор в СПб Медико-Хирургической Академии; сотрудник «Энциклопедического Словаря» Брокгауза и Ефрона.

\*\* Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — историк и искусствовед; окончил Юридический факультет СПб Университета. Написал либретто для оперы Бородина «Князь Игорь», опубликовал целый ряд произведений русских композиторов.

\*\*\* Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939) — скульптор в С.-Петербурге.

последней любви нет; так наиболее близкая к ней — неразделенная, т.е. не одинаковая, а разная с обеих сторон. Если я полюблю кого-нибудь *сама*, и не буду знать, любит ли он, — я все сделаю, чтоб и не знать, до конца. А если мне будет казаться... не захочу, убью его любовь во имя моей. Ведь все равно он не сможет *так*, как я. Вздор! Если я полюблю — поверю, что сможет. Вера неотделима от любви. Да пусть. Поверю, а действовать стану по знанию, а не по вере...) Господи, дай мне то, что мне надо!

Ты это знаешь лучше меня. Вся душа моя открыта, и Ты видишь, она страдает. Я не скрываю, что хочу много. Боже, дай мне много. То, подлое во мне, что, я слышу, шевелится — ведь Ты же дал мне. Ну, прости, если я виновата, и дай мне то, чего я хочу. Мне страшно рассердить Бога моими жалобами. И еще мне стыдно... Неужели это *все* — от жалкой причины отъезда Червинского? Нет, не все тут. Я правдива здесь. Я сожгу это перед смертью. Много, много у меня в душе. Я писала стихи сегодня, после многих лет. Пусть они плохи, но пишу их и повторяю потом — как молюсь. Есть неведомое чувство умиления и порыва в душе. О, если б молиться, пока жить!

Песня

**Окошко мое высоко над землею,  
Высоко над землею.  
Вижу я только небо с вечерней зарею,  
С вечерней зарею.  
И небо кажется пустым и бледным,  
Пустым и бледным.  
Оно не сжалится над сердцем бедным,  
Над моим сердцем бедным.  
Увы, в печали безумной я умираю,  
Я умираю.  
И жажду того, чего я не знаю,  
Не знаю.  
И это желание не знаю откуда,  
Пришло откуда,  
Но сердце просит и хочет чуда,  
Чуда!  
Мои глаза его не видали,  
Никогда не видали,  
Но рвусь к нему в безумной печали,  
В безумной печали.**

**О пусть будет то, чего не бывает,  
 Не бывает,  
 Мне бледное небо чудес обещает,  
 Оно обещает, —  
 Но плачу без слез о неверном обете,  
 О неверном обете.  
 Мне нужно того, чего нет на свете,  
 Чего нет на свете.**

*После 17-го Марта.*

*26 марта*

Какие дни! Опять пишу. Зачем?  
 Какие дни!

Два слова о Минском. Я о нем здесь забыла. Это — другой человек. Что с ним? Он или так любит меня, что имеет силу, или вообще имеет силу. Если б он всегда был такой! И мое отношение к нему меняется. Ни отвращения, ни злобы.

Дай Бог ему еще больше сил.

*28 марта — суббота — воскресенье*

(Пасхальная ночь.)

Поют «Христос Воскрес». Я молюсь о том, чтобы Он дал мне легкость души и освобождение.

Такая боль, что от нее слезы выступают на глаза, и она длится, и от продолготы боли теряешь сознание времени.

Не раненое ли это самолюбие? Не от самой ли боли и боль?

Я — и Червинский!

Жесткая боль, тесная боль, горячая боль. Так разве страдают от любви? Червинский прислал письмо из Венеции. Не распечатала его. Отдам ему. Вижу в письме на свет веточку ландышей и несколько слов: «Брожу растерянный, тоскующий... Какое было бы... Умоляю одну строчку... в Рим... Не могу ничего не знать о вас...»

Бедная веточка, бедные слова! Нет любви, нет ни у кого резкого, сильного, громового слова. О, если бы я любила!..

Много я о себе узнала в это последнее время. Никогда не тревожьте меня, мои небесные мечты! Успокой, Господи, мое сердце. Утоли мою боль. Утиши мою злобу. Прости, отпусти меня. Сделай не то, что я хочу, а что Ты хочешь. Как

я понимаю слова «да будет воля Твоя!». В первый раз так понимаю. Не то важно, что мне сделали, а как оно во мне отозвалось.

Успокой, Господи, мое сердце.

*30 марта, вторник*

Что это? Всего два часа, и гудят колокола, это заутреня? Я хотела бы пойти в церковь. Мне часто хочется молиться. И только об одном: пусть Он сделает скорее, как Он хочет.

*20 сентября*

С усилием беру перо, не хочу писать окончательное окончание.

Такое оно позорное. Вот она, душевная одежда, самолюбие!.. К лету я успокоилась и забыла о Червинском. Мы переехали в Лугу.

Я скучала, но у меня рождались новые, страшные мысли о свободе... Должно быть, не очень они были сильны тогда, — бесплодные мысли!

С Минским я кончила тогда же, весною. Тоже как-то трусливо кончила, сама к нему уходила в Пале-Рояль, жалела, а потом забегала вперед и писала о разрыве. На последнее, решительное, он не ответил и уехал. Больше ничего о нем не знаю.

Зачем Червинский приехал к нам в Лугу? К маме? Но он мог бы подождать до осени. Не знаю.

Приехал в день нашего (меня и Дмитрия Сергеевича) отъезда по делам в СПб.

Я все-таки волновалась, укладывая чемоданчик. Цвела сирень, я чувствовала себя хорошенькой и свежей и думала: «А ведь он любит еще меня!» Я приходила и уходила, звеня ключами. Он сидел в столовой, черный, располневший, бритый...

В Петербурге он должен зайти ко мне (я просила).

Он пришел. Белый вечер, пустая квартира, Дмитрий Сергеевич, брат Николай\*.

— Я на минуту, — сказал Червинский, входя, — я занят.

\*Николай Сергеевич Мережковский, брат Д.С.Мережковского, чиновник особых поручений при Государе. Умер в Болгарии после революции.

Время шло, было неловко, но я вызвала его в другую комнату.

— Вот ваше письмо, я его не читала. Возвратите мне мое, последнее.

Он схватил бедное письмо, с той веточкой ландышей, и злобно разорвал его.

— Теперь я знаю, вы не могли ответить, вы не знали, как ответ мне был нужен. На это письмо нельзя было не ответить. Ваше я возвращаю. Тогда я не мог...

— А теперь...

— Теперь оно мне больше не нужно...

Я сделалась кротка и печальна. Разве я не предупреждала его честно, что не буду отвечать на письма? Я говорила о моих «мечтах», о боли... У меня почти нет враждебности к нему... Препрежнее чувство неприкосновенно, все, что было... Разве можно изменяться? Мне нравилась моя роль — *resignee*. Не знаю, где кончалась искренность и начиналась ложь. Я волновалась.

Он ходил по комнате, желтый, мрачный.

— Вы бросаете другой свет... Но моя враждебность создалась постепенно. Я так работал над собой... А теперь — кончим эту аудиенцию. Все сказано. (Это он — мне сказал, а я пишу.)

Мы еще пили чай при белом свете. Я уже не могла выйти из роли покорной страдальницы. Я звала его в Лугу.

Уезжая, я оставила ему письмо. Зачем? О, эти мои письма! О, как они меня жгут, каждое, даже невинное, не содержанием, а самим фактом!.. Люблю свои письма, ценю их, — и отсылаю, точно маленьких, беспомощных детей под холодные, непонимающие взоры. Я никогда не лгу в письмах. Никто не знает, какой кусок мяса — мои письма! Какой редкий дар! Да, редкий. Пусть они худы — даю, что имею, с болью сердца, с верой в слова. Из самолюбия писем не пишу, но после они обращаются на мое самолюбие, и я это знаю, и жертвую самолюбием — слову.

И в письмах была правда, опять старая правда, только без надежд. Господи, прости меня за этих бедных деток, с которыми я так жестока порою! Устала. Завтра кончу все о Червинском...

22 сентября

Продолжаем. Какая скука! А надо...

Червинский опять приехал через месяц.

Я много писала в этот месяц, а главное, много думала. Мысли меня могут пополам разломить, если очень ярки. До Червинского они не касаются.

Но — факты.

Он приехал, я очень взволновалась, все забыла, кроме опять мелкого самолюбия, и сразу попала в тон *resignee*.

Он был довольно холоден и крайне равнодушен. Вечером я затащила (именно затащила) его к себе.

Я говорила опять о прошлом, он отвечал неохотно. О том, что он разлюбил — я упомянула вскользь, как о конченном деле: но сама думала: не может быть: ведь осталось же хоть что-нибудь.

Он сидел на моем розовом диване, прямо поставив ноги, сложив полные ручки на коленях, с каменной неподвижностью....

То же было и на другой день. Только я была еще некрасивее от слабости и злобы (я ужасно некрасива, когда слаба и зла, и знаю это, и страдаю, и еще хуже тогда).

Я обещала ему отдать все его письма. Он точно обрадовался. После завтрака мы остались одни.

— Пойдемте гулять, — сказала я.

Помню свою батистовую кофточку *vieux rose*, белое покрывало и зонтик с большим шелковым бантом... Я опять говорила, мы сели на скамейку. Вдруг я заметила, что он не слушает. Что-то такое тупое было в его лице, что я испугалась. И, прервав себя, спросила его:

— О чем вы думаете?

— О чем я думаю? — повторил он машинально. — Так. Ни о чем. О деревне думаю.

— О какой деревне? — спросила я почти с ужасом.

— Так о деревне. Я скоро с ума сойду, — прибавил он, помолчав, и с прежней безучастностью.

Замолчала и я.

Солнце сквозь ветки пятнами падало на его неподвижное лицо, на коричневый котелок, на сгорбившийся *faux-col*. Душу мою ело чувство без названия. Ужас? Стыд? Отчаяние

унижения? Не знаю... Но скучно все писать, все то же самое. Я не пожалела себя — ну и довольно. Здесь довольно. Но смею ли теперь вернуться к моим мыслям... о Свободе?

*16 октября. СПб.*

Минский в городе... Теперь мне все равно. Я жалею его. Я пожелала ему быть свободным и радостно одиноким, это единственное счастье. Только он этого не поймет.

От времени до времени меня тянет к этой тетради.

*17 ноября*

Да, тянет, потому что даже в безобразной правде есть привлекательность. Я утоляюсь, здесь я — не раба, я свободна, я смотрю моей жизни в глаза, я плюю на все, на всех и на себя, главное — на себя. Мысли о Свободе не покидают меня. Даже знаю путь к ней. Без правды, прямой, как математическая черта, нельзя подойти к Свободе. Свобода от людей, от всего людского, от своих желаний, от — *судьбы...* Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или себя.

Но здесь не место об этом. И я еще так слаба...

О чем я хотела писать? О последнем разговоре с Червинским.

Вечером, поздно. Случайно. Я уже была иная. Я просто хотела знать, потому что тут чего-то не понимала. За что он так враждебен?

Потому что в нем не равнодушие было, а вражда.

Прослушала молча.

Говорил почти грубо, что у меня нет ничего святого, что он это *знает*, а не предполагает, «по математическим изысканиям»... В чем обвинял он меня — не знаю; чувствуя себя правой перед ним (не перед собой, может быть) — я улыбалась, ибо ведь не в моей власти было заставить поверить мне, если нет веры. Не знаю даже, о чем он говорил. Что ж, дать ему было эту тетрадь? Зачем? Нет силы у слов.

В моей улыбке, в моем молчании была правда, которую все-таки отчасти почувствовал. Потом забудет — не все ли равно?

А перед собой я виновата в том, что не могу переломить себя *совсем* и не чувствовать моей больной, горькой печали.

*15 декабря*

Я думаю, я недолго буду жить, потому что, несмотря на все мое напряжение воли, жизнь все-таки непереносимо меня оскорбляет. Говорю без определенных фактов, их, собственно, нет. Боль оскорбления чем глубже, тем отвратительнее, она похожа на тошноту, которая должна быть в аду. Моя душа без покровов, пыль садится на нее, сор, царапает ее все малое, невидимое, а я, желая снять соринку, расширяю рану и умираю, ибо не умею (еще) не страдать. Подумаешь, какая тонкость! Ах, недаром поэты меня отпевают. Пошло и сентиментально пишу. И вздор.

Господь даст мне силу недетскую, даст силу быть, как Он — одним. Свобода, ты — самое прекрасное из моих мыслей. Убью боль оскорблений, съем, сожгу свою душу. Тогда смогу выйти из пепла неуязвимой и сильной. Будет минута перед смертью, когда...

*12 марта 1894 г.*

Я больна, кажется, серьезно. Может быть мы поедем за границу. Надо ехать. Не стоит здесь писать. Нет никаких *contes d'amour*. Это мои мысли так меня переломали. В них есть что-то смертельное. В моей этой «свободе». Боюсь, не хочу думать. Верно ли, если это смерть? А если и верно, то я для смерти еще слаба. Я еще живая, я хочу жить. Прости мне, Господи! Если я не должна хотеть жить.

И одиночество в мыслях меня тоже ломает. А они — *должны* быть одинокими. Письмо от Максима Ковалевского\*! Поедем, верно, на Ривьеру.

*4 марта 1895 г.*

Кажется, закончилась эта... «сказка любви»? Но сказка ли это любви была? Что же это было? Пользование чужой

\* Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — профессор СПб Университета по государственному праву; политический деятель и ученый с европейской репутацией.

любовью, как орудием, для приобретения власти над человеческой душой? Созидание любви в другом во имя красоты? Вероятно, все вместе. Пойдем сначала. Факты. Никогда не приходила мне в голову мысль о любви... Флексера\*. Я всегда радовалась его хорошему ко мне отношению. Мы были далеки — но я знала, что он ко мне — хорош. Потому радовалась, что думала, что это не «ради моих прекрасных глаз», а «ради моего прекрасного ума». Я возобновила знакомство (этой осенью) отчасти случайно, отчасти потому, что так все складывалось, я только не противилась. И дружба мне нужна была, мне было холодно. А Флексер всегда (и почему? почему?) казался мне человеком, которому все можно сказать и который все поймет. Я *знала*, что это не так, а между тем упрямая и бессмысленная человеческая слабость меня баюкала другим.

Я думала, что это человек — среднего рода. Иначе смотреть на него не могла. (Забыла сказать, что положение его при журнале тоже играло некоторую роль в желании моем возобновить «дружбу». Какую, большую или малую — не знаю; но хочу быть до конца добросовестной.) И вот — мы стали сблизаться. Мы спорили, ссорились и мирились. Я приходила к нему, мы просиживали вечера, потом он провожал меня домой. Раз я даже сказала ему, что считаю его среднего рода... к моему изумлению он обиделся, и я поспешила его замять. Вскоре, однако, я поймала себя на кокетстве с ним. С ним!..

*Перерыв. Продолжаю.*

Он рассказывал мне, что жизнь его — чистая. В молодости был женат, разошелся с женою и десять лет живет аскетом. Его чистота не похожа на мою: он — цельный. Я не допускаю «это» из личного желания, из странной гордости, может быть (или почему?), а он, вероятно, умеет *сам* бороться (из «мыслей»)...

Мы много говорили о любви: само вышло. У меня были всякие мысли: я уже помышляла о власти. И мне хотелось

\* Волынский (Флексер) Аким Львович (1863—1926) — редактор журн. «Северный вестник», критик и искусствовед; автор «Книги великого гнева» (1904).

хоть видеть чистую любовь, без *определенных* желаний. Но все-таки я не кокетничала (или страшно мало), я бы призналась. Два-три задушевных вечера — и вот странные письма, которые меня волновали (его письма, я почти не писала). Странно, но так: могу писать только к человеку, с которым чувствую телесную нить, *мою*. Говорю о хороших письмах, о тех моих «детях», в которых верю. (Телесная *нить* — это вовсе не какая-нибудь телесная *связь*, одно может быть без другого, наоборот). Но «сухой огонь» Флексера неотразимо пленял меня. Слово «любовь» незаметно вошло в наш обиход. Он говорил «слово» — я старалась объяснить ему мою истинную привязанность, мучилась, когда он не понимал, и тогда просто молчала. Иногда меня заражала его безумная любовь, неопытная и страстная, — он сам говорил, что она — страстная, но все повторял, что сам не хочет от меня ничего, не ради моих мыслей, а ради своих, которые тождественны. И я иногда бывала влюблена в эту его любовь.

Он обещал быть чистым всю жизнь, как я. Не скрываю, что это меня побеждало. Это толкало меня вперед...

*26 сентября 1895 г.*

Целое лето прошло, а конец моей истории еще не наступил. Правда, у меня такое чувство, что она висит на волоске. Это, все-таки, страшно важно, что он мне не нравится. Не преувеличиваю — но и не скрываю, что меня не утешает больше ни его любовь, ни его преданность. Я привыкла (я такая «привычная», в хорошем смысле), но я его не люблю и не жалею, у меня нет ничего бескорыстного к нему. В любви он меня не оскорбляет, ни жестами, ни словами (ни одного «ты»), но он весь меня оскорбляет, собою. Даже умом — не странно ли? а ведь он умнее меня. Я даже ссориться с ним не могу. Иногда мне кажется, что обман наш обоюден, что он и не любит меня, хотя уверен, что любит. Ему точно лавры Минского не дают спать. И он решил «перелюбить» Минского.

— За что вы меня любите? — спрашиваю я его.

Он отвечает неизменно и твердо:

— За красоту.



А когда я со спокойствием уверенности начинаю ему объяснять, что, ведь, я в сущности, не красива, даже некрасива (в одно слово) — я вижу, как он теряется, путается, смотрит на меня тревожно, полусоглашается, что, конечно, я, для обыкновенного взора, некрасивая женщина, но что в сущности... что это неопределимо, что это слишком тонко и т.д. И мне тогда ясно, что он никакой «красоты» во мне не видит, и даже если и любит (если) — то уж никак не за «красоту». Во всяком случае пена этого шампанского (ежели это не был говорковский квас) для меня давно растаяла. Конец должен быть. Какой? Мне скучно думать. Или я несправедлива, и сердце мое к Флексеру лучше, чем здесь вышло? Ох, мне скучно, мне тягостно жить дальше, нет сил поднять тяжелые веки. Будь, что будет.

Живет ли тот, кого я могла бы хоть любить? Нет, я думаю. И меня *нельзя* любить. Все обман.

15 октября 1895 г.

Летом я иногда скучала о Флексере, когда он уезжал. С водворением в городе — стена перед глазами. Резюмируем причины.

Я вижу, что больше того, что я с ним достигла — я не достигну. «Чудесной» любви он не вместит, власти особенной, яркой — я не имею; — не в моем характере действовать из-за каждой мелочи, как упорная капля на камень; я люблю все быстрое и ослепительное, а не верное подпольное средство. Он уступает мне во всем — но тогда, когда я устану, брошу, забуду, перестану желать уступки. Я не хитрая, а с ним нужна хитрость. Затем: он человек анти-художественный, не тонкий, мне во всем далекий, чуждый всякой красоты и моему Богу. (Ведь даже и в прямом смысле чуждый моему Богу-Христу. Я для него — «гойка». И меня оскорбляет, когда он говорит о Христе. Ведь во мне «зеленая лампадка», «житие святых», бабушка, заутреня, ведь это все *было* в темноте прошлого, это — *мое*.)

Я привычливая, но я холодно думаю о разрыве. Чужой и теперь часто противный человек...

Не хочу никакой любви больше. Это валанданье мне надоело, и утомительно.

Я — виновата. Не буду же просить подставить мне лестницу к облакам, раз у меня нет крыльев. Аминь.

24 ноября 1895 г.

Вот какие факты. Я написала стихи «Иди за мной», где говорится о лилиях. Лилии были мне присланы Венгеровой\*, т.е. Минским.

Стихи я всегда пишу, как молюсь, и никогда не посвящаю их в душе никаким земным отношениям, никакому человеку.

Но когда я кончила, я радовалась, что подойдет к Флексеру и, может быть, заденет и Минского. Стихи были напечатаны. Тотчас же я получила букет красных лилий от Минского и длинное письмо, где он явно намекал на Флексера, говорил, что «чужие люди нас разлучают», что я «умираю среди них», а он, «единственно близкий мне человек, умирает вдали»...

Письмо меня искренно возмутило. Мы с Флексером написали отличный ответ: «Николай Максимович, наше знакомство прекратилось потому, что оно мне не нужно»... Ведь действительно он мне не нужен.

Но интереснее всего то, что я, через два дня, после дала Минскому букет желтых хризантем. Я сделала это потому, что нелепо и глупо было это сделать, слишком невозможно...

Мне жалко Флексера... И всегда я с ним оставалась чистой, холодной (о, если б совсем потерять эту возможность сладострастной грязи, которая, знаю, таится во мне, и которую я даже не понимаю, ибо я, ведь, и при сладострастии, при всей чувственности — *не хочу* определенной формы любви, той, смешной, про которую знаю). Я умру, ничего не поняв. Я принадлежу себе. Я своя и Божья.

12 ноября 1896 г.

Батюшки! Целый год прошел. Тягота и мука. О чем же писать? Тягота, мука, никакой любви, моя слабость. Но

\* Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867—1941) — критик, писала статьи в жури. «Северный вестник», «Образование» и других литературных журналах С.-Петербурга, а также в лондонском «Fortnightly Review». Большая приятельница Гиппиус и Минского; принимала участие в религиозном кружке Мережковских.

безнадежно все улучшается... Эту тетрадь ненавижу. Узость ее, намеренная, мне претит. И сейчас едва пишу. Взять ее — кажется, что я только и жива Любовями, любовными психологиями, да своими мерзостями. Здесь одна сторона моей жизни, немаловажная, но все-таки одна. Я из этих рамок не выйду, нет смысла. Но претит. Скучища! Я там, размазывая с Червинским, все-таки выходила, вылезали кончики мыслей. Это стыдно. Как положено, так и надо. А теперь ничего не надо, ибо ничего нет в «любви», а только обжог от сознания своей слабости. Ничего.

О, если б конец скорей!

30 декабря 1897 г.

Опять больше года прошло... Мне надо продолжать мою казнь, эту тетрадь, «сказки любви»... то, с чем жить не могу и без чего тоже, кажется, не могу. Даже не понимаю, зачем мне эта правда, узкая, черная по белому. Утоление боли в правде.

Сегодня скользну по прошлому и остановлюсь на... настоящем.

Разрыв с Флексером совершился, наконец, этой весной.

Тянулась ужасная зима (96—97 гг.), ужасная по уродливым и грубым ссорам, глупо грубым и уродливым примирениям. (Не от меня шли примирения...)

Весной появился доктор. Не знаю, зачем он пришел. Кажется, чтоб друга своего со мною познакомить, безразличного какого-то юриста в летах. Это, вместе со страшными литературными недоразумениями (я отказалась печататься в *Северном Вестнике* из-за уродства Флексеровских статей) — послужило толчком к разрыву. Еще совсем весной мы делали вид, что в дружбе... но мы были уже обозленные враги.

Я обманывала его, стараясь избавиться от него каждое послеобедно. Обманывала, выдавая с Венгеровой в женском обществе и потом переписываясь с нею, обманывала, говоря ему, и почти не слыша их, нежные слова (мало слов!) и принимая доктора, который мне совершенно не нужен.

Однажды Флексер, проведя несколько часов, в белый вечер, у моего подъезда, — «выследил» доктора! Это меня

взорвало. Думаю, и сам Флексер уж тяготился нашими отношениями, тут на сцене история с его поездкой в Берлин по делам, причем он говорил, что если я не хочу — он не поедет, но говорил неуверенно, а я говорила, чтоб он не ехал — но тоже неуверенно, с боязнью, что он останется.

Светлая ночь 17-го Мая. Еленинский сад. На душе — пыль и великое томление. Мы говорили грубо и гадко.

— Так вы рвете со мною? Это безоговорочно?

— Я — не рву иначе, я вам говорила.

— Вы... вы раскаетесь. Я такой человек, который никогда не будет в тени.

— Очень рада за вас. Сожалею, что не могу сказать этого про себя.

Мы встали и пошли. Я должна была быть в 10 1/2 у Шершевского\* на Сергеевской. Ночь была теплая, мутно-светлая, пыльная и чужая. Безмолвно лежали черные воды каналов. Крупинки пыли со свистом скрипели под моей усталой ногой на плитах тротуара. Я убедилась в разрыве и была, как всегда, спокойна перед его психопатией.

У двери Шершевского он сказал:

— Так мы расстаемся?

— Так мы расстаемся? — повторила я.

— Да... Не знаю... Ничего не знаю...

— Но ведь я же вас очень люблю...

И, верно, не особенно много было любви в моем лице и голосе, потому что весь он сжался, точно сохся сразу, и посмотрел на меня почти ненавистническими, растерянными глазами. Я почему-то подумала:

— Боже мой! сколько раз эти выпуклые глаза с красными веками плакали передо мной от злобы и жалкого себялюбия жалкими слезами! И он считал их за слезы любви!

Я повернулась и вошла в подъезд. С тех пор я его больше не видала.

Оказывается — он ждал меня на другой день! Недурно! Через день было письмо. Потом еще и еще. Одно было

\* Шершевский Михаил Маркович (1847—?) — врач, окончил Медико-Хирургическую Академию в СПб. Личный врач Великого Князя Николая Николаевича Старшего; в 1903 г. пожалован лейб-медиком Императора Николая II. автор ряда научных произведений в области судебной медицины.

хорошее, — а следующее! «Пишите мне в Берлин, поймите вопль моей души, и я — я вернусь к вам!»

Это он — мне! Я плакала злыми, подлыми слезами от отвращения к себе за то, что я *могу* этим так оскорбиться.

На другой день после этих слез — неистовая радость охватила меня. Нет боли, которой я боялась! Никакой боли — и я свободна! Радость была постоянная, легкая, светлая, почти счастье, как в детстве на Пасхе.

Я уехала в деревню.

Тишина и ароматы обоняли меня...

Продолжение завтра, я слишком устала, а то, что нужно написать — еще слишком живо...

*17 октября 1898 г. СПб.*

И отлично, что тогда не написала. Вышло бы сентиментальное идиотство. Я поняла, что нельзя здесь писать о настоящем. Вот, сколько размазала о Червинском, — и все глупости, и совершенно непонятно. Себя не так понимаешь. И скука-то, скука — Боже мой! Этакой скуки почти выдержать нельзя. Едва могла перечитать сначала, и то не сразу... Чего моей душеньке угодно?..

Я рада поцелуюм. В поцелуе — оба равны. Ну, а потом? Ведь этого, пожалуй, и мало...

Явно, что надо выбирать одно: или убить в себе, победить это «целомудрие» перед актом, смех и отвращение, перед всем, что к нему приводит, — или же убить в себе способность влюбления, силу, ясность, обжог и остроту... Это так; но — т-с-с! Потом! Нельзя теперь.

Я уехала после разрыва с Флексером — без боли, только с ответиком сентиментальной грусти, и без «шантиментов».

В деревне было очень хорошо. Быструю езду, верхом или в легком экипаже, я люблю безразмерно, как-то нутром люблю. Теплые, душистые поля, ветер в лицо, и кажется, что ты только часть всего, и все говорит с тобою понятным языком. Вот оно — стихийное начало.

И так я жила, с этими запахами и цветами, радуясь не думать, только — свободная.

Там был сын помещицы, купчик, не кончивший военного училища, примитивный, но обожающий свои поля и леса, и

эту быструю езду: он ездил каждый день со мною, вместе мы видели разные стороны неба, и туман полей, и далекие полосы дождя. Какой он был? Кажется, красивый, но толстый, большой, хотя и не грузный, да и не видела лица — лицо природы. Я не судила его, он был часть всего, как и я — равный мне в этом...

Господи! Это все неловкие слова, по ним нельзя понять, что такое для меня, после всей жизни, значили слова: признать себя обыкновенной женщиной, сделать себя навсегда, в любви, как все. Около этой мысли — какой сонм страхов, презрения, привычек...

Нет, в поцелуе, даже без любви души, есть искра Божеская. Равенство, одинаковость, единство двух. И все-таки, хотя в это мгновение существует *один*, соединенный из двух, — *два* тоже существуют. То есть этого всего нет, но есть какие-то мысли об этом. Тут, конечно, не было; мое тело — не я (куда же душу тогда?) — но я представляю себе поцелуй двух «я»... и все-таки даже не только поцелуй. Но что же?

Улыбаюсь от мысли того, кто читал бы это. Нет, нет, для меня «это» — уже не вопрос. Нет...

*16 августа 1899 г. СПб.*

Приехала на два дня из Орлина. Давно не видала этой тетради. В походной моей чернильнице мало чернил, а хочется написать. Роман! Мало что роман! «Все про неправду писано», а здесь — другое. Скучно, как сама жизнь. Зато и нужно короче.

Перечитала последние страницы. Нахожу, что я была всегда все-таки в безумии, решаясь подчиниться желанию тела. И ничего не узнала. Как это отделять так тело от души? А если тело — *без души* не пожелало? Вот и опять все неизвестно.

У меня такие страшные мысли... Но о свободе — но через прошлую свободу, конечно. Но о них здесь не место. Да я в них *теперь*, кажется, не одинока. Поговорим о том, что было — в любви. О том, что было давно — да есть и теперь.

О, Таормина, Таормина, белый и голубой город самой смешной из всех любвей — педерастии! Говорю, конечно,

о внешней форме. Всякому человеку одинаково хорошо и естественно любить всякого человека. Любовь между мужчинами *может быть* бесконечно прекрасна, божественна, как всякая другая. Меня *равно* влечет ко всем Божьим существам, — когда влечет. Я говорю о специализации и об акте, который имеет форму звериную и кончается очень быстрым и обычным удовлетворением, только извращенным *слегка*. И причем тут любовь? Так, занятие. Манерный, жеманный v. Gloeden\* с чуть располневшими бедрами, для которого женщины не существует — разве это не то же самое, только сортом ниже, — что какой-нибудь молодой, уже лысеющий от излишеств, офицер, для которого мужчины не существуют? Какая узость! Я почти понять этого не могу, для меня может ожить в сладострастии равно всякое разумное существо. Нет, извращение, специализация — примитивнее даже брака. Извращение смешно даже для зверей... И педерастия, как акт, должна быть ужасно смешна. Ведь тут то, что оскорбительно между мужчиной и женщиной, — неравенство, — тут оно все налицо, да еще созданное насильственно! Из двух равных, которые могли бы искать...

Впрочем, разве кто-нибудь чего-нибудь хочет? Педерасты очень довольны своей зачерствелой коркой и думают, что они ужасно утонченны и новы! Бедные! Жаль, что они здоровье портят, а то бы им дать женщину, авось бы увидели, что физически, это шаг вперед. Но к чему рассуждения! Да я и не осуждаю. Надо все пережить. Только надо помнить, что переживаешь, и перейти через это.

Таормина... Удушливый запах цветов, жгущий ночной воздух, странное небо с перевернутым месяцем, шелковое шелестенье невидимого моря...

В громадной пустой зале виллы Рейф\*\* (люблю такие комнаты, большие, пустые) — тонкая, высокая фигура Briquet с невероятно голубыми глазами и нежным лицом. Очень, очень красив. Года 24, не больше. Безукоризненно изящен, разве что-то, чуть-чуть, есть... другая бы сказала —

\* Franz von Gloeden — живописец и художественный фотограф.

\*\* M-me Marine Reif и Mr. Reif — знакомые Мережковских в Таормине. Mr. Reif окончил философский факультет Гейдельбергского Университета.

приторное, но для меня — нет, — женственное. Мне это нравится, и с внешней стороны я люблю иногда педерастов (Gloeden стар и комично-изломан). Мне нравится тут обман возможности; как бы намек на двуполость, он кажется и женщиной, и мужчиной. Это мне ужасно близко. То есть то, что *кажется*. Ведь в сущности, кончается это...

Так вот. Я почувствовала, что, пожалуй, могла бы очень приятно влюбиться в Briquet. Он совсем не глуп, очень тонок, очень образован (все это — французисто) — но очень многое понимает, с ним интересно говорить и — с ним я умна. (Есть люди, с которыми я превращаюсь в дуру, это ужасно тягостно, но никто не виноват. И не от сравнения с ним — дура, а скорее от него — дура.)

Ужасно все волновало, и дешевая красавица обстановки, и белые ирисы, и его удивление, несколько опасливое, но искреннее внимание ко мне. Даже не французистое, а детское какое-то, очень льстящее мне.

А душа, в самом деле, не без тонкости. (Удивительно, как, в большинстве случаев, тело по форме напоминает душу! Как женщины мясисты! И насколько они грубее мужчин! Говорю о большинстве, конечно. И не думаю о себе, искренно.)

После одного вечера я сошла к себе, на свою нижнюю террасу, черной-черной ночью — и стала рассуждать: стоит ли? Влюбиться могу ли сильно и хорошо? Ничего дурного не предвидится, ибо он, кажется, все-таки *специальный* педераст и пути ему все заказаны. Но, во-первых, эта *полная* безнадежность всякой возможности хотя бы скрытого огня в нем к моему огню, — что-то отнимет у своей влюбленности. Не знать — хорошо, но знать, что *нет* — уже нехорошо. Во-вторых — он через неделю уедет, а если уж я влюблюсь, то мне это мало. Наконец третье соображение, почти что единственно и важное: пожалуй все-таки не влюблюсь хорошо, потому что он, — внешне и внутренне — только близкая карикатура на существо, которое, если б жило, могло бы мне *до конца* нравиться. Да, не стоит. Не хочу любви, хотя бы около меня, не в нем — к нему.

Madame Reif — карикатура тоже, — на меня (не близкая). Вот ее описание, в словах, судите.

Довольно высокая блондинка, продолговатое лицо, худенькая — очень светлые, ничего не видящие, глаза, лорнет на ленте, изменчивое выражение, быстрота движений, говорит о красоте, о Боге (только ей было 25 лет, а мне 28 тогда).

Это — наши сходства. Наши различия: цвет волос у меня — красноватый, у нее зеленоватый. Она ширококостна и четырехугольна. Цвет лица — землистый. Глаза не близорукые, а со снятым в детстве... катарактом. Говорит восторженно, вся — порыв, экзальтация, истеричность. Это слепое обожание меня — одна истерика. Но все-таки искренна и жалка, переменчивость удивительная, почти чудесная.

Вот что хорошо, и художественно, и волнующе! Пусть эти две карикатуры... не любят друг друга, ибо если б он мог любить женщину — он любил бы меня, вероятно, — а пусть она любит его!

(Кто «обвинит меня сурово»? Тем более, что и почва была совсем подготовленная.)

И вот — я — confidentка, и потому ужасно ко всему близка. С ним я — как будто с ним, а к ней мы, будто, снисходим, — а с ней я — будто с ней и преклоняюсь, восхищаюсь красотой ее любви. Жестокая забава? Нет, кому она повредила? Правда, это все было потом серьезнее (она до сих пор, не видя его, живет им, эти истерические мечты о «ребенке от него», а он не соглашался, не согласился, эти ее просьбы уговорить его, а я его уговаривала с насмешечкой, незаметной — но это все было потом, *письменно*. И кончилось мирно).

А Madame Reif поумнела, сколько могла (до сих пор обожает меня) и глубоко мне благодарна за эту нераздробленную любовь. Все-таки жизнь, особенно для истерички.

А я ужасно волновалась, точно сама его любила, а «ухаживания» его за мною отстраняла взглядом, ничего не обещающим, — но очень красноречивым: «Malheureusement, cette pauvre femme... ne soyons pas cruels». — «Vous ne me comprenez pas?». И его взор, и ответ: «Si, je vous comprends...» Ну, и так далее. Очень тоже мило у педерастов, что у них не фатовство, а кокетство. Ужасно мне нравится, трогательно.

Цинизм у меня какой-то вышел в рассказе. И самолюбование. И пошлость. И суэта. Неловкие, неловкие слова! Но это кончилось, а теперь черед за другой историей... Очень, очень для меня во всех смыслах важной. И не конченной. Но и чернила иссякают (у Дмитрия Сергеевича взять?) и устала. А завтра уеду. Ну, вечером попозже допишу. (Эту тетрадь никуда не вожу с собой.)

### *Вечером*

И у Дмитрия Сергеевича какие-то гадкие, сухие. Все равно. Хочу кончить до отъезда.

Он, Briquet, так и уехал через неделю. Месяц чужой любовной атмосферы. Но я *сама* уже очень отдалилась и радовалась, что не пошла на эту «карикатурную» влюбленность.

Маленький домик на скале, где живет знакомая Reif, смехотворная какая-то баронесса, старость, полусумасшедшая художница, к которой я и chere Marthe отправились с визитом.

Яркий солнечный день. Крошечный балкон с широкими перилами из камня. Стол с чашками и глупости баронессы. Одна чашка лишняя. Вот и гостья. Маленькая старообразная англичаночка в парусиновом платье, в прямой соломенной шляпе\*. Она села на перила. Баронесса тотчас же затараторила: «Mademoiselle est russe... Mais elle ne parle pas russe... La mere adoptive...» и так далее. (Мы говорили, конечно, по-французски.) Мне девочка не нравилась, показалась незначительной. «Mademoiselle est musicienne...» и опять так далее.

Мы спустились в сад, на крутой скале, и сели на камин. У англичаночки были такие жалкие ножки в белых башмачках и лиловых чулочках. Баронесса скрипела:

— Qu'est-ce que c'est qu'un symbole?

— Mais je ne sais pas, Madame, — отвечала я холодно.

\* Elizabeth Baroness von Overbach — английский композитор немецкого происхождения; написала музыку к греческим трагедиям «Ипполит» и «Антигона» в переводе Д.С.Мережковского, поставленным на сцене Александровского театра в СПб в 1902—1903 г.г. Была другом Гиппиус. Декорации, парики, костюмы и аксессуары к «Ипполиту» и «Антигоне» были сделаны по рисункам художника Л.С.Бакст.

Марта заговорила с баронессой. У англичаночки была странная, красивая палка в руках, с перламутровыми инкрустациями.

— Покажите мне вашу палку, — сказала я.

И когда она мне ее протянула, у меня было непреодолимое чувство, без слов: а ведь я с этим существом все могу сделать, что захочу, оно — мое. Слова потом пришли, очень вдолге.

На другой день — вечер у Gloeden'a...

Там, на вечере Gloeden'a — музыка и опять то же бессловесное чувство. Вдвоем — только раз, на каменной лестнице. Девочка мне показалась не такой банальной, умнее Марты, во всяком случае.

Знакомство с mere adoptive. Громадная, зрелая, молодящаяся женщина.

Не понимаю, не видала таких.

Потом я заболела, они уехали. Письмо из Неаполя: «Chere Madame, serez-vous bientot a Rome?..» Я ответила, что не знаю, что очень рада была бы еще встретиться и путешествовать вместе немного. Телеграмма: «Could join you Rome, for Some week, mother goes England».

Удивило меня, но я обрадовалась.

И вот — Рим, весною, тихий отель против сада, темный балкон, особенные римские запахи. Мне было хорошо и весело...

Как я верю в любовь и в чистоту! Верю, как в Бога. Не принимаю флирта...

Мыслям — не изменю, никогда. Пусть я и все рушится, а они — Правда. Я пойду в них, пока не упаду.

Но теперь молчание! Молчание!

По-моему — никому. Они не готовы, жалкие, голенькие. Я жалею, что я... Теперь хочу еще бороться за возможность грядущей любви. Теперь пойду к ней и к мыслям в одиночестве.

Нежность моя безмерна. Сила страдания во мне — неограниченная, но ничего не боюсь. Только одного: если я не с силой буду бороться, а со слабостью. Ведь тогда — у меня нет желаний. И любовь, и сладострастие, теперешнее, — я принимаю и могу принимать только во имя

возможности — изменения их в другую, новую любовь, новое, безграничное сладострастие: огонь его в моей крови.

14 сентября 1900 г.

Сегодня я вернулась из-за границы, где прожила почти год.

И, конечно, первое движение — к моим бумагам, к этой тетради, которую столько времени не видала. Хотя особенной потребности в ней не чувствую в данный момент.

Перечитала последние страницы. (Все — не могу; засыпаю от скуки. Дневник не роман. Читать его — мучительная работа. В особенности — любовный, специальный. Но как документ — имеет значение.)

Ужасно я трагична в этих последних страницах. Самолюбование, психология, надрыв и — все еще ребячество. Нет, я стала спокойнее, свободно-покорнее и тверже. Еще прошлой осенью — какой надрыв — мой «подвиг»! Конечно, ошибка, но не каюсь, и она была нужна.

Raison d'etre этой тетради требует, чтобы рассказать — моя честность. Но так не могу. Пока это будет лишь бесцельное самоучительство. Да и трудно. Без мыслей, без моих страшных, говорить о «подвиге» нельзя, а им здесь не место...

Моя нежность, мое чувство ответственности, мое желание силы в другом — остались; но веры нет, а потому разлад души и некоторое недоумелое стояние. Что же, мыслям изменить? Отказаться от последних желаний тела и души во имя того, что есть и что не нравится? Этой жертвы просит моя человеческая жалость к себе, моя нежность, моя слабость. Но смею ли?

Я даже не знаю, все ли я сделала, что могла. Если не все, то — доколе, о Господи? Ведь могу перейти границу своих сил и сама упасть в яму. Опять Таормина, Рим, Флоренция. И как все различно! Иногда я так была слаба, так хотела не того, что есть, что заставляла себя не думать, не видеть. Мне стыдно было видеть, стыдно за свою неумирающую нежность — без веры...

Жестокость — не крепость, а полуслабость. Жестокоей легче быть, чем твердой и мудрой. Неужели я с... кончу

жестокостью — а не трудной и тихой мудростью — если *решу?*

...Но нельзя так писать, как я начала страницу. Ложь. Вовсе лучше не писать. Да и зачем пишу? Если для других — зачем? Все слова, «бывалые» слова. Да и чернила густые и мерзкие. А решить ничего нельзя. А действовать — нужно. А нельзя — не решив. Переломить душу надвое? так больно. Еще помрешь раньше времени от излома. Я не смею теперь умирать. Боль так боль, черт с ней. Мне кажется от боли, что я ни так, ни сяк не могу, вот что и сделаю. А теперь — успокоимся, если вы желаете писать, сударыня. Без нельзя. Есть веревка, последняя, истинная, — ну и держитесь за нее, и уж верьте, она вас не выдаст. И в себя верьте.

Поговорим отвлеченно, *ga calme*. Я ведь так отвлечена. Я «вся воздушна без предела», я — «душа» (или морской сухарь?). Не то возвышенно, не то невкусно.

А все-таки не знаю, нужна ли плоть для сладострастия. Для страсти, т.е. для возвращения в жизнь — да (дети). А сладострастие — одно идет до конца...

Весь смысл моего поцелуя — то, что он *не* ступень к той форме любви... Намек на возможность. Это — мысль, или чувство, для которого еще нет слов. Не то! Не то! Но знаю: можно углубить пропасть. Я не могу — пусть! Но будет. Можно. До небес. До Бога. До Христа.

Мне стало страшно. Как говорю? Здесь, в *contes d'amour*, в этой «яме»... Да в том-то и дело, что все изменилось и теперь место, где говорю о своем теле, о сладострастии, о поле, об огне влюбленности — для меня, для моего сознания, уже не проклято, не яма.

Принцип тетради, кажется, изменен. Не отрицаю своей мерзости, своего ничтожества — но не в том их вижу. Идеал Мадонны — для меня не полный идеал. Да, но тогда еще труднее писать. Я теряюсь, как человек, из-под которого выдернули стул. Только в одном, единственном, углу моей комнаты — светло. И это — мое, и это — последнее, не хочу, чтоб оттуда на всю комнату был свет. И будет.

Любить меня — нельзя...

Я ни к кому не прихожусь. Рассуждаю, а в сердце зверь, и ест мое сердце. Не люблю никого, когда у меня боль. Не

люблю — но всех жалею. Жалко и Философова, который в такой тесной тьме, жалко бедных людей, которые приходят, надеясь, — и ничего не получают, ни от себя, ни от нас. Их, впрочем, меньше жалко (меньше всех Гиппиуса)\* — чем Философова. Они как-то больше ждать могут: а ему бы сейчас надо. Да вот нет. Не могу ему помочь, он меня не любит и опасается.

Именно *опасение* у него (а не страх), мелкое, примитивное, житейское. Я для него, в сущности, декадентская дама, подозрительная интриганка, а опасается он меня не более, чем сороконожки. Да, может, это все и есть во мне, но жаль, что он лишь на это во мне реагирует. Жаль для него. А может я к нему несправедлива? Может, у меня раздражение? не хочу раздражительности, не знаю ничего наверное. Только досадно, что надо жалеть. Там он пропадет, ну конечно. Для меня все ясно. Надо сделать, что могу. У меня были такие мысли — да что я о Философове? Ни мысли, ни *эти* планы не для тетради «амура». Впрочем, ведь принцип ее изменен. Я еще не привыкла. И пока — ничего не надо. И сегодня — такое голое, такое слишком личное во мне страдание.

Переживем — в безмолвии.

7 февраля 1901 г.

Все еще не знаю, что могу, но, кажется, знаю, что должна бы. Хорошо ли, что пишу это? Не математика ли? Не рассудочность ли? Не сухость ли? Или — (совсем в другую сторону) — фанатизм? НЕ стоит заниматься мною. Какова есть. Так вот как надо... бы...

Я сделана для выдерживания огненных жал, а не слепого, тупого, упорного душения. Но так надо. А потом, когда приготовлю почву, — совсем не буду писать. Но очень надо приготовить. Очень знать. Это все, когда решу. Но ведь вот, чувствую, *надо* решить скорее. Потому что я должна *действовать*, а это меня держит, силы во мне нет... Малодушно, изменно, не нравится мне закрывание глаз, самоослабление для Главного. Это вопрос — быть ли Главному, и вопрос

\* Гиппиус, Владимир Васильевич (1876—1941) — кузен З.Н. Гиппиус; критик и литературовед, участник религиозных собраний на квартире Мережковских.

мой, потому что — быть «ему» или не быть — в моих руках, *это знаю*.

*Господи*, как хочется смириться, отдаться течению *волн*, не желать, а только верить, что другие больше тебя желают, не идти, — а только чтоб тебя несли! Сказать себе: ну что я могу? Это самообольщение, гордыня! пусть другие, они сильнее. А я слаба. Все равно ничего не будет, что бы я ни делала. При чем — я? Моя воля?

Да ведь это и правда. Люди меня не любят, не верят, боятся, — я не могу им помочь, а они — мне. Что же я напрасно ломаю себя, — или ломаюсь? Ведь это смешно...

Вздор. Грех. Стыд. Ложь. Лучше молчать, чем так говорить.

Это я в яму захотела.

Страшно мне, как всем, яма соблазнительна. Так мягко лежать... В браке все-таки сильнейший духом ведет за собою слабейшего, а там, где брачное извращение — дух обмирает у сильнейшего и над ним властвует слабый и пошлый. На это обмирание и безволие духа жутко смотреть, но нельзя не видеть. Тут какая-то тайна. Надо над этим подумать.

Я думаю, что никогда не *решу* чувством, да это и невозможно!

Но надо поступать так, как будто решил. Потому что, ведь, я шага не могу сделать, ни одного! В себя веры не будет, — ну и силы не будет.

А теперь довольно. Опять безмолвие. Время бежит, все равно недолго.

Все равно что-нибудь будет.

Поговорим о другом. Об общем.

Все-таки мне кажется порою, что даже и помимо... я ничего не могу, никому из людей не могу помочь. Ни они мне. У них в корне другие желания. На примере пола будет яснее. То есть, любви. Да и к тетради больше подходит. Принцип, вернее — взгляд мой на нее изменен, но узости ее не изменю, из рамок не выйду, да будет она специально, как была.

Но «слов» в ней не убоюсь.

Так вот: люди хотят Бога для оправдания существующе-

го, а я хочу Бога для искания еще несуществующего (вероятно). Людям совсем бы хорошо было с их страстью, в их формах, с их любовницами и любовниками; да только беспокойно — не грех ли? Они зовут Бога, чтобы Он пришел к ним, где они, и сказал: «Нет, не грех; а коли и грех — прощу, за то, что вспомнили Меня и позвали. Не беспокойтесь». А мне некуда звать Бога, я в путешествии. Нет подходящего мне дома, в котором хотела бы *вечно* жить; я сама хочу идти к Богу; там, впереди, ближе к Нему, есть, верю, лучшие дома, — их хочу. И оправдания мне ни для чего не нужно. И это абсурд — оправдание. Оправдания настоящему хочешь только когда намерен длить его, неизменно; значит — оправдания стоянию? Его не может быть. А оправдание прошлому — уже есть, если есть хотенье движения к измененности. Но это — как бы «прощение». Значит, оправдания вообще никакого нет, и слова этого нет. Гиппиус все толкует о «любви» к жизни. Детство. Не о чем толковать. Ну *конечно* мы любим жизнь. Даже стыдно об этом, как стыдно говорить, убеждать, что свою мать любишь. Не русский Гиппиус, не стыдливый. Любим, любим, ведь это же исходная точка, — но ведь это именно *ис-ходная точка!*

Как хорошо так писать, для себя, не заботясь о том, что слова совсем непонятны!

Д.С. тоже как бы в путешествии, и хочет идти, но ведь он ничего в себе не знает, и не смотрит, а уж в «специальном»-то своем смысле — совсем ничего не знает! Даже я о нем ничего не знаю. То так верю — то иначе. То есть, словам всем верю, а его существа иногда не угадываю. Закрыто оно — и для него. Не сила ли это? Не слабость ли — мои психологии? А уж Философов-то наверно хочет для «оправдания»! Вся его неудовлетворенность только из этой точки. Впрочем, всякий человек — тайна. Может и так быть: желание оправдания лежит сверху и закрывает другие желания. Если вспомнить это верхнее желание, или как бы исполнить (чтоб самому человеку почудилось, что оно исполнилось) — то оно и растает, и откроются другие желания — ежели они есть. (Все-таки, думаю, не у всех они есть). О Философове — то знаю, то не знаю, есть ли; но возможно, что есть, поэтому я так хотела бы зажечь свечку



около этого верхнего желания: пусть растет. Пусть ему будет «оправдание». А там посмотрим. Лицо Божье — и все-таки Лицо Божье, даже если мы Его и к себе зовем. Все-таки возможность спасения — для нас и для него. Да и люблю его.

Остальные мне дальше, непонятнее, *неприятнее*. Потому пойду прежде всего к Философову, если... да я все забыла! Если? Никуда не пойду, и сама упаду, нет решения — нет ни свободы у меня, ни силы. *Ora basta*.

6 марта 1901 г.

Главное — не выть. Не размазывать своих «страданий». Подумаешь! У всякого своя боль. Вот у меня кашель, например. И у других, наверно, кашель. Не хочу жаловаться на... кашель.

Здесь я все-таки перепускала и перепустила лишнего. В узкоспециальном, кажется, кое-чего недоговариваю (или нет?) и расподробилась о мыслях о Боге. Беда в том (или не беда), что все во мне, как и в мире, так связано и спутано, что поневоле переходишь несуществующие границы. И с... порвать — вовсе уж не *так* больно; не правда ли? Порвать с тем, кого люблю меньше, для Того, Кого люблю больше, — да ведь это только естественно! Коли нельзя соединить — никого из двух не стану обманывать, а выберу, и ведь по *своему* желанию! Ну так о чем же? Моя Нежность — скажите пожалуйста! ей ли помешать мне действовать согласно Главному желанию? И силы даже тут никакой не требуется...

13 марта 1901 г.

Хотела бы знать, что влечет меня к этой тетради — теперь? Ведь нет никакой *Conte d'amour*, никакой определенной влюбленности... О чем же писать? А хочется, именно здесь. Значит — есть во мне какая-то влюбленность, или что-нибудь похожее на это.

Похожее... да и такое другое! Это хорошо, что похожее, и хорошо, что «*другое*».

Несмотря на совершенно бесстыдную, личную боль моей старочеловеческой части души (говорю это спокойно)

— во мне есть много ясных сил, действенных, и много хорошей, старой влюбленности в «*другое*». Теперь много сил, но не хочу скрывать от себя, что есть для меня опасность. И почти неизбежная.

Мне отныне предстоит путь совершенного, как замкнутый круг, аскетизма. Я знаю соединенным прозрением моего тела и духа, что путь этот — неправда. Глубоко знание, что идешь неправедным путем — несомненно, тихо, но верно — обессилит меня. Не дойду до конца, не дам свою меру. Это уже теперь, когда думаю о будущем, давит меня. А теперь еще так много живой силы во мне. Я уйду в дух — непременно — и дух разлетится, как легкий пар. О, я не за себя страдаю! Мне себя не жаль. Мне жаль то, чему я плохо послужу.

Выбрала бы и другой путь — да нет другого. Даже и говорить не стоит, и так видно, что нет.

Иногда мне кажется, что есть, должны быть люди, похожие на меня, неудовлетворенные формами страсти, ни формами жизни, желающие идти, хотящие Бога не только в том, что есть, но в том, что будет. Так я думаю. А потом я смеюсь. Ну, есть. Да мне-то не легче. Ведь я его, такого человека, не встречу. А если встречу? Разве чтоб «в гроб сходя благословить». (Ведь через несколько лет я буду старухой обозленной прошлым, слабой старухой). И буду *знать*, что неверно жила. Да наконец, если теперь, сейчас встречу — разве поверю? И полюблю, так до конца буду молчать. Впрочем, нет. Ведь это может быть, это чудо, только в Третьем, а что Он мне скажет — я не знаю. Его голоса я еще не слышала. И что я рассуждаю, опасаясь, жалуюсь? Будет так, как надо. Не моя воля. Не по моей воле течет во мне такая странная, такая живая кровь. Для чего-нибудь, Кому-нибудь, она нужна. И пусть же Он делает с нею, что хочет. И с силами, которые дал мне. Я только буду правдива. Аскетизм (*вырезана страница*) сильнее, чем они о себе думают. Грех только один — самоумаление. Вижу, как гибнут от него те, кто могли бы не только себя спасти, но и других. И вянут, вянут бледные цветы... Как им сказать, как им помочь? Ведь и я не сильна, пока одна.

1 апреля 1901 г.

ХРИСТОС — ВОСКРЕС?

3 апреля

Как хочется писать что-то — именно здесь — и вот именно здесь — ничего не могу. Потому что все во мне перевернулось?..

11 апреля 1901 г.

Оттуда — все еще письма. Но ничего.

Что «это»? Радость или уныние? Падение или полет? Отчаяние или надежда? И что мне теперь делать?

Только тише. Тверже. Покойнее.

Очень у меня много силы. А могу и вся даром сгореть, и разлечусь, как жженая бумага.

Моя; — и не моя воля.

16 февраля 1904 г.

Три года тетрадь эта лежала в запечатанном конверте. Сегодня я разорвала конверт, но тетради не перечитаю, нарочно, до тех пор, пока не сделаю того, для чего разорвала конверт — не впишу нужного. Боюсь бессознательно «подхватить» тон, а, помнится, в конце он был неправильный. Во всяком случае я опять хочу быть точной, фактичной, — и узкой, как последнее ни трудно. У меня нити жизни слишком связались и спутались... нет, именно связались, — и потому, желая быть узкой, я буду неясной... Ничего, надо примириться, тетради осталось немного. И я буду говорить о прошлом. Кратко и узко.

Я думала, что «узких» фактов мне уже не придется пережить, и потому думала, что и тетрадь никогда не распечатаю, эту... Не «узкое» должно быть не в этой. И я ошиблась. Мое дело — факты. А кроме новой узости — ведь оставались еще «концы», принадлежащие сюда... Я пойду далее в строго хронологическом порядке. Значит, весной-здесь ничего, кроме моей боли. И летом ничего. Я очень много пережила, о чем говорить не буду, но что мою боль для меня оправдывало.

Зима. В самом начале 1902 года в моей жизни (во всей) случилось нечто, — внутреннее, хотя фактическое и извне пришедшее, — что меня в одно и то же время и опустило, — и подтянуло, — но и выбросило куда-то к людям, в толпу (вот как трудно говорить, когда надо быть узкой!). А еще раньше этого я очутилась среди людей новой среды, к которым присматривалась все время с моей новой точки зрения (до чего далекой от «любвей»! И очень близкой к... любви: ну просто нет, я вижу, слов). Короче, реальнее, уже. — К нам в дом стали приходить священники, лавриты, профессора Духовной Академии, и между ними два, молодые, чаще других.

Из всех заметнее был Карташов\*, умный, странноватый, говорливый на Собраниях\*\*: сразу, как будто, из того лагеря перешедший в наш, в наши мысли. «Мысли»! Вот чего я не хочу здесь, а не обежишь, потому что если у меня было в это время что-нибудь в душе — то лишь они одни. И не выдернешь из последующего. Но буду их часть показывать, прилегающую к «узости».

Д.С. читал у нас в средней комнате свою статью о Гоголе и когда говорил о мертвом, узком, остром лице Гоголя — я вдруг увидела Карташова. Совсем такое же, похожее, лицо. Он сидел низко, на пуфе. Какое странное, некрасивое лицо, — не даже не лицо — лик. Вскоре после того Секретарь Собраний сказал мне: «Я сегодня просил Карташова заехать за вами (деньги нужно было собирать), но он отказался, говорит — еще ни с одной женщиной на улице никогда не был. — Заеду я за вами». Смеется. У меня мелькнула мысль: а ведь эти странные, некультурные и как будто жаждущие культуры люди — ведь они девственники! Они

\* Карташев, Антон Владимирович (1875—1960) — профессор в СПб Духовной Академии; президент Религиозно-Философского О-ва (1909 г.); последний Прокуратор Святейшего Синода и первый Министр Вероисповедания при Временном Правительстве; участник религиозных собраний на квартире Мережковских в СПб.

\*\* Религиозно-Философские Собрания (1901—1903) в С.-Петербурге были основаны по инициативе Мережковских. Эти Собрания предоставили возможность представителям русской интеллигенции обсуждать открыто тревожащие их проблемы с русским духовенством. Кроме того, Собрания создали более глубокую связь между искусством и религией того периода.

сохранили старое святое, не выбросили его на улицу, не променяли на несвятое — быть может, ожидая нового святого? Быть может среди них есть... Ну и т.д. Вечером присмотрелась к нему и ближе коснулась — вообще — «мыслей». Что-то есть... Чего-то нет... Или не знаю? Осторожность... Но тут наступил Январь, и моя выброшенность во мне, жажда *сейчас* всех людей *во всем*. Другой профессор, Успенский\*, моложе и весь не то теленок, не то ребенок — и «кутейник» с виду; но они у меня оба почему-то неотделимо бывали, чем-то (новостью среды?) слитые, но я на Успенского почти не обращала внимания, так, «второй», Карташов бывал и отдельно, и я неудержимо говорила свое, торопясь дать ему что-то *внешнее* ему недостающее (как мне казалось), чтобы он мог понимать мою, «декадентски»-отливающуюся, речь. Он — дикарь, скорее дать готовым весь наш путь, — искусство, литературу, форму жизни, мелочи жизни... Скорее, чтобы отсутствие не мешало нам сговориться о важном, — о нем, я думала, он там же, перед тем же (в его существо), перед чем я. Был в нем налет истерики — чуть-чуть. Он говорил, что был убежденным аскетом, до небоненавистничества, а теперь у него многое меняется. Я ему скорее хотела передать то мое осязанье «красоты», которое часть меня и моего, и всего, но ведь это — не окружающее меня реально-безобразное, ведь не старые, пыльные ковры, не рыночная, бедная мебель без ножек, даже не стихи Бальмонта, которые я ему (им) читала — но все-таки они *и во всем*, мгновеньями; в том, чтобы видеть собор утренней ночью, в одной из двух лилий на моем столе, в случайно купленной, или подаренной Сологубом\*\*, банке духов, в старом рисунке между бумагами, порою, может быть, в одной единственной, на мгновение упавшей, складке моего платья. Но, увы! А его (их) прельстили равно: и дырявые ковры, — и стихи из

\* Успенский, Василий — преподаватель в СПб Духовной Академии. Писал в журн. «Новый Путь»; участник религиозных собраний на квартире Мережковских.

\*\* Сологуб (Тетерников), Федор Кузьмич (1863—1927) — писатель-символист, автор знаменитого романа «Мелкий бес» (1907), принимал участие в религиозных беседах Мережковских; большой друг Гиппиус.

красной книжки, и чайный ликер — и мои мысли, вся моя внешняя «дешевизна», которой так много — и мое заветное, что я люблю в мире. Но это все было *новое*, и казалось одинаково «прекрасным», без различия, уродство и красота. В одну кучу. И даже (теперь вижу) ковер закрывал цветок, и одни дырявые ковры и были, потому что они виднее. Меня они видели «прекрасной», но если бы я сама увидела свое отражение в их душах... Впрочем, это так понятно. Началась близость с того, что я у Розанова\* спросила Карташова писал ли он когда-нибудь стихи, и он на другой день прислал мне, ужасающие, стихи десятилетнего лавочника, которые я послала назад, обстоятельно разбранив. (Вскоре он стал писать прилично, но со страшными срывами в безграмотность и уродство!). Я думала, конечно, что «а вдруг он в меня влюбится?» И отвечала себе, что это и хорошо для него, пожалуй, влюбленность откроет для него сразу все, до чего без нее годами не дойти ему. Это, в связи с его «девственностью» (он мне сказал о ней как-то у камина, после обеда) и с девственностью, теперь, по его словам, не аскетической, а примиряющей плоть и красу мира, — это все заставляло меня, конечно, «кокетничать» с ним, давало какую-то возбужденную радость и стремительность, жажду убедиться, что возможно мое *и во мне*. Что оно есть вообще. Это было главным образом, но так как душа сложнее, — то, конечно, и тени другого всего были, и тщеславия доля, самого примитивного, старинного, и всего... но это уж из добродетельности прибавляю. Еще меня трогала и влекла его нежная любовь ко Христу. Я не хотела знать (не сумела бы тогда увидеть), что это что-то — старая, неподвижная точка, осколок старой чаши, разбитой жизнью и «рацио», старая любовь к старому. Привычное. И привычное соединялось *никак* с непривычным, т.е. со мною, с моим.

Мы виделись и говорили. Когда бывали оба — я говорила больше с Успенским, но не видя его, или полувидя, а для Карташова. Я баловала их, я пыталась показать им *насто-*

\*Розанов, Василий Васильевич (1856—1919) — знаменитый критик, публицист, философ, принимал участие в религиозных беседах Мережковских на квартире Мережковских.

ящее красивое и заботливо создавала для них массу *подлинных* внешних мелочей, от густых деревьев ромашки в моей комнате до стихов Пушкина и Лермонтова (уже не Бальмонта), которые я им сама с любовью читала поздними вечерами. Я хотела и мечтала создать Карташову такой новый мир, который был бы для его растущей души дождем, и она, не смятая, расцвела бы для... *всего* будущего, моего.

Не увлекаюсь ли я? Как разрисовала — себя! Э, все равно. К делу. Что *он* «влюблен» — это как-то сказалось, или узналось, само собою. В письмах, должно быть. О «взаимностях» не было речи. Вообще все было как-то иначе, нежели прежде, ни на что не похоже. И это была моя радость. И все я приписывала чистоте. И о любви думала — наконец! Вижу глазами. Вот чего не хватало другим! Вот где моя мысль об «огненной чистоте»! Значит, «есть на свете», значит, мое мечтанье не *только* мое, *одной* меня! Вперед, вперед в этом!

Письма у него были очень хорошие, со срывами — но лишь противу-эстетическими, внешне. Я это прощала, ввиду его эстетической молодости. Подхожу к очень важному факту, к очень высокой точке в этой двойной истории.

Весна кончалась. Я рвалась в Заклинье, на старинную, красивую дачу, которую увидев полюбила за ее грустную прелесть. (Дачи вообще так оскорбительны! Эта — нет). И устала я «существовать». История, которую рассказываю, занимала едва ли одну пятую моей внутренне жизни тогда, несмотря на ее связанность со всем (для моего сознания).

Д.С. пригласил профессоров к нам на дачу. Они уезжали, перед каникулами, в Крым, но с радостью обещали приехать на три дня перед Крымом. И пятого июня приехали, а восьмого утром уехали.

До них в Заклинье жила с неделю. Какие бледные, весенние дни, какие яркие, душистые, волнующе-грустные ночи! Я их проводила у окон моей круглой «светлицы», над самым озером. В камышах скрипит коростель, у старых мостков, где черные деревья, что-то шуршит, шевелится, и точно вдруг засмеется тонко, тихо. Запахи земные и водяные отовсюду. И между ними всех ярче — сирень, целый лиловый лес вокруг дома, с трех сторон. Мне из окна видны

сплошные цветы, лиловые и белые. В запахах, в тенях, в ночной воде, в моей печали, в моем волнении, в том, чего я *хотела*, — вот подлинное, вот не оскорбительное, вот *откуда* надо... Впрочем, довольно. Все так ясно.

Они приехали. Успенского я опять не заметила, да он и вел себя, как отпущенный гимназист, бегал по лесу, резал палки и пел романсы и песни. А в К. было что-то робкое, значительное и таинственное. Он был почти красив, у кустов сирени. Или вечером — ночью, над водой, там, на старых мостках. И тонкий, немного надтреснутый тенор мне нравился, когда вдруг обвивал грубоватый, сильный и немзыкальный голос Успенского.

**Все, что страдает,  
Ночь, ты успокой...**

Но не тогда, а в вечер на восьмое (утром рано они уезжали) — хорошо пели. И *не* песни. Была бледная, ясная ночь. Мы сидели на крыльце в сад. Они на ступенях (и другой был тут), я наверху, на кресле, перед ступенями, закрытая длинным белым вуалем (мы все носили, от комаров). Везде сирень, у всех сирень, в руках, на коленях, в волосах. Между озером и нами догорал костер. Над озером взошла розовая-розовая луна. Они пели «да исправится молитва моя». И так хорошо спели (т.е. так хорошо это было), что после «исправится» никто уже не хотел ничего. Хотелось тишины.

Наверху широкой внутренней лестницы, направо от моей двери—дверь в коридор, который мы называли «монастырским». Там было три «кельи», именно кельи, сводчатые, белые, с глубокими острыми окнами. В дальнюю и поместила Успенского, в ближнюю Карташова. Вечерами я их туда провожала.

И в этот вечер пошла. Втроем мы прошли к Успенскому, там я с ним простилась. Потом зашла в келью Карташова. Он сел на стул, я на широкий подоконник.

Занавеси не было, и в белой келье было чуть-чуть лишь сумерки.

— Как хорошо, — сказала я, обертываясь к белому, свежему небу. — Вы завтра уезжаете... Я думаю о том, что подарю вам на память.

— Мне не надо ничего, — проговорил он, не понимая. — Зачем дарить? Разве вы думаете, что я забуду...

Странно, что я так... робка во всех движениях. Точно внешние пути на мне всегда. Мне стоит величайших усилий воли то, что я считаю нужным, праведным и чего сама хочу. Это даже не робость. Это — какая-то тяжесть, узы тела на теле; какое-то мировое, вековое, унаследованное отстранение себя от тела, оцепенелость тела, несвобода движений. Во всем, часто, с другими — внутри возникает непосредственное движение, естественное — и внутри же замирает, не проявившись. Это, я думаю, у многих. Это, я думаю, от векового проклятия всей «грешной плоти» во всем. Волны от столпничества.

Отвлеклась. Продолжаю.

— Ничего не надо? — сказала я, встав с подоконника. — Вы не знаете, что я хочу вам дать. И это хорошо, что хочу, и это надо.

Взяв его за голову, я поцеловала дрожащие, детские — и может быть недетские — губы. Он испугался, вскочил, потом упал вниз и обнял мои колени. И сказал вдруг три Слова, поразившие меня, которых я не ждала и которые были удивительны в тот момент по красоте, по неуловимой согласности с чем-то желанным и незабываемым. Он сказал:

— Помолитесь за меня...

И повторял:

— Помолитесь, помолитесь... Я боюсь. Я вас люблю. Я боюсь, когда счастье такое большое.

Я наклонилась, и еще раз поцеловала его, и потом еще.

А потом я ушла, после каких-то недолгих речей, которых я не помню, но в них не было теней.

Не помню ясно и что я думала. Моя громадная комната была полна серым, жемчужным светом ночи. В душе — туманность и правота! Правота! Вот это помню. Устала. Кончу.

17 февраля

И правота моя, конечно, была не правотой. Я опять забыла: цветок не может расти в безвоздушном простран-

стве. Этому цветку необходим его воздух. И в воздухе — уже цветок. А я думала его взрастить *сначала*. И уж потом, как бы *через...* Вечная ошибка! — Но несколько мгновений цветок может жить без воздуха. Несколько мгновений он и жил... подлинный... почти.

Я написала «почти» как-то невольно: думая — понимаю, почему «почти». Да потому что тут еще одного условия не было: равенства. У меня было сверху вниз, а у него снизу вверх. (Не странно ли, что и реально оно так было, фактически). Он был влюблен — а я нет. Я волновалась, я была растрогана, он даже нравился мне, — но я совести не могу сказать, что была влюблена (как я умею). Спешу оговориться: я думаю, что в настоящей «влюбленности» (не внеатмосферной) есть еще тот плюс, что она вполне возможна *невзаимной*, просто только тот, кто *не* любит — ничего не получает, беднее; кто любит — получает много. Конечно лучше, чтобы оба получали много, это ясно; и еще лучше, чтобы два «много» сливались, образуя одну «громадность» (при взаимности); я говорю только, что возможна и прекрасна и невзаимность. Ревность в *пространстве атмосферы* вряд ли мыслима; грусть о «громадном», тихая печаль — да; но ведь все-таки остается «много». Вот ревность заатмосферная — но она уже вырастает во всеобъемлющую, она...

Куда я? Спустимся на землю. Так вот тогда мне было как-то обидно, что даже если у него «много» (хоть на мгновенье) — то ведь я — бедна. Я — *для себя* тут ничего не получаю, кроме радости за него. Прикосновение его дрожащих губ было мне радостью и волнующе — но не для него, за него! Это была не только духовная радость, и тело в ней участвовало, — но не кровь. (Не умею сказать! Досада какая! Забуду сама потом!)

Он уехал. Я долго не получала писем, потому что сама тотчас уехала на Волгу. (Нет, впрочем одно письмо из вагона я получила в Петербурге. Очень хорошее, все так подтверждающее, все, как я думала.) Вернувшись в Заклинье — я нашла еще два-три, восторженных — и с курьезной постепенностью спадающих с тона. Налет мертвенности. Он сделался совсем явным в письмах из дома,

а сам он писал, что дома впадает в какое-то небытие. Скоро совсем почти перестал писать, — но зато Успенский засыпал меня письмами, очень почтительно и детски-нежными (о любви не было)...

Однако, я заметила, хотя и сказала: «разрываю конверт» — обошла, почему тетрадь лежала в конверте. Обходить тут не имеет смысла. Забыла просто сказать. Дело в том, что тогда весною, вскоре после последних записей, *мне понадобилось*, было для меня нужно (почему — на этой странице нельзя объяснить) дать прочесть эту нечитанную, нераскрываемую тетрадь Философову. Я с этим *всегда* была одна и уже не могла доверять себе, где правда. Сначала моя тетрадь была моим проклятьем, потом, незаметно, мой взгляд на нее изменился, иные мысли... Многое связалось, выплыло, выявилось. Я должна была и эту «меня» как-то принять — я боялась. Мне нужно было подтверждение моих мыслей от другого, самого близкого к моему «я». И когда такое «я» около меня родилось (или я думала) — то я не могла к нему не пойти (объясняю Главную *часть* «необходимости» этого поступка). Когда же я увидела, *как* посмотрел на мою тетрадь Философов — я внезапно и смертельно испугалась себя и тетради, и прокляла ее более, чем проклинала в юности. Значит, я ничего не понимала на последних страницах! Если он отвратился от нее и ужаснулся (или что? говорю теперь) — то значит и я так же отвратилась бы, если бы она была не моя! Ведь если *ложь* то, что я думала, последние мысли тут, если они только выдуманы бессознательно для самооправдания и самолюбования, — если *ложь* — то и кощунство, и ужас темный, то я его в себе перешла. Я ничего даже не думала, никак ничего не решала по-иному, просто мне было страшно до физической боли, страшно за себя. Ей-богу, даже не думала — «так в чем же тут — правда?», а просто холодела от ужаса и отворачивалась от всего. До тетради дотронуться боялась и не сожгла ее только от смирения. Пусть была — есть. Но если б забыть!

Потом, мало-помалу пришли те же мысли, о том же. Тетрадь мерзка, потому что я несовершенна, а мысли — сами по себе. Они как бы не от меня, не мне их судить и

осуждать. Я — ничего не знаю. Мое дело только выявить, что во мне *есть*. К этому есть внутреннее стремление, выявить «ни для кого», но выявить.

Значит — правда, и сделаю. Тем более, что нужны же здесь «концы» старого.

Дам ли еще эту тетрадь Философову? Не было ли у меня затаенной мысли *непрерывно* дать, чтобы опять искать, что ли, подтверждений и самооправдываться, что ли, «концами»? Подумай, будем искренни. Нет. Чувствую, что так бы не писала, если б бессознательно это думала, а иначе. Этого не было, но дам ли (теперь об этом думаю) — вот — не знаю. Это будет зависеть от того, станем ли мы с ним дальше говорить о К. и У. или «условия света» и его «корректность» помешают этому. (Мы как-то говорили, и я кое-что сказала ему.) Если будем — дам, мне физически стыдно об этом говорить ему не все, а сплетнически, и точно «хвастаясь победами». А нет — не дам. У меня все-таки болезненное место осталось от того раза, и хотя насколько я теперь тверже и крепче, но рисковать ровно ничем не хочу. И без «участия» его могу обойтись совершенно легко. Мы в субботу с ним — впрочем, я отвлекаюсь. Это не к делу. Все нужное сказано. Где я остановилась?

Осень мы еще на даче (конец Августа). К. и У. вернулись в СПб, мы пригласили их к нам на 29, 30 и 31. Круглая белая зала так располагала к «празднику». И я решила сделать «раут». Я написала шутивную мистерию с прологом «Белый черт», которую мы все должны были разыгрывать. Шутивная, домашняя, — но мысль была *моя*, за нее держусь (напишу поэму). Мы приехали в СПб (я и Д.С.) на несколько дней. (Ужасное перо!) К-Ву я написала, чтобы он пришел вечером сговориться точно. Пришел и Тернавцев\*. К. Был робок, странен, мертвен. Не поняла его. Мертвен — явно; и влюблен — тоже явно. Накануне отъезда мы встретились на Литейной с Д.С., и я, узнав, что он идет в *Мир Искусства* — пошла с ним. (Вот забавный случай в скобках!) В *Мире Искусства* — никого, кроме живущего там

\* Тернавцев, Валентин А. — секретарь Святейшего Синода в начале двадцатого века; сторонник религиозных взглядов Мережковских, большой их друг, принимал участие в их религиозном кружке.

Бакста\*, принадлежности туалета которого были раскиданы по запыленным комнатам. Неприфранченный Бакст был очень сконфужен нашим визитом. Однако, дал нам чаю (была ли нянюшка?), потом мы вместе говорили по телефону с Пирожковым\*\*, к которому Д.С. и поехал, а я осталась, было едва 6 часов. Так, от лени сдвинуться со стула.

Менее всего ожидала, что неодетый Бакст вдруг станет говорить мне о своей «неистребимой нежности» и любви! Как странно! Теперь, опять...

— Разве вы не видели, что сейчас со мной было у телефона? (ничего я не видела!) и т.д.

«Нежность» перешла в бурность, оставаясь «нежностью». Вижу, надо уходить. Опять объяснения, оборот в прошлое... Не надо! Мне все равно, — но не надо этого оборота.

Пытаюсь уходить. Длинное круговое путешествие из столовой в переднюю. «Вы не забудете?» «Нет, обещаю вам, что забуду, и это хорошо. Право, ничего и не было».

Вечером он был у нас, грустный и нежный, как больной кот. Интересно последующее (весьма короткое): письма в Заклинье, на которые я отвечала; очень «пластические» письма, ничего в своем роде; кончающиеся: «Ходить к вам не по улице, а по земле (и т.д.), — но — я вас люблю, а вы меня не любите!» Интересно это тем, что я искренно желая все сделать, чтоб не дать ему ни малейшей боли, настолько с ним нечутка и вне его, что, думая написать «нежное» письмо — написала до того оскорбившее его, одно (первое), что он мне его возвратил!

Идя тогда домой из редакции, я думала: вот человек, с которым я обречена на вечные gaffes, потому что если у него и было что-нибудь ко мне — то... он только лежал у моих «ног». Выше моих ног его нежность не поднималась. Голова моя ему была не нужна, сердце — непонятно, а ноги казались достойными восхищения. C'est tout.

Зачем, в сущности, я это написала? Не имеет смысла

\* Бакст, Лев Самойлович (1866—1924) — художник, сотрудник журн. «Мир искусства», ближайший помощник С. П. Дягилева по балетным декорациям, участник религиозных беседований на квартире Мережковских.

\*\* Книгоиздательство М.В. Пирожкова в С.-Петербурге.

так... Но когда-нибудь... Или никогда? Что это, слабость? Или нет? — Не теперь. Надо о Карташове.

Ну вот, они приехали. Дождливые, темные дни. Зала в гроздьях рябины. Желтые восковые свечи. Мистерия. Огни над черным озером. (А какие были рыжие грозды!) Потом тихое, долгое сиденье за столом, только я и самые близкие (самые, не могу иных слов и иметь), даже Ася\* ушла спать. Свечи опять все зажгли и тихо говорили все. И на прощанье вдруг все поцеловались. Это было хорошо.

Днем мы с Карташовым гуляли и как-то объяснялись, но ничего не выходило, и что-то было в нем странное. Ничего не понимала.

Вскоре мы остались в громадном доме одни. Письма Карташова все странные — и опять влюбленные. Написала ему, чтобы приехал на один вечер в субботу.

Неожиданно в этот же вечер приехал Блок. Ничего. Я после чаю, когда Д. С. ушел спать (и Блок), увела Карташова наверх в круглую, к себе, и мы долго разговаривали, шепотом, чтобы не разбудить Д.С. Не помню точно разговора, но мне в К. чудилось что-то темное, а он не говорил — что, и я старалась сказать себе, что ничего нет. Но почти волнения уже не было, а какая-то «обязанность» перед собою и перед ним. Ведь мысли у меня были другие! Прощаясь, на темном пороге, я его поцеловала... Но Боже, как странно! Холодные, еще более дрожащие — и вдруг жадные губы, бессильно жадные... Мне было не противно, а страшно. Что, когда, случилось? Знает ли он сам, когда и что с ним случилось? Что же было? И было ли?

Я боялась сказать себе словами: так целовал бы страстно-жадный и бессильный мертвец. Тогда не сказала. Удержалась.

Осень. Несколько мучительных писем. Да чего же ему надо? Ошеломлена признанием, что он давно мучается злобной ревностью к — Успенскому! Что это? Глупость? Наивность? А Успенский что? В самом деле влюблен? И так опасен? Надо присмотреться к Успенскому. Держала я себя с ними всегда — внешне — особенно ровно, даже

\* Гиппиус (Гиз), Анна Николаевна (1872—1943?) — сестра З.Н. Гиппиус, писательница, переводчица, врач по образованию.

щеголяла этим. А потом эта ревность сделалась моей целью, каким-то самоограждающим от себя, моим для меня как бы оправданием. Не двое только пусть вас будет, а трое. И двое — и трое... Сюда центр тяжести, одно осталось.

Я не могу проводить вечера в разуверениях К-ва, что не люблю Успенского. И, пожалуй, он хочет, чтобы я его продолжала целовать? да разве это «занятие»? Или «доказательство»? да это и не-воз-мож-но более! (О, поцелуй! Я напишу о нем когда-нибудь). Так длилось...

В одно утро, Д.С. гулял, я была в ванне, — звонок. Дашин\* взволнованный голос...

Я одеваюсь. Сердце мое бьется сильно и ровно. Знаю, что ничего не могу иначе, кроме того, что сделаю... Никто не помешает мне и не сорвет в сторону, потому что в грехе для меня давно нет никакого соблазна, в теле нет желаний, противостоящих душе, а в сердце нет жалости... Нету? Совсем? Вот последний соблазн, в который я, пожалуй, еще могу впасть. Или не могу? Не знаю. Тут осторожнее, — но очень, все-таки, не боюсь...

Ни от чего не отказываюсь, ничего не предрешаю, не угадываю. И так, как будто все (мое *самое* главное все) не только сбыточно, но *есть*. Только так. Да иначе и не могу.

Но устала ужасно. Кончу «концы», все три, завтра. И о том, что было вчера, *надо* сказать. Неуловимо нехорошо. Страшно. Или ничего не было? И об Успенском доскажу, о последнем лете. Все.

{На этом обрывается дневник.}

Публикацию подготовил  
Григорий Поляк

\* Даша — няня З.Н. Гиппиус.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

## ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного, и вечно униженного из-за неустройства жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который окрашивает в темные краски всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу «проклятых вопросов» жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

В книге 320 страниц. Цена - \$16. Заказы и чеки высылать по адресу:

„Time and We“  
409 Highwood Avenue  
Leonia, New Jersey 07605, USA



ВЕРНИСАЖ  
«ВРЕМЯ И МЫ»



## ХОЧУ, ЧТОБЫ МОИ СКУЛЬПТУРЫ ВРАСТАЛИ В ПРОСТРАНСТВО

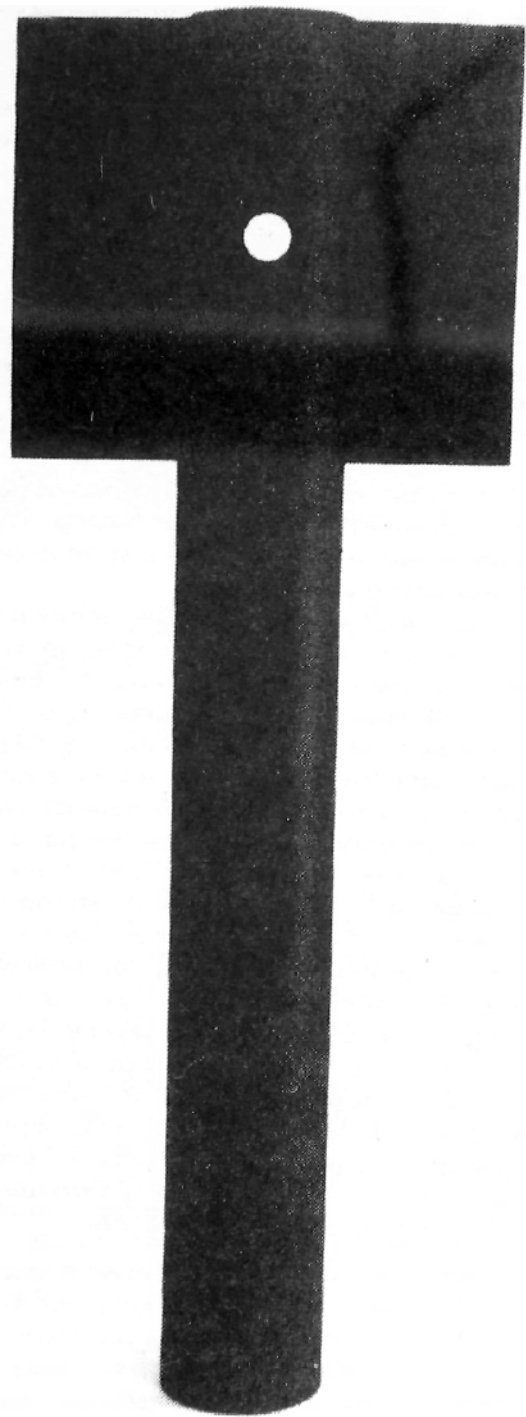
Льва Збарского знаю с начала 73 года. Иногда мне кажется, что я его не знаю совсем. В 1955 году он окончил художественное отделение Московского полиграфического института и довольно скоро стал известным графиком. С его именем было связано появление на свет сотен книг и альбомов, он много работал в театре и кино, и к тому же был одним из самых популярных людей в Москве, денди, парадоксалист, любимец друзей, рядом с ним всегда было весело и занятно. Все это продолжалось до начала 73 года, когда Збарский эмигрировал в Израиль. Зачем он это сделал, если имел в жизни все? Ах, задайте мне вопрос полегче! Зачем тогда уезжали все? Не хотели жить в брежневской России? Искали свободы? Помню, как выйдя в один из тех дней из Бейт Бродецкого, самого престижного в те времена дома репатриантов, он воскликнул: «Как все-таки хорошо! Солнышко греет, тепло! Свобода!»

Я не знаю, почему Збарский решил эмигрировать, но было ясно, что отъездом он перечеркнул свое прошлое. Чем занимался он в эмиграции, этот художник, которого знала

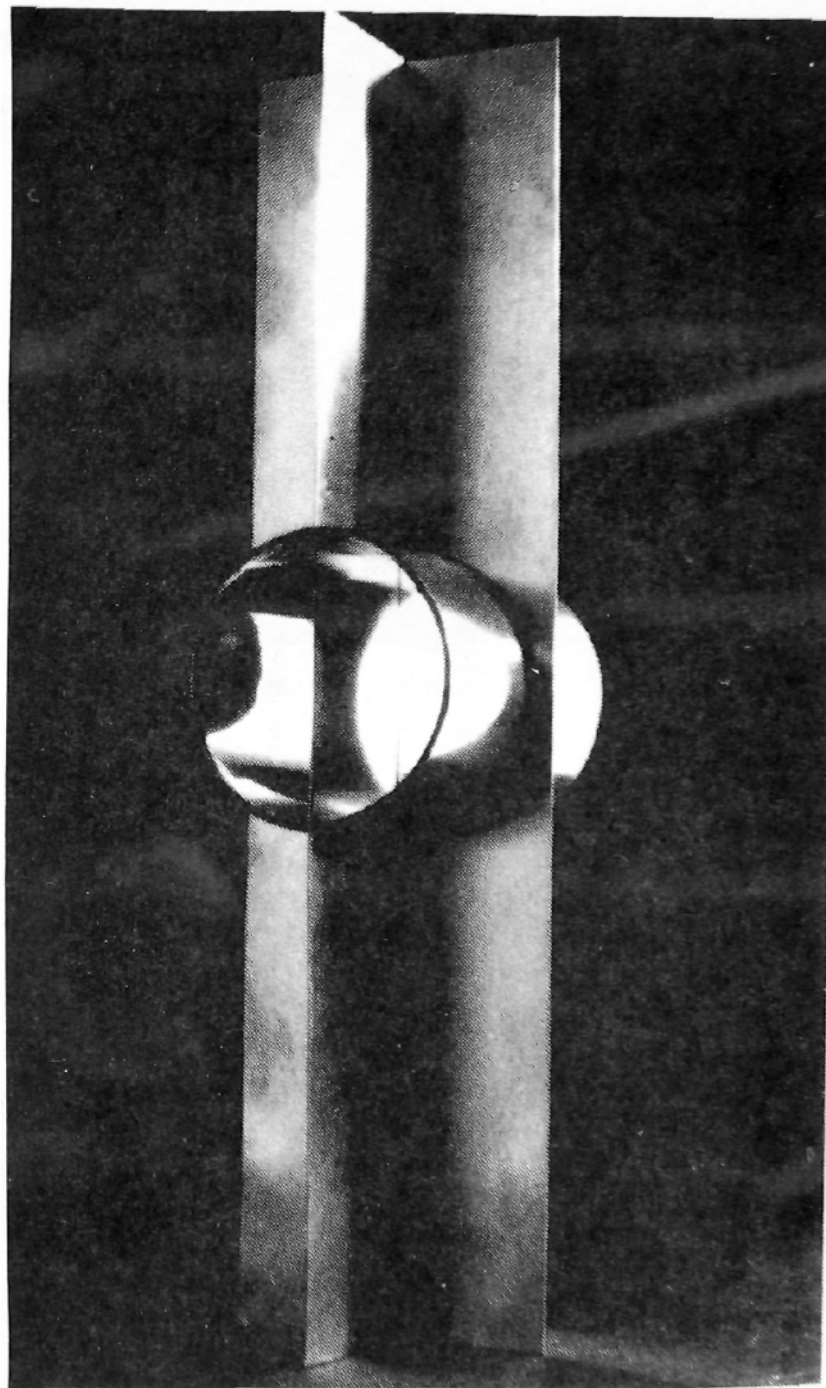
вся Москва, этот блестящий рисовальщик, кажется, самым богом наделенный чувством пропорций? Сказать, что он вечно искал, в поте лица работал — значит просто испoshить тему. Збарский никогда ничего не делал в поте лица, а делал легко, талантливо, подтрунивая над собой и окружающими. За его спиной мы не найдем каких-то сногсшибательных выставок, зато найдем великолепные циклы работ, о которых сам он не любил распространяться. Зайдешь вечером к нему в студию: «Збарский, что это такое? Я никогда этого у тебя не видел?» «Ты многое не видел, смотри, на то и глаза даны!» «Да, это же Ленинград, Мойка, только не узнаю, что за мост?» «Не узнаешь и не надо»... Это был его Ленинград, Ленинград Збарского. обретший в его работах способность создавать особое, неповторимое настроение. А позже, когда он переехал в США, появился другой цикл «Нью-Йорк, который, может быть, правильнее было бы назвать «Манхеттен», или например, «Дома Манхеттена» — и поразительные по точности пропорций, и опять же особое нью-йоркское настроение.

Мне неизвестно, когда именно Лев Збарский начал заниматься скульптурой. Сам он на этот вопрос не отвечает, как не отвечает и на многие другие вопросы, связанные с характером его необычных работ. Подозреваю, что некоторых зрителей они оставят равнодушными, у других даже, возможно, вызовут непонимание: что, в конце концов, значат все эти стальные конструкции? В чем их смысл? Где здесь эстетика? Не старайтесь ни о чем его расспрашивать — все равно не дождетесь ответа. Да Збарский и не ищет никаких «сопереживаний» со зрителем. Их восприятие — это их дело. Он создал то, что ему хотелось, не считаясь ни с какими школами, течениями, стилями, принятыми взглядами. Впрочем, время послушать его самого: «Я не хочу бороться с пространством и напрягать мускулы, чтобы противостоять его давлению. Я не хочу поддаваться его силе, как парус поддается порыву ветра. Я хочу, чтобы мои скульптуры вращались в пространство, как череп в песок пустыни». Метафоры не рождены, чтобы их комментировать, метафоры служат, чтобы над ними размышлять. Предоставим и мы такую возможность читателю.

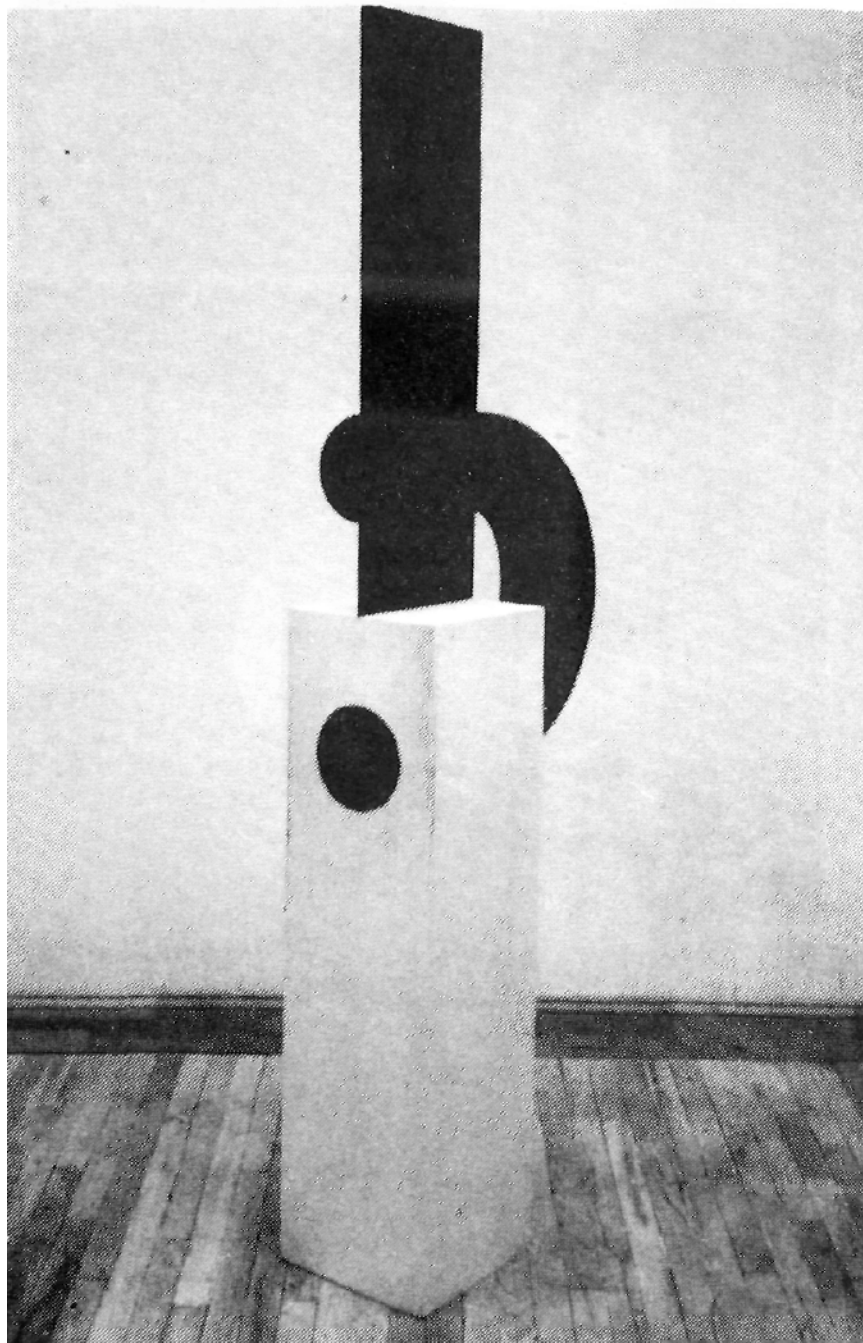
*В. ПЕТРОВСКИЙ*



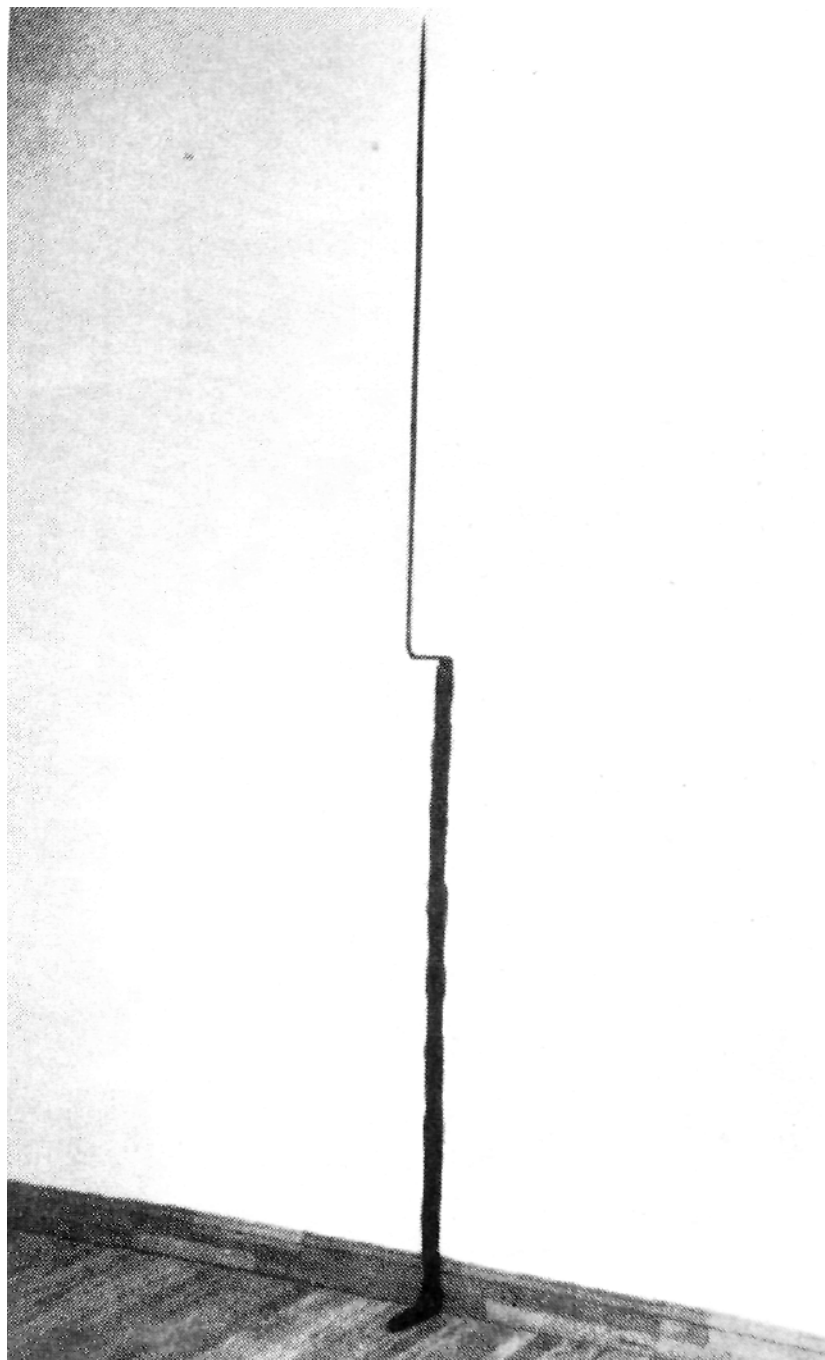
Композиция № 3. Сталь



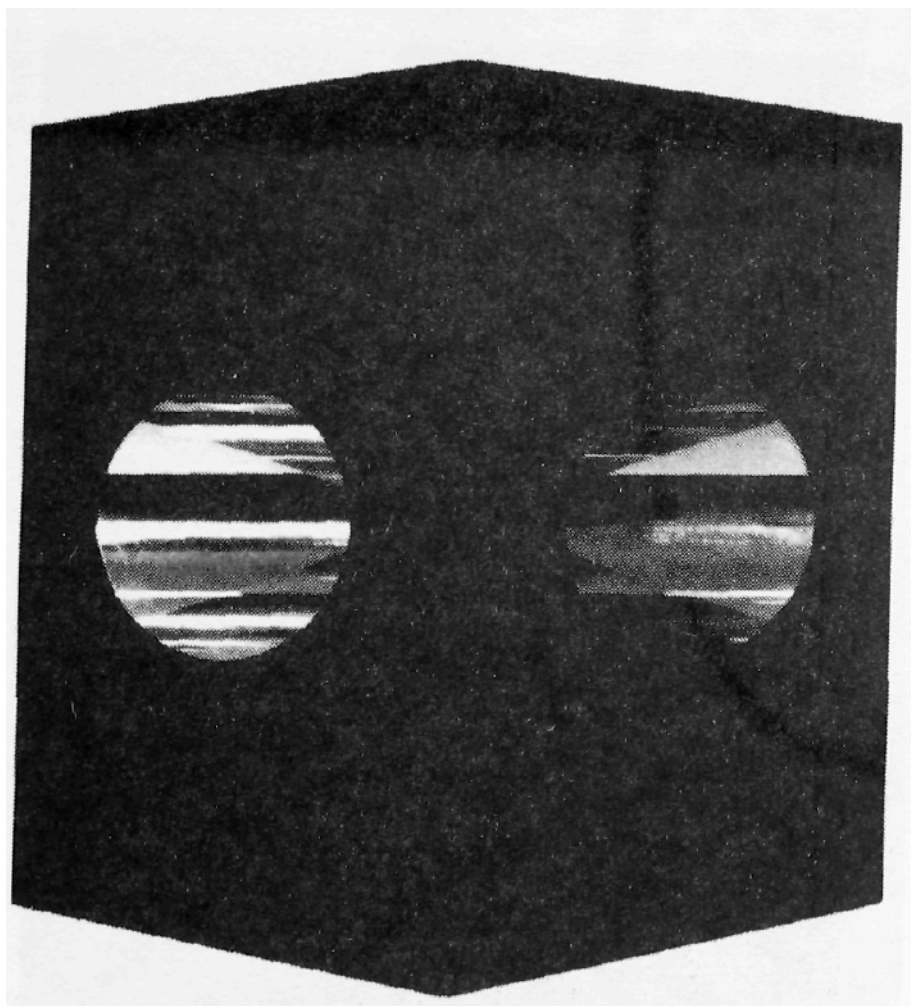
Композиция № 7. Нержавеющая сталь и латунь



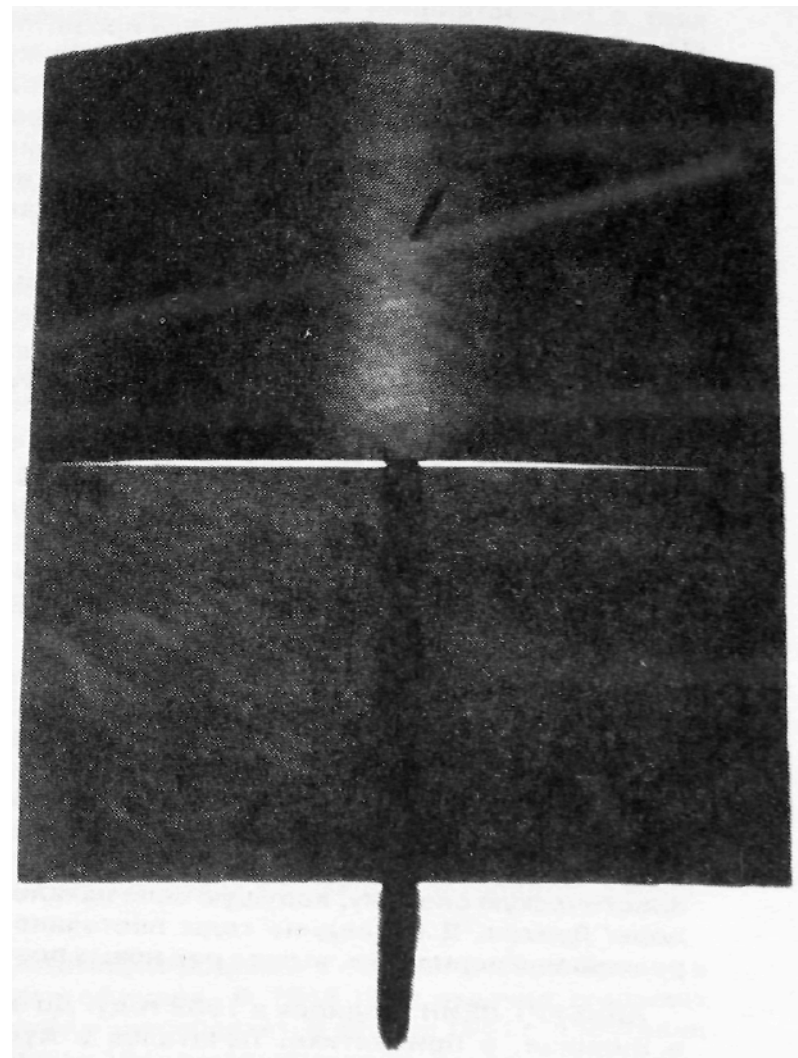
Композиция № 14. Сталь



Композиция №15. Сталь и мех



Композиция № 1. Нержавеющая сталь



Композиция № 19. Сталь и мех

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**ЗИНОВИЙ ЗИНИК.** Урожденный москвич. С 1976 года постоянно живет в Лондоне. Как критик и эссеист сотрудничает с радиостанцией Би-би-си и лондонским журналом «The Times Literary Supplements». Его проза, переведенная на ряд европейских языков, регулярно публикуется журналами «Время и мы», «Синтаксис» и другими периодическими изданиями. Один из его пяти романов «Русофобка и фунгофил» экранизирован в 1993 году телевидением Би-би-си. Сборник его новелл «Русская служба и другие истории» и недавний роман «Лорд и егерь» опубликованы в Москве издательством «Слово».

**ТАТЬЯНА МУШАТ** — родилась и жила в Сибири, в городе Новосибирске до эмиграции в США в 1991 году. Инженер, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной математики Новосибирского государственного технического университета (в прошлом, НЭТИ).

В настоящее время занимается переводом с английского на русский философских работ Ричарда ХЭЗЛЕТТА — с предварительными названиями «Найди Бога разумом» и «Как научиться быть добродетельным». Работы посвящены вопросам взаимосвязи религии, науки и этики. В качестве автора литературного произведения Т. Мушат печатается впервые.

**ЛАРИСА МИЛЛЕР.** Родилась и живет в Москве. Окончила Московский институт иностранных языков. Член Союза писателей СССР. Публиковаться начала в начале 60-х годов, но ее первый сборник стихов «Безымянный день» вышел в свет в 1977 году, а второй — «Земля и дом» в 1986 г. В течение ряда лет Лариса Миллер преподавала и преподает английский язык, а также «Алексеевскую гимнастику» — пластическую систему, ведущую свое начало от идей Айседоры Дункан. В последние годы постоянно печатается в российской периодике, вышел ряд новых поэтических книг.

**АЛЬБЕРТ ЛЕИН.** Родился в 1939 году. До эмиграции жил в Виннице, в Прибалтике. Печатался в журналах Литвы, Латвии, Якутии. Работал слесарем, грузчиком, настройщиком радиоаппаратуры. После эмиграции живет в Западном Берлине. Систематически печатается в журнале «Время и мы». Книга стихов Альберта Леина вышла в России.

**Ричард ХЭЗЛЕТТ.** Инженер, философ родился в Кливленде, штат Огайо. Служил сержантом в морских войсках

американской армии, затем окончил Оберлин колледж, получил мастерскую степень в области философской теологии и мастерскую степень бостонского университета в области этики и научной философии. Он — инженер-исследователь в компании Хазлетт Стрип Кастинг корпорейшн (производство машин для непрерывной разливки металла), штат Вермонт. Имеет одиннадцать патентов США и много за рубежом в указанной области.

**ЕФИМ ЭТКИНД** — писатель, литературовед, переводчик и критик, заместитель главного редактора журнала «Время и мы». Во время войны воевал на Карельском и Третьем Украинском Фронтах. После войны преподавал в ленинградских вузах, был профессором Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. В настоящее время живет в Париже, выступает с лекциями в западных университетах. Под редакцией Е.Г. Эткинда впервые на французском языке вышли поэтические переводы А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Сейчас готовятся переводы А.К. Толстого. Литературная и переводческая деятельность Е.Г. Эткинда получила признание, по существу, во всем мире.

**ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН.** Основатель и главный редактор журнала «Время и мы». Окончил Московский Юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты «Труд», специальным корреспондентом и заведующим отделом «Литературной газеты». В 1973 году эмигрировал в Израиль, с 1973 по 1975 годы был обозревателем израильской газеты «Аль Гашишмар». В 1975 году основал журнал «Время и мы». В 1981 году вместе с редакцией переехал в Соединенные Штаты Америки, где и живет в настоящее время. Автор книг «Покинутая Россия» (удостоенной второй премии Иерусалимского университета), «Театр абсурда» и романа «Грехопадение Цезаря».

**ИОСИФ КОСИНСКИЙ** родился в 1929 г. в Ленинграде, в семье морского офицера. В 1948 году окончил среднюю школу и поступил в университет. В апреле 1951 г. арестован МГБ, приговорен к 10 годам концлагеря. Заключение отбывал на стройке Волго-Балтийского канала в Вологодской обл. и на строительстве нефтекомбината в Башкирии. Освобожден по амнистии в период хрущевской «оттепели» (июль 1955). Эмигрировал в конце 1981; работал редактором в газете «Новое русское слово», перевел с английского ряд книг по заказам издательств «Время и мы», «Либерти»,

«Славик Госпел Пресс». Опубликовал более 400 статей, преимущественно в «Новом русском слове», а также в еженедельнике «Русская мысль» (Париж), журналах «Континент», «Грани».

**ВЛАДИСЛАВ (СЛАВА) ЦУКЕРМАН** начал свою кинематографическую карьеру в 60-е годы в качестве одного из зачинателей советского так называемого любительского кино.

В 1966 году с отличием окончил ВГИК и становится одним из ведущих кинорежиссеров Московской студии «Центрнаучфильма». В 1973 году Цукерман эмигрирует в Израиль, в 1974 году его фильм «Жили-были русские в Иерусалиме» получает первый приз на Всемирном фестивале телевизионных фильмов в Голливуде. В 1976 году переезжает в США и снимает «Жидкое небо» — фильм, получивший награды на пяти кинофестивалях и побивший многочисленные рекорды сборов и продолжительности показа в кинотеатрах США и всего мира. В настоящее время живет в Нью-Йорке, президент фирмы «Cinetron».

#### Уточнение

В статье «Художественное открытие Юрия Красного (ном. 125), где приводятся выдержки из журнала «Арт ин Америка» не упомянута галерея, в которой выставлялись его работы. Редакция считает необходимым уточнить, что картины художника экспонировались в «Слон арт галери» (Денвер, Колорадо), которая играет большую роль в популяризации русских художников в Америке.

## КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо и окрестности. — 12 долларов.  
 М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.  
 А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.  
 К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.  
 Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.  
 П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.  
 А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов.  
 П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.  
 В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.  
 Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Собоньская. — 5 долларов.  
 А. РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.  
 И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.  
 В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов.  
 В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.  
 В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.  
 В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. — 10 долларов.  
 Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.
- Готовится к печати:  
 В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

### E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.

**ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ**  
**«УЗНИК РОССИИ»**

**По следам неизвестного Пушкина**

Легальные и тайные попытки Александра Сергеевича Пушкина выбраться за границу сразу после окончания Лицея в качестве дипломата и путешественника, а затем из Кишиневской и Одесской ссылки (1817-1824). Решение бежать в Константинополь, а оттуда в Италию с помощью контрабандистов. Новый взгляд на известные факты психологической биографии поэта.

Antiquary Publishers, 1992, 254 с, \$ 25  
 594 Chestnut Ridge Rd. Orange, CT 06477

**ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ**  
**«ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА»**

**По следам неизвестного Пушкина**

Настойчивое желание великого поэта добиться разрешения отправиться в Европу из ссылки в Михайловском и из Москвы (1824-1829). После отказов Николая I и Бенкендорфа - подготовка к побегу под видом слуги своего приятеля и для лечения болезни, которую он выдумал, подкрепив справкой ветеринара. История вербовки Пушкина в осведомители с обещанием выпустить в Европу. Путешествие поэта в Арзум с целью нелегально перейти турецкую границу.

Hermitage Publishers, 1993, 271 с, \$ 15  
 P.O.Box 410 ТепаПу, NJ 07670

На основе критического изучения огромной литературы, писем современников и архивов тайной полиции известный писатель и профессор русской литературной истории Калифорнийского университета впервые в пушкинистике исследует страстное желание поэта покинуть Россию, в которой, как Пушкин сам выразился, черт догадал его родиться с душой и талантом.

**ТАМАРА МАЙСКАЯ**  
**«КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»**

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

*«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала» (А. Андреев «Новое русское слово»).*

*«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюз, д-р наук, проф. русского языка и литературы)*

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

*Выходит в издательстве «Время и мы».*

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

**Tamara Mayskaya**  
**11501 Mayfield Rd., No. 306**  
**Cleveland, OH 44106, USA**

## *К вашим услугам любая информация о России.*

Информационный центр при Научной библиотеке Московского университета имени М.В. Ломоносова предлагает самый широкий спектр информационно-библиографических, справочных услуг по E:mail.

*Мы готовы ответить на любые вопросы, связанные с Россией. От простейших — адреса, телефоны, имена руководителей организаций, фирм, ученых, политических деятелей. До сложных — исторические, экономические справки, библиографические списки книг, статей по любой теме. На каждый вопрос вы получите содержательный ответ.*

*Если необходимо, мы также готовы направить Вам копии практически любых материалов когда-либо издававшихся на русском языке. Scanned image in the TIFF or PCX format по E:mail или бумажную копию по почте.*

Запросы принимаются по адресу: **inf@lib.msu.su**. Язык английский или русский по Вашему желанию. Ответ будет послан на том же языке. Через 24—48 часов (в зависимости от сложности запроса) мы по E:mail подтверждаем принятие заказа, сообщаем примерные сроки исполнения и высылаем счет на оплату в банке США. Стоимость зависит от объема работы, количества запрашиваемой библиографической информации, минимальная цена справки 25 USD.

*БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"*

*ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД*

**СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ**

**ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.**

**КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.**

**ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД - ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ - ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.**

**КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА**

*Цена книги - 15 долларов.*

*Заказы и чеки высылают по адресу:*

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, USA  
Tel.: (201)592-6155**



# ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и выходявшей в 1890-1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство «Терра» (Москва). Доход от продажи энциклопедического словаря пойдет на закупку одноразовых шприцов и других медикаментов для передачи советскому Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненые золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание будет осуществлено в течение 1990-1994 гг. Стоимость одного тома 28 амер. дол. Пересылка в США и Канаду 99 центов за том, в другие страны мира 1 дол. 99 центов за том. Оплата подписки может производиться лотомно по мерс выхода книг в свет. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30-процентная скидка. Стоимость ВСЕГО ИЗДАНИЯ в этом случае составит 1600 дол. плюс 56 дол. (в США и Канаде) или 113 дол. (в остальных странах) за пересылку. Для подписавшихся на адрес в СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newion Centre, MA 02159, USA. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира, включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеуказанные благотворительные цели.

## ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» - 1995

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов;  
с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов;  
для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделений в США, и высылаются по адресу «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, N J 07605, USA  
TEL: (201) 592-6155

### ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя.....

Адрес.....

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на .....год.  
Высылать с номера ..... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.  
Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605, USA

Tel.: (201)592-6155

OCR и вычитка — Давид Титиевский, октябрь 2011 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаияна.  
На четвертой странице обложки:  
Лев Збарский. Композиция № 18 . Сталь**

